23-14

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛОВ,
ДМИТРИЙ ТРУБИН

**Очерк Елены Казьминой
о молодых северных
художниках
читайте на стр. 30**

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ. **Чаша.**

ISSN 0868-4855 Слово 1991. № 2. 1—88. Индекс 70110. 1 р. 50 коп.

ФЕВРАЛЬ

ISSN 0868-4855

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ. **Вестник.**

…НИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП. Июль 1…
…то Юрия …довникова

Православные праздники. Дни светлой памяти.

ФЕВРАЛЬ

3 февраля — День памяти преподобного Максима Грека
6 февраля — День памяти блаженной Ксении Петербургской
9 февраля — Вселенская родительская суббота
12 февраля — День памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
15 февраля — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
16 февраля — День всех преподобных, в подвиге просиявших
17 февраля — Прощеное воскресенье
27 февраля — День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

МАРТ

2 марта — День памяти священномученика Ермогена (Гермогена), патриарха Московского
17 марта —День памяти благоверного князя Даннила Московского
23 марта — похвала Пресвятой Богородицы
30 марта — Лазарева суббота. День памяти преподобного Алексия, человека Божия
31 марта — ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Вход Господень в Иерасулим

КСЕНИЯ ГЕМП

Го́ря утешительницы

Высоко ценилась и ценится образность речи иа Севере, особенно в Поморье. В далеком прошлом в этом крае слово было доступнее других способов выражения чувств. Здесь и встречаем мы творцов слова силы необычайной. Они передают глубочаишие чувства человека, непередаваемые никакими другими средствами, даже музыкой.

Были у меня встречи с такими талантами, с безвестными импровизаторами, плачеями — горя утешительницами. Эти встречи забыть нельзя. Имена тех, которых я знала, и их плачн не упоминаются ни на страницах специальных трудов, нн журналов и газет. Они не сказывали былин, не пропевали стародавних песен, не тешили сказками и небывальщинамн. Они были просто поморскими крестьянками и не подозревали о том, что владеют словом великой силы.

Их редкостное творчество проявлялось только в особых случаях — трагических, скорбных. Они как-то пронзительно н глубоко воспринимали печальные события, с которыми сталкивались в быту, в жизни, непосредственно их окружающей. Они обладали редким даром — поразительно точным словом, верным тоном, сдержанным жестом, повадкой, всем обликом выражать не только личное горе, но и чувства, которые они пережнвали, сталкиваясь с горем чем-то близких людей — по родству ли, по соседству или местожнтельству. Этот дар — человечность, тонкость и глубина чувства, способность сопереживания и стойкость. Этот дар н рождал Слова-образы.

Плачи их неповторимы. Они складывались, вернее возникали, как-то стнхийно, отдельно для данного случая. «Глаз о чем скажет, да что сердце говорит, о том и плачемся. Самой тяжко плакать, да сила какая-то толкает, слова подсказывает. У матери родной, либо у жены горе-то душу сожмет, окаменеет она. А поплачешь ей, и она слезу обронит, тоску свою облегчит», — говорила Дарья Николаевна со Свинца. Запомнились плачи ее н Марфы Деревлевой из Сюзьмы. Это воспоминания первого десятилетия текущего века. Рассказы о плачеях А. Майзеровой из Яреньги и А. Марковой из Семжи я слышала и записывала с их слов, позднее.

Плачи поражают, потрясают не только силой слова, от которого «рвется сердце материнское», но и тайной его передачи. И слово, и передача рождаются трагедией неизбывного горя по потере невозвратимого и незаменимого.

Чужое, как свое

В 1909 году летом в Сюзьме погиб на море юноша семнадцати лет. Гроб с его телом стоял на паперти церкви. Родные сидели на скамье в изголовье гроба. Деревенский люд стоял у стен молча, неподвижно, сосредоточенно. Плакала по нем Марфа Деревлева. Она не слышно, не торопясь вошла на паперть и встала у притолоки входа, одинокая, отрешенная, чужая всему. Была она в черной одежде, черный плат повязан по повойнику в роспуск. Вошли все провожающие, двери на паперть закрыли. Было тихо и печально.

Плачея медленно пошла и встала в ногах у гроба как-то сутулясь, опустив руки, точно что-то угнетало ее. Она смотрела на усопшего. Плач она начала спокойно, негромко, медленно, раздумчиво. Слова, которые хотела выделить, несколько растягивала, произносила более замедленно:

— А рубашка-то на ём белая,
Снегом по весне её мать белила,
А личушко белее снега того,
Губы-то сомкнуты нецелованные,
Уж не закраснеют они боле,
Глазыньки померкли, прикрылися, не взглянут,
Не увидят моря Белого, леса темного,
Не увидят и звезд на небе.
А, бывало, как небо вызвездит,
Заиграются звезды яркие —
В снежки игрывал с други-товарищи,
Девиц-поморочек с гор катывал.
Молод был, а на промысел с отцом хаживал.
Кажинный год за помощника хаживал.
Море наше неласковое осваивал,
Не страшился погоды, волны.
Добытчик надежный рос-подрастал.
Да молод был, не привел еще
К отцу, к матери свою суженую.

После этих слов замолчала, а потом без слез зарыдала: «Не привел, не успел, не дожил». Слова «не успел, не дожил» повторила с тоской и силой и после недолгого молчания, растягивая слова, тихо повторила: «Не дожил». Это была безнадежность.

Во время этой части плача она руки сложила крестом на груди. Замолчав, широко раскрыв глаза, медленно пошла по

направлению к родственникам усопшего, протягивая руки, как для объятия. Мать усопшего в слезах порывисто поднялась во весь рост, наклонилась вперед и напряженно вглядывалась в плачею. Возникла какая-то смутная тревога. Присутствующие насторожились, но никто не подошел к родным, не из равнодушия, нет, но из уважительности к их горю.

Плачея, постепенно усиливая голос, как-то беспощадно, жестоко обратилась к матери:

— Не избыть тебе горюшка материнского,
Утеряла своероженного, своевскормленного,
Утеряла кормильца и поддержку в старости,
Не бывать возврата утере той.
Не видать тебе счастья сыновнего,
Не нарадоваться на невестушку-лебедушку,
Утеряла ты утешение внукоа выходить.
Горе-гореваньице тебе переживать,
Вспоминать сына до своего скончания тебе,
Сердце свое надрывать тебе,
Слезы горючие лить тебе.
Тебе, мать родная.
Так повелось.

Мать схватилась за голову, забилась над гробом, рыдая в голос. Плачея долго молчала, а потом проникновенно, раздельно, с сожалением и страданием грустно молвила:

— Нет тому перемены, горемычная.
Так повелось испокон веку.

Она выпрямилась, голову откинула назад, черный плат сбросила с повойника, взяла его в руки за два конца, руки распахнула в стороны, как крылья. Какой-то особенно глубокий голос, простые слова, сила и выразительность, с какой она их произносила, не только донесли горе матери до всех присутствующих, но каждому напомнили о его былых и возможных утратах. Присутствующие по-прежнему молчали в каком-то оцепенении. Давило это молчание, но никто его не прерывал.

Но вот плачея обернулась к присутствующим и, никого не замечая, то распластывая руки в стороны, то с силой прижимая их к сердцу, в слезах зарыдала с каким-то отчаянием:

— Море ты наше неспокойное,
Кажинный год жизни забираешь,
Жен, матерей обездоливаешь,
Детушек малых сиротишь,
Невест радости лишаешь.
Горе несешь неизбывное, печаль великую.
И что ты, ветер, спокой редко знаешь,
Как с полуночи задуешь, засвистишь,
Волну вздымаешь высокую, пеной пылишь.
Ох, и страшна волна морская,
Холодна́, темна́, солона́ волна глубинная.
Встает выше мачты, шире паруса.
Нет ей у́держу, утише́ния нет,
Не поставишь ей запрету,
Запрету не поставишь, не умолишь.
Бушевало и будет бушевать наше море.

Плач о море как-то снял оцепенение с присутствующих, многие вздыхали, плакали, переговаривались.

Плачея же сникла, она потухшим голосом, растягивая слова, закончила:

— Но душа помора знает:
Море — наш кормилец.

Да, у помора прежде всё было связано с морем. И жизнь, и смерть.

Плачея, бледная, с запавшими глазами, тяжело дышала, пошатывалась. Ее подхватили под руки, посадили и накрыли платком. Она молча сидела до конца отпева. Ее отвезли домой, она легла, неподвижная лежала сутки в дремоте. На следующее утро встала и принялась за обычную работу — обряжаться по дому и в огороде.

Она редко соглашалась плакать, и только в своей деревне.

Сына море взяло

Довелось мне еще слышать трагический плач, стержневая мысль которого была: «Нет правды в христовом утешении: не рыдай мене мати».

Плакала мать по сыну-мальчику. Это был протест против несправедливости судьбы, против Матери Всех Скорбящих, утешительницы, но сердце матери, потерявшей единого сына, не утешающей. Это был протест против утешений, только ранящих душу безутешную.

Тяжко было слышать этот плач, но сила и глубина чувств, выраженных словами, рожденных отчаянием, гневом, безнадежностью и материнской любовью, завораживали, потрясали, заставляли слушать. Они бередили раны каждого сердца, трагичность очищала помыслы каждого от мелкого и недостойного, и каждый понимал безутешность горя. Плакала Варвара.

Варвара осиротела в одночасье, мать и отец умерли в холерный год. Утрату она пережила тяжело, в суровом одиночестве, родственников у нее не осталось. Ей уже исполнилось двадцать лет. При жизни родителей она невестилась уже три года, женихов было немало из различных деревень, но ни на ком она не остановила свой выбор. Родители не неволили свое единственное дитятко. Невестой же она была завидной, всем взяла — рослая, статная, сероглазая, белозубая, русая коса. Но не часто она улыбалась, по-девичьи открыто и приветливо, а смех ее, и то редко, слыхали, пожалуй, только мать да отец. Усмехаться усмехалась, губы дрогнут, а не раскроются. Не понять, осудила то, о чем услышала, или что увидела, а может так, отстранилась. Суровая, деловая была, матери по хозяйству во всем помогала. Мать повздыхает втихомолку, где же девичьи радости у дочери, а спросить ее об этом не решалась. А дочка по вечерам в одиночку частенько ходит на угор. Стоит и смотрит на море, такое тихое белой ночью, во́ды не колыхнутся, чуть золотятся при закатном солнце, тишь кругом. А в иной день оно белопенное, шумит, бьет накат, свистит ветер. Откуда, почему это? Всегда море ее чем-то влечет. Смотреть да смотреть на него. И тешило ее еще — быть на отличку, краше всех, удивлять нарядами, на каждый хоровод новыми.

С отцом на его двухмачтовой шхуне она не раз ходила на промысел, ходила и в Архангельск, и в Норвегию. Возвращалась с подарками, отец на них не скупился. Дома и сундуки, и укладки, и короба были полны приданым, дюжинами все заготовлялось, а шали и полушалки на все случаи. Были материнские и бабушкины сарафаны, парчовые коротеньки, старинные почелки, шитые жемчугом, ожерельца, заколки жемчужные и с самоцветами. Шубы и шубейки.

Оставшись одна, Варвара прикинула, что оставить в хозяйстве, продала шхуну, весь рыбацкий обиход на «большую рыбу», лишнюю животину. Все же дом по-прежнему был полной чашей. Дел было невпроворот, надо вести промысел, домашнее хозяйство. Поразмыслила, разыскала свою кре́стную матушку, тоже одинокую вековуху, и пригласила ее в дом похозяйничать. С весны до осени Варвара в делах, теперь она сама хозяйка, а не только «при отце», два суденышка у нее, она рядится с покрученниками, договаривается с кормщиками о промысле, закупает му́ку для торга с норвежцами, у них берет рыбу, продает ее архангелогородским скупщикам. В большие праздники по-прежнему, как молодая, ходит на хороводы, значит и забота о нарядах не отпала. Правда, замечать с годами она стала какое-то изменение в отношении к ней подруг-хороводниц. Думала: «Неровня я им», а в чем неровня — не додумывала, не хотела, а может быть и страшилась. Так промчались восемь лет.

В июльский престольный праздник водили в селе большие хороводы, пришла и Варвара, красивая, нарядная. Встала в ряд с другими девушками. Запели любимую раздольную песню «Море-морюшко распрекрасное». Затем пошли в круг, пели «Загуляли девушки в хороводе на лужку». Много поморок собралось полюбоваться играми, сравнить с былым в их времена, обсудить и игры, и наряды, и достоинства де-

виц-невест. Среди разговоров Варвара вдруг услышала: «Что это ноне старые девки хороводы водить стали». Замерло сердце у Варвары, она сразу поняла — это про нее, это она, старая девка, затесалась среди молодых девушек-невест, это ее осудили при всех, ее, Варвару, первую красавицу. Многие услышали осуждение, уже переглядываются девушки, перешептываются замужние. Срам какой, как не сообразила сама, давно надо было кончать молодиться.

Не показала ничем Варвара, что услышала приговор себе, незаметно в толпе вышла из круга, спустилась с угора на пустынный берег и к дому. Скорее укрыться за родными стенами. Вот и дом, на крыльце метла вверх голиком, значит, дома никого нет, крестная матушка все еще на хороводы любуется. Варвара вошла в избу, не снимая нарядов, прошла в горницу, на столе вся праздничная стряпня под холщовой скатертью, чтобы не остыла.

Тревога и какое-то удивление не покидали Варвару. Старая девка, как сама это проглядела, осрамили, в глаза тычут. Однолетки ее давно обзавелись семьями, дел домашних у них много, только некоторые изредка заглянут мимоходом, не погостятся. Ребятишки соседние не приходят играть на ее большое крыльцо. Отвадила сама, чтобы покраску не изнашивали, грязи не носили. Мысли горькие томят ее.

«Дома все в порядке, а порадоваться не с кем, некому пожалиться. Тихо кругом. Да, не тихо, а пусто, пусто кругом меня. Как в колодец гляжу, вода темная стоит. Как жить, что дальше? Одна осталась, одинешенька. Замуж сманивают, да сватают-то парни, что только со службы пришли, либо в рекруты им идти, все меня моложе. Пойдешь, будет думаться, взяли тебя, старую девку, из милости, за богатство. Не стерплю над собой такого верховодства. Поглядывают и мужики постарше, либо вдовцы с ребятами, либо тишком от семьи. Не по мне это, на ребят не пойду, не по мне и в чужую семью смуту вносить, любушкой не буду. Осталась бессемейной, не о семье забота у меня была, красоваться хотела. Винись теперь».

Тут подошла крестная матушка, оживленная, и стряпня у нее удалась, и хороводы посмотрела, и наговорилась с соседками. «Хороводов лучше наших нет, девки одна к одной, наряды стародавние, выхвалялись, у кого лучше. Парней много. Не одна невеста жениха нашла.»

Варвара усмехнулась на ее последние слова. «Ладно, матушка, мы с тобой вековуши, обе сиротинушки необласканные. Отведаем лучше пирогов, да чаю попьем. Ждать, угощать некого.» Ночью вековуша тосковала.

Через два дня забежала к ним соседка-молодуха с просьбой поводиться часика два с ее первенцем, десятимесячным мальчонкой. Крестной матушке это было не впервой, она взяла ребенка. Малыш уже тянул к ней ручонки, а она улыбалась ему. Варвара же, сидевшая в горнице у стола с шитьем, равнодушно глянула на него и только спросила: «Как звать-то?» Малыша посадили в горнице на пол на старое одеяло. Он быстро подполз к ногам Варвары, она протянула руку, чтобы отстранить его, а он уцепился за ее палец, не отпускал и улыбался ей. Варвара подняла его. Малыш шлепал ее ручонками, пускал пузыри губками. Она невольно обняла его и подумала, что первый раз в жизни держит ребенка на руках, а он такой теплый, молоком пахнет. Варвара, обняв его, прошлась по горнице и раз, и два и даже что-то шептала ему, а он привалился к ней и вдруг сердито закричал. Матушка моментально взяла его на руки, приговаривая: «Каши просит, готова, готова, сейчас покормим и спать уложим».

Вечером, уже в постели, Варвара вспомнила малыша и улыбнулась. Сон пришел легкий, беспечальный. Днем руки Варвары все еще помнили тепло его тельца, воспоминание не исчезало и в следующие дни, больше того, она припоминала его улыбку, его плотные, сильные ручонки. Зимним тягучим вечером мелькнула у нее мысль: «Взять бы такого в дом, но кто же отдаст своего кровного». Шли недели, мысль о ребенке приходила чаще, становилась определеннее, и наконец она решила: «Заведу своего, сама себе хозяйка, что мне суды-пересуды».

Под осень по промысловым делам она была на Рыбачьем, там собиралось много артелей промысловиков, были и норвежцы. Один из них приглянулся ей, хозяин шхуны, хорошо говорит по-русски, к тому же, думала она, расстанемся, уедет к себе, все шито-крыто, а мне он ни к чему, мне ребенок нужен. Промышленник тоже поглядывал на нее, на особенно красивую. Три раза тайно встретились они. Она заранее решила, если ей судьба иметь ребенка, трех встреч достаточно. На первую встречу она шла, как на неизбежное дело. Одна мысль тревожила ее — не прогадать бы. Третья встреча ее всколыхнула, осталась надолго памятной. Но на четвертую она не согласилась и спешно, на попутном судне ушла домой.

Дома она жила в тревожном ожидании, но надежда на счастье не оставляла ее. Скоро ожидание сменилось уверенностью, у нее будет сын. Счастье уже тут, в доме. Надо приготовиться к встрече с ним. Пригодились запасы сундуков и укладок. Варвара внимательно отбирала материалы для детского обихода. Крестная матушка поглядывала неодобрительно, поджимала губы, но доброе сердце дрогнуло, и заботы Варвары захватили ее. Обе принялись за шитье приданого будущему мальчишечке. Иной день Варвара, сложив на коленях руки, сидела без дела, то задумавшись, то слегка улыбаясь. Она всем существом отдавалась своему материнскому счастью. Потом она спохватывалась — еще не приготовила корытце для купания дитяти, своего Петруши, не пересмотрела сушеную ромашку и шиповник, не подопрели бы, а соску из города выписывать надо. Это все приятные, милые сердцу заботы и хлопоты. Больше бы их.

В начале июня ясным утром появился на свет долгожданный Петруша. Крестная матушка хлопотала около Варвары, звонко шлепнула мальца, обмыла, укутала и со словами «хорош паренек» принесла его и положила рядом с Варварой. Блаженство, тихую радость, покой — чувства, не знакомые прежде, — испытывала Варвара. Глаза ее, прекрасные серые глаза, сияли. Матушка принесла парного молока: «Пей, паренек скоро есть запросит, эдакого выпростала, фунтов десять, а то и двенадцать потянет». Через два дня Варвара встала, это ее руки должны мыть, пеленать сына, это она должна первой вдыхать ни с чем не сравнимый аромат распеленутого, еще сонного, такого теплого тельца. Это ее сын.

Соседки забегали смотреть новорожденного, гадали, кто отец. Крестная матушка на расспросы отвечала — «Богом нам данный». Она, первоначально не одобрявшая Варвару «за затею с ребенком», теперь считала себя соучастницей этого счастья. Соседки дивились расписной зыбке, цветным завескам и пеленкам, всяким разным одеяльцам-покрывальцам. Некоторые замечали: «Все одно вымарает». Матушка многозначительно поглядывала на шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелись стопки детского белья: «Не по одной паре мы с Варушей сготовили, всегда внук в чистоте будет», — с достоинством отвечала она и поджимала губы.

Мальчик рос ухоженный, он начал ходить, когда ему было десять месяцев. Сколько радости было в семье, особенно радовалась бабушка — крестная матушка, выходили крепыша-помора, добытчика. Петруше не было двух лет, когда он начал говорить, услышав его первые слова «мам дай каша», бабушка осенила себя крестным знамением, а сколько земных поклонов она положила на вечерней молитве — не считано. На следующий день она пекла пироги вне очереди. Первое слово человека должно быть отмечено. В Беломорье уважают слово, речь старых поморов и поморок: «Точно падает жемчуг на серебряное блюдо».

Шести лет Петруша уже бегло читал. Тут новые заботы, нужны книги, тетради, карандаши, переводные картинки, да мало ли что еще надо грамотею. Это заботы Варвары.

Петруша рос среди многочисленных сверстников, в поморских семьях обычно пять-шесть ребятишек подрастали. Они вместе играли, купались, дрались, проказничали и привыкали к поморскому делу. Мальчик был красив и лицом,

н статью. Немудрено, это был ребенок желанный, в нем души не чаяли две женщины, их любовь наполняла жизнь ухоженного дома, открыла дверь соседским ребятишкам и взрослым, открыла двери радости. Варвара не тачила сына, попадались ему и выговоры, и волосянки, и шлепки по задушке, а рука у матери была тяжеленька, стаивал он и в углу. Не за шалости и драки наказывала сына Варвара, а за уход его в море на рыбалку без разрешения. Она страшилась за него, она помнила поморское поверье — безотцовщину море не любит. Ее сын рос без отца.

Под осень хозяин лавочки, в которой продавалось все необходимое поморской деревне, от дегтя и керосина до духов, привез из Онеги новые и подержанные книги и разрозненные журналы для продажи. Петруша, уже школьник, увидев их, помчался домой, Варвара была на пожне, запыхавшись, он только твердил бабушке: «Купи, купи, там разные книги». Разобравшись в чем дело, та достала из укладки кое-какую мелочь, поворчала — «поди, дорого». Петруша, в нетерпении, уже открыл двери в сени, он умоляюще закричал: «Ну, дорого, да я же умнеть буду». Она поджала губы, но взглянув на мальчика, прихватила еще рублишко. Домой они возвратились с пачками книг. Тут были дешевые издания Павленкова, Сытина, Суворина, были книжки А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Н. В. Гоголя, сказки, три тома Жюля Верна, учебник географии, разрозненные номера журнала «Вокруг света», Нат Пинкертон и Ник Картер. Бабушка и Петруша с азартом разбирали потрепанные томики. Их возбужденные голоса Варвара услышала еще в сенях, только она вошла в избу, как Петруша закричал: «Вот «Волшебная лампа Алладина» — и потрясал ярко раскрашенной, потрепанной книжечкой; «Сезам, отворись!» Бабушка объяснила, что книги эти куплены ею для Петруши. Варвару обожгла мысль, она видела их в лавочке и не догадалась купить для сына. «Скажи, крестная, сколько платила, отдам деньги.» У той от обиды даже губы задрожали. «Неужели я собственного внука не могу одарить книгой.» Петруша тут же закричал: «Можешь, можешь, уже одарила, рыбонька ты моя». Варвара поняла, что разговор окончен. Она накинула платок, пошла к дверям. «Куплю еще.» Книги были уже распроданы. Она опоздала.

Подошла осень холодная, дождливая, а там и зима близко. Закончила дела Варвара, пополнилась ее денежная шкатулка, матушка позаботилась о запасах, кладовки и погреба тоже полны, Петруша учится. Зиму можно жить спокойно. Перед ужином маленькая семья собирается у стола, женщины с рукодельем, Петруша читает вслух, чтения хватит на всю зиму — сорок три книги. У каждого слушателя уже есть любимые произведения, их перечитывают по два, по три раза.

Миновала зима, отошли льды. Весна, начался лов сига-заледки, сельди. Однажды задумала Варвара проверить рюжи, поставленные у Керженца ее покрученником. В малом карбасе пошли она, покрученник Николай и Петруша. День был мглистый, море спокойное. Шли на веслах с водой. Сигов было достаточно, взяли рыбу в плетюхи, провозились с подъемом и установкой снастей непредвиденно долго. Обратно пошли под парусом, ветер усиливался. Зоркий глаз поморки еще издали приметил высокий накат на материковый берег. Спустили парус, Варвара тоже взялась за весла.

Близко от берега карбас накрыла с кормы волна из салмы. Все очутились в воде, поплыли весла, мачта. Варвара не растерялась, она увидела голову Петруши, он держался на плаву, двумя гребками она подплыла к нему, мальчик захлебывался. Левой рукой она подхватила его под грудь и, с силой загребая правой, поплыла с ним к берегу. Страх за Петрушу придавал ей силы. Волна сзади охлестывала их, а впереди грозили высокие взлеты наката. Петруша тяжелел, он уже не мог грести. Варвара несколько раз погружалась в воду, но опять всплывала, не выпуская из рук сына.

На берегу увидели их беду. Три рыбака спускали карбас. Вот он уже режет волну. Варвару с сыном подняли, она была без сознания. Карбас, направленный сильной, опытной рукой рыбака, вынесло волной наката на песчаный берег. Варвару откачали, Петруша ушел из жизни, море все же взяло его.

Двое суток молчала Варвара, помнила поморское поверье, винила себя. Во всем подчинялась матушке. Хоронили в Лопшельге.

Варвара осунулась, потемнела, глаза ее впали и лихорадочно блестели, но она не согнулась, не потеряла поморской стати. Она, суровая, стояла в изголовье гроба сына. Судорожно сжатые кулаки она то прижимала к сердцу, словно хотела остановить его, то поднимала над головой и потрясала ими, грозя кому-то, задыхаясь. Изредка она что-то шептала. После напоминания священника о матери, скорбящей у ног распятого сына, и его ответных слов «Не рыдай мене мати», она с угрозой громко заговорила, переходя на распев:

— Христова мать, говоришь, рыдала у ног сына распятого,
Омывала слезами раны его.
Что же она слезы-то лила понапрасну,
Знала же, что сын ее не скончается во веки веков.
Чего же сын-то ее слова такие молвил —
Отнять у нас, матерей, утешение последнее
Над сыном кровным плачем покричать,
Не дать сердцу проститься со своероженным.
Мой-то сын на́век в землю уходит,
Придавит его земля, не увидит он света,
Утерял он радости, да забавы свои.
Тяжела земля могильная, давит, душит;
А мать горевать останется,
Конца своего дожидать, утешаться?
Не нать мне слов таких, утешительница,
И слов твоих, распятый, ты в землю не ушел, жив остался.
Не от сердца они, не утешат скорбь материнскую.
Все прокляну, все, ничего не нать мне,
Безутешной жизнь кончу,
Сына море взяло, возьмет и меня.

Все присутствующие молчали в каком-то изумлении и страхе. Только одна женщина бросилась к Варваре, шепча: «Опомнись, опоюмела с горя-то, окстись. Дай поплачу за тебя». Варвара с силой оттолкнула ее и каким-то низким, хрипловатым голосом грозно продолжала:

— Горе мое не снять плачем чужим.
Растревожено сердце мое,
Душу мою с собой мой сын уносит.
Горько мне, тошно, все утратила, все.
Нету мне утешения, нету.
И не нать мне его. Все прокляла.
Сын мой ненаглядный, утеха моя,
Прощаюсь с тобой, сынушка.
С тебя жизнь-то моя началась настоящая,
Тобой и кончается. Сердце мое замерло.
Прости ты мать неразумную.
Не могла упасти, уберечь от напасти.
Не пойму, здеся ты, а молчишь, не взглянешь —
Обеспамятила я, одинокая.
Горе горькое тебя земле отдавать.
За что наказуешь ты меня, ты, всемилостивый?

Тут к Варваре подошла старая поморка: «За что, не додумала — за гордыню твою. Мнила выше, да удачливей тебя нет, самовольно сына завела. На колени тебя, земные поклоны отбивать, да не в одиночку, а перед народом». Варвара отшатнулась. Помолчала, а потом, оборотясь к присутствующим, твердо, раздумчиво сказала:

— За гордыню мою нету слезы,
Камни на сердце грудь рвут,
Тоска душит.

Она опустилась на колени и склонилась лицом до настила пола.

Во время отпевания она стояла странно спокойная и суровая, неотрывно смотрела на сына. Такой же была и на кладбище. После захоронения она пригласила всех присутствующих на поминовение. Справила поминки и на девятый, и на сороковой день. Все это время ни разу не выходила к морю, ни с кем не разговаривала, перебирала свои и петрушины вещи, что-то записывала. Через три дня после сороковин она с веслами пошла на берег, отвязала карбас, поднялась в него, оттолкнулась с мели и с силой стала грести. Выйдя на глубину, она сложила весла, встала, простерла руки в сторону берега, как бы прощаясь с ним, со всем прощаясь, что там на берегу было дорого ее сердцу. Постояла так, а затем медленно с кормы опустилась в воду, отплыла немного от карбаса, еще раз взмахнула руками и погрузилась в море с головой. Она не всплыла. Ее подняли через два часа.

Нет Варвары, лишь помнится ее горестный, гневный плач.

Осталась ее крестная матушка одна-одинешенька, осталась и воспоминания об утраченном навсегда. Не сбылась мечта дожить век в доброй семье в спокое. Нет Петруши, нет Варвары, одна, старая, осталась. По привычке она все делала по дому, как и раньше. Но часто приготовленный утром обед стоял в печи до следующего дня. Дальше колодца она не ходит. На море не взглянет.

Опустел дом, охолодал. Никто не смеется, не прокудит. Не для кого чинить, вязать рукавички и носочки. Не на кого в шутку поворчать и никто в ответ не уткнется носом в плечо, не скажет: «Как от тебя, маточка, хорошо пахнет паренкой, когда пирожки-то с изюмкой печь будешь». Кончились все радости. Ненадолго забегают соседки проведать, ребятишки за книгой. Все не то, не то.

Кончилась осень. Выпали первые снега, завьюжило. Она ждала зимнего пути. В декабре с попутчиками ушла в Пертоминск, внесла в монастырь вклады по завещанию Варвары. Плакала там, билась о ступени амвона. Вернулась домой в конце января тяжелой сугробной дорогой.

Дома опять одиночество, завывание ветра в трубе, одно облегчение — поразбираться в книгах и тетрадях Петруши. Как затемнеет, она зажигала лампу над столом, стоящим возле книжной полки, брала книгу с краю, садилась на свое место и медленно перелистывала ее. С каждой страницы на нее глядело прошлое, такое недавнее и милое сердцу. Читали «Старосветские помещики», и Варвара, прежде суровая и неулыбчивая, по примеру Петруши смеялась тому, как пели двери. Дальше на каждой странице видится Петруша. Вот он в зыбке, умытый, сытый. Хватает ручонками подвешенные колечки, вот тут у табуретки на полу со своими игрушками-бобушками, вот прибежал из школы, кричит: «Стихи — пятерка, скорее каши с паренкой», а она добавляет: «Сегодня и с сахаром», — он радостно взвизгивает, подпрыгивает и бежит к столу. Дальше, видится ей, он босоногий, загорелый на берегу моря с ребятишками собирает камешки, раковины, сколько их натащит с песком. Бабушке убирать песок, она поваркивает, а сама радешенька. Петрушины это дела и прокуды. Как же утешно и любовно ей жилось.

Короткий февральский день кончался, а дымок не вьется из трубы ее дома, огонек в окне не теплится. Соседка подошла к окну, ничего не видать, стекло затянули морозные узоры. Постучала она в дверь, отклика нет, позвала соседей. Взломали запор, вошли. Крестная матушка сидела у стола, низко склонившись над пушкинской «Полтавой», любимой книжкой внука.

Она тоже ушла из жизни.

Ушел родимый наш

День был мутный, поздний сентябрьский, с утра не то моросил мелкий дождь, не то низкий туман темнил горизонт, но волны на море не было, пробегала крупная рябь. Три рыбака, забыв, видно, давнюю поморскую мудрость — «марево на севере, жди полуношника», в малом карбасе все же пошли по рыбу. Гадали рыбачить недалеко от деревни, за островами, и недолго.

Рыбы взяли немного и шли обратно под парусом ходко. Шторм захватил их нежданно, налетел полуношник. Часу не прошло, на море пыль стояла. Взводень накрыл их, парус захватил воды, карбасок перевернуло. Ни один рыбак не выплыл, море взяло всех. На третий день море отдало только одного Степана Ефимовича. Плакала по нему жена:

— Покинул нас, море его взяло,
Ушел, завета не сказал последнего,
Оставил на меня пятерых детушек.
Как подымать их буду, неразумных?
Слова отцова не слыхать им,
Рука отцова не поддержит,
Куда их без отца направишь,
Дорогу-то кто укажет, кто?
На море-то кто выведет их?
Кто расскажет о его повадках и обычаях?
Он-то знал их а тонкости.
А жизнь-то вся впереди,
Жизнь без отца трудная, без достатков,
Жизнь, слезами политая, горем повитая.
Ушли с родным все радости,
Ушло беспечалье, ушла надёжа наша,
Ушел родимый наш, кончилась его жизнь,
Только горю конца не будет.

Голос ее поднимался до крика. Платок с головы она сорвала, повойник сбросила, коса ее рассыпалась. Она билась о гроб, с небывалой силой вырывалась из рук, старавшихся ее удержать. А он, обряженный во все лучшее, что нашлось в хозяйстве, сохранившееся с поры жениховства, лежал могутный, широко развернулись его плечи, крупные натруженные руки отдыхали впервые за тридцать лет тяжкой морской страды, лицо было спокойно и красиво.

Исступленное горе, отчаяние владело женщиной — утрата опоры семьи, кормильца была негаданной. Оплакивая по поморскому обычаю взятого морем, она собрала все свои силы и возможности отдать последний долг ушедшему мужу и отцу своих детей.

Не слеза моя его обмоет

Невесте, да еще обрученной, не полагалось оплакивать жениха, Даша горевала в одиночку, плакалась втихомолку на далеком угоре. Жених ее впервые был на зверобойке, на весновальном промысле на Кедовском пути. В азарте он не остерегся и провалился между льдин. Они сомкнулись, и товарищи не могли его спасти. Летом 1912 года Даша разрешила записать ее плач:

— Кого ждала, кого любила,
Отняла холодная волна.
Взяло его море, не воротит никогда.
Спит на дне морском он,
И его могилу занесло песком,
Придавило тяжким камнем.
Не слеза моя его обмоет,
Бьет его солоная волна,
И чего он помнит,
И чего он ждет, и о чем жалеет?
Может, уж летели его думушки ко мне,
Может, он сказал, как мне дале жить,
Может, он отдал слова мои обратно.
Не могла я дум его понять,
Сердце мое ноет, жмет его тоска,
И чего живому не успела я сказать —
Спящему на дне морском суждено понять.

Она плакалась нараспев, с сердечной тоской, горестно. Она, семнадцатилетняя девушка, печаловалась о несбывшемся и опасалась остаться навсегда только невестой жениха,-взятого морем. Может, и не встретит она того, кто решится его заменить.

Ты утехой матери была

Деревня Кудьма когда-то, а XV веке, владеиия Марфы Борецкой Посадницы, стоит более 500 лет на дороге с Двины к поселениям на Летнем берегу Белого моря. Эти поселения, Ненокса, Уиа и Луда, были известны как места «солеваренные». Осенью в 1913 году в деревне, уже малолюдной и бедной, у одинокой, немолодой женщины скончалась единственная шестилетняя дочка. В деревню в тот же день пришла со Свинца Дарья Николаевиа, крестная матушка этой девочки. Она пришла проститься с крестницей и сказать слова утешения. Она села на лавку у стола, обратилась к матери девочки: «Послушай и попрощайся».

Плакала Дарья Николаевна медленно, часто остаиавливалась. Ее душили слезы, она сдерживалась, опасалась бередить сердце несчастиой, убитой горем матери. В то же время соблюдала «чин плача»:

— У матери родимой
Была ты дитятко едино.
Осень темная пришла
Со ветрами да дожжами,
Дитятко ейное взяла.
Осень, ты дожжливая,
Ты чего болезни носишь,
Ты чего дожжами льешь,
Ты чего ветрами дуешь?
Мать родную не спросилася,
Отняла едино дитятко,
Мать бедою разнедужила.
Ненаглядное ты дитятко,
Ты куда ушла, не сказалася,
Ты пошто ушла, не спросилася,
Ране матери, ране времени.
Ты утехой матери была,
Уж тебя лелеяла, обувала, одевала,
Тебе песни она пела,
Не спросилась ты, ушла.
Во сырую землю ты ушла
Ране матери, ране времени.
Мать оставила одну
Слезы лить, плакаться.
Ты пошто ушла от матери,
Ты пошто ее покинула?
Нету свету ей без дитятка,
Нету жизни ей без донюшки,
Нету ей помощницы
В жизни одинокой.
Мать с тобой прощается.
Плачет о тебе и матушка.
Навек ты ушла,
Нам нв гореванье.

После плакали еще две пришедшие женщины. Плачи их я записала.

Сердце сына, мужа и отца

Во время первой мировой войны в Архангельске были оргаиизованы госпитали для раненых. Один из них был размещен в здании Мореходного училища. В этот госпиталь поступали выздоравливающие, уже перенесшие операции. Но однажды ночью там внезапно скончался молодой солдат родом с Пииеги. Днем в госпиталь пришла почетная гостья — знаменитая сказительница Мария Дмитриевна Кривополеиова. Врач Никольская-Ржевская попросила ее зайти в палату, где ранее лежал скончавшийся. Нежданная кончина двадцатидвухлетнего мужчины произвела на всех его товарищей гнетущее впечатление. Она пришла в палату, поприветствовала всех низким поклоном, села на кровать в ногах ранеиого, очень деликатно, душевно поговорила с солдатами, об усопшем не помяиула. Помолчав, сказала: «Поплачусь я, легче и вам, и мне будет, не могу печаль на душе держать, слово сказать нать». Медленно, пониженным голосом, без рыдания и слез, часто останавливаясь, слегка раскачиваясь, она плакалась:

— Залетел далеко я, сокол сизокрылый.
Залетел в края, из которых нет возврата мне,
Нет возврата из краев, где тучи ходят,
Облаки небесные, да солнце красное живет.
Не кручинься, матушка родимая,
Не печалься ты, жена любезная,
Не горюй, сыночек долгожданиый,
Не томите сердца моего,
Сердце сына, мужа и отца.
А лежать я буду во сырой земле.
Из той чужой, сырой земли тяжелой
Нет возврата мне в родимый дом,
А взлечу я в край, где звезды ясные живут.
Как падет звезда во осень темную,
То я глянул с высоты небесной на родину свою,
Ты, женв любезная, мне отдай поклон земной,
А ты, матушка родимая, поклонись во пояс,
А сыночек малый, ты головушку склони.
Защитил я землю отчую и родных своих,
Шел на битву я по воинскому долгу.
Отдал жизнь свою за родимый край.
Помяните, други, добрым словом верного солдата.

Все долго молчали, потрясенные. Молчала и Мария Дмитриевна. Она почувствовала, поняла, чего ждали от нее солдаты, и сказала о том, в чем они нуждались, что им было так необходимо перед вторичной отправкой на фронт, в новые бои.

Ее плач был импровизацией, манера ее была иесколько необычной для нее. Такая была необходима слушателям.

Велики были чуткость и душевность Марии Дмитриевны.

В этой палате небывальщин-неслыхальщин она не пропевала.

Мария Дмитриевна меня спросила: «Записала, ладно, не от себя плакалась, от его».

Текст этого плача был передан О. Э. Озаровской, он не был опубликован.

Осиротилась я...

В 1911 году на Кий-острове у Крестного монастыря собрались пять пожилых жеищин из местных деревень и две девушки из Архангельска. Вспоминали войну Дальневосточную между Россией и Японией. Рассказ одной нз них, Анны Кашириной, был полон какой-то тихой, приглушенной грусти, выделялся лексикой, строем и выразительностью. По теме и передвче он был близок плачам по тем, кого взяло море. Плачи в Беломорье отличаются непосредственным выражением глубокого искреннего чувства, вызывают сопереживание. Рассказ А. Кашириной воспринимался как плач.

«Младшенькой с японской скоро пришел иа вольную, по ранению. Пришел без отца и брата. Один у меня остался. Конца войны еще не видать. Веснусь в артель пошел, а тамотки и на море по рыбу. Как пошел сынок на страду, горевала я, томилась. Душа разрывалась, спокою не зиала. Нехорошо на сердце было, тяжесть давила.

Сын-то на море. Поглядываю, не вернется ли в скорости. Море, морюшко Белое все волной идет пенною. Все бедой страшит. Не пришел сынок. Не порадовал. Пришла весть горькая, безутешная. Не приветит сыиок, слова не молвит матери. Взяло тебя море без отдачи. Без возврата. Лежишь в воде средь песков и каменья.

Осиротилась я, кто опечалит старую. Мочи нет дале горе нести. Боязно маяться одинокой. Нет мне опоры. А земля зовет.»

Рассказ был краток, немногословен, выразителен при простоте своей. Она, больная, покорная, говорила, как бы наедине сама с собой. Голос ее звучал приглушенно. Горевала сдержанно, без слез. В этом во всем была особая сила плача-рассказа.

Любовь у нас была

В 1967 году побывала я еще раз в Семже иа Мезени. Гостила у Анны Ефимовны Масловой. Вспомнили мы, как в 1966 году она рассказывала о «Молении на Взглавии» ее крестной матушки и о ее же «Плаче» по мужу, взятому морем во время зверобойного промысла в 1902 году. Тогда же, в прошлом году, она сказала: «Слово у ей было, до сих дней помню, в голову оно мне ударило и сердце прожгло». Она вспомнила эти слова и теперь прибавила: «Это я про Плач ейный, не велела тебе о Плаче никому сказывать. Страшилась. Как девятый день тогда миновал, батюшко мезенский оговорил ее: «Не гневи Господа плачем своим, дети у тебя. Слово свое сказала — сердце свое успокоила. Молитвой поминай, ие гневом». Пожалел он ее, детей обереr.

Страшилась я слов ее, забыть хотела. Тяжелые слова. Батюшко оговорил ее, а наказанья не дал. Скорее забудутся».

На следующий день Аниа Ефимовна была чем-то обеспокоеиа, бледнвя, рассеяиная. Сели мы к столу чайку попить, алабуши были иапечены. Вижу, не пьет она чай, к алабушам не прикасвется. Чашку возьмет, подержит и поставит на блюдечко. Не спрашиваю ее ни о чем, знаю, она не любит «спросов».

Она начала разговор сама. «Ночь не спала, вспоминала день прощальиый и слово ейное. В глазах стоит.» Она встала, убрала все со стола. А когда я поднялась и хотела выйти в другую комнату, остановила меня: «Посиди тут». Потом сняла фартук, оправила платок на голове, села к столу и спросила: «Запись-то прошлая с собой у тебя?» Я ответила: «После встречи в 1966 году, спустя некоторое время, я попыталась записать и «Моление», и «Плач». Тексты, тот и другой, в моей записи у меня с собой». Она оживилась: «Ну-ко, ну-ко, почитай».

Чтение Плача началось, заговорила, наконец, запись 1966 года, которая до тех пор молчала год.

«Одежа на ей была вдовья, плат повязан как следно быть, стоит она ровно. Спокойио первые слова Пелагея сказала. Голос тихий, как в раздумье. Погодя бормотать что-то зачала. Непонятно было. Дале зачала сильней говорить, а потом и кричать что-то в голос, платок скинула, волоса стала рвать, за горло хвататься, головушкой биться о домовину. Бывает такое от горя неперенисного. Как упала в подножье, стали подымать ее. Она не дается. Зачали водой холодной отливать. Она захрипела с пеной. Ребята в голос ревут. Два мужика хотели ее унести. Не давалась, держалась за домовину. Бабушка догадалась, принесла меньшого, два месяца ему. Зашелся вовсе криком, посинел. Она услышала крик тот, встала, оглянулась и руки протянула. Ребенка взять хотела, грудничок он. Бабушка боится отдать, как-бы она его не обронила. Она кинулась к ей, ребенка силком схватила. Тот учуял материискую руку и стал затихать. Она кормить его стала. Тут слеза горькая у ей и пролилась. Полегчало и ей, и всем. Ребенка она покачала, побайкала. В ногн отцу положила. Потом Пелагея платом повязалась по-вдовьи. Слово прощальное к ей и подошло. Слова ейные тяжелые от горя-горького были.

Плач Пелагеи:

— Жили, Господа Бога не гневилн, славили. Чего напасть такая на меня и на детей наших пала? Жили меж собой в согласии, любовь у нас была. Грех ето, осуждение нам? Жили пятнадцать годков. Муж промысел вел, я хозяйство по дому, детей рожала, выхаживала, родителям своим и мужним помощь давала. Тоже за труд мне не посчитано? За двенадцать годков пятерых детушек выносила, выкормила. Баловством бесстыжим Господь Бог посчитал? Утеряла мужа любимого, отца заботного. Сына послушного старая мать утеряла. Чего еще от меня надоть? Жили семейно, ничего не страшились. Трудом своим жили. Радость была. Ушла она. Жизнь горькая иам осталась. За какие грехи? Спроси с меня, детей не трожь.

Куда пойду, где слезу пролью? Опору семейную отнял ты, всеблагой. Дорогу я утеряла, тропочки малой нет. Горе-то не у нас только. Горе-горькое кругом. Для правильной-то жизни человеку радость нужна. Чем детей малых порадую, ни куска сахару им не купить, ни ботиночек.

Старшему сынку теперь младших в жизнь выводить. Ему заботу отцоау на себя брать. А годков ему четырнадцать. Труд отцов утерялся в волнах морских. Неужто детям его в кусочки идти?

Не заношусь, ие заношусь я, спрашиваю, кто в горькую минуту совет даст. Высоко ты, Господи, взлетел. Возвеличился на небеси. Человек на земле живет. Горюет-бедует. Тебе все нипочем? Возьмет нас море, не откажет. Душеньки самоубиенные к престолу твоему не предстанут. Не досчитается их войско небесное. Со мной уйдут отцовы кровинки мои.

И зачала она меньшого, грудничка своего, в домовину укладывать. С отцом на погребенье отправляла.

Изумилась Пелагея, вовсе изумилась, разум ее помешался. В исступлеиие пришла, заметалась, в кровь лицо изодрала. Брат ейный со спины набросил на нее одеяло, подшиб колеикой и с двоюродничком вынес на крыльцо, на ветерок. Назавтра ее в Мезень отвезли.

В больнице ее держали три месяца. Малой при ей был. Вышла старуха-старухой. Тихая, работала хорошо. Мало только говорила, нет-нет улыбалась жалостно. Сердце переворачивалось от улыбки той. Детей всех обихаживала. Вязала. Ребята хорошие, все при деле. Петр-то, старшой, с первой мировой не возвернулся, а меиьшой со всемирной. Она в пятнадцатом померла, как похоронку от старшого получила.»

«Слов ее я долго страшилась. Не забывались, помнились они. И она виделась. Против кого возвеличилась, кого осудила. Слушала их, а промолчала, все промолчали. Думала тогда: на исповеди повинюсь, сниму с себя ее слова. Не повинилась. Теперь исповеди у нас нет. Ежели бы не видела ее, какая она вышла из больницы, может, тогда же, и до Архангельска добралась бы, в церкви батюшке повиниться. А повидала ее и тяжелую заботу ейную о детях своих — страх давний и прошел. Верно говорила Пелагея. Спросу за мать с ребят не было. Работящие и уважительные росли. Материнская заслуга. Все признали и без медали.

Велико было горе шести сердец. Велнко отчаяние материнское не за себя, а за кровинок своих-отцовых. Все перенесла Пелагея, выстояла — «любовь у нас была». Да, любовь большой души, верного сердца, светлого ясного разума, любовь — счастье, безоглядная, безутешная, любовь женская. И рядом любовь — радость тревожная — материиская.

Не забавы любовные, про которые стишки сочиняют.»

●

Ксения Петровна Гемп не впервые выступает на страницах нашего журнала. Несмотря на свои преклонные лета (недавно ей исполнилось девяносто шесть!), она сосредоточенно и терпеливо работает над рукописью новой книги, которая явится продолжением «Сказа о Беломорье», вышедшего в Архангельске несколько лет назад. Глава «Горя утешительницы» из этой рукописи. Можно только дивиться, как энергично, молодо, душевно тонко пишет Ксения Петровна.

Фото Юрия Садовиикова.

НАМ ПИШУТ

Написал вам, потому что уверен — вы сможете помочь. Читая ваш журнал, я сделал вывод: у вас работают люди, являющиеся истинными выразителями народных интересов. Может, мое письмо покажется вам слишком эмоциональным, но успокаиваться нет у меня времени! У нас — культработников деревни — много проблем, но... мы живем на земле, с нее кормимся, Бог даст, пока не помрем, а вот наше бесценное богатство, пришедшее в наследство от наших предков — наш фольклор — не по своей воле потихоньку утрачиваем. По воле злоумышленников (других слов тут не скажешь) происходит «раскультуривание», планомерное «раздевание» нашего фольклора, начавшееся с пятидесятых годов, а сейчас вот вступившее, так сказать, в завершающую фазу. Впрочем, все по порядку.

Я живу на Белгородчине — крае, богатом песенными традициями, работаю 14 лет директором Казацкого Дома культуры. Рассказать же хочу о состоянии нашего фольклора. С середины 50-х годов появились у нас «собиратели фольклора» из Москвы, в основном почему-то некоренной национальности. Первым на их пути было село Афанасьевка. Тогдашний, да и здравствующий поныне руководитель фольклорного коллектива Ефим Тарасович Сапелкин при посредничестве «гостей» вскоре получил возможность со своим хором в Москве выступить, пластинку даже напели... Благодарный своим «благодетелям» народный песенник по их же просьбе начал собирать народные костюмы «для Москвы». Многие отдавали даром, другим за бесценный костюм была уплачена пара десяток. Не один район объехал Е. Т. Сапелкин «со товарищи», не один костюм после этого переехал в Москву. Мне так объяснил он тогдашнюю деятельность: «Обманутым был, добродеятелями их считал, покуда разглядел, что они нас всех обворовывают, — они меня лично обворовали... Но об этом разговор особый...»

В конце семидесятых появились и у нас собиратели, а точнее, «обиратели» фольклора. Назвавшись преподавателями консерватории, Вера Медведева и Анатолий Иванов послушали наш фольклорный коллектив, записали, пофотографировали, пообещали скорые гастроли в Москву или Ленинград. Через несколько месяцев устроили вызов, и наши самодеятельные артисты дали несколько концертов в консерватории. Не избалованные столь высоким вниманием наши бабули и дадули остались довольны поездкой. Вот как сказала о тех концертах старейшая участница хора Надежда Михайловна Журкина: «Диплому какую-то Толе завоевали, для его учебы нужную... Нам не жалко, кому надо еще защитим, зато Москву поглядели, себя показали. А они люди душевные, хорошо с нами обошлись, сто раз спасибо сказали, поперецеловали всех на прощанье».

С той поры «душевные люди» стали частенько наезжать в наше село и в близлежащие «фольклорные точки» — села Верхняя Покровка, Нижняя Покровка. Больше-Быково, Подсереднее — и потихоньку стали продолжать приобретение старинных народных костюмов, сработанных прабабушками в далекое от нас время. И вот каждый год идет у нас эта купля-продажа. В 1989 году были у нас две экспедиции. Одна из Саратова от Веры Медведевой, как они сами говорили, другая из Москвы от ансамбля Дмитрия Покровского. Покупали, так сказать, по договорным ценам: сколько скажет старушка, столько и заплатят. Много увезли понев, рубах русских, сорок (понева — домотканая юбка с вышивкой, сорока — головной убор женский). Записали на видеокамеру выступления детского и взрослого фольклорных коллективов и пообещали все это по телевидению показать. Называть их имена не хочу, хотя они и расписок набрали, а также взамен — свои оставили, оставили еще номера телефонов каких-то, да еще визитную карточку самого Дмитрия Покровского.

И вот теперь еще несколько экспедиций с возможностями оплачивать костюм теперь уже в несколько сотен (мне они объяснили, что финансирует их Всесоюзный фонд культуры) — и будет наш фольклор раздетым. Денег же ни у нас, ни в районном отделе культуры нет и не будет, даже для того, чтобы приобрести 20—30 костюмов. У нас в ДК два коллектива: детский — 30 человек и взрослый — 20 человек. Одеты они пока все в старинные костюмы, но вот в июне — августе снова приедут «душевные люди» проводить «раскультуривание» и «раздевание» нашего фольклора. И никак не убедишь сердобольных бабушек не продавать бесценное народное искусство.

«Эх, дитятко! Знаешь ли, сколько мы понев-то этих на половики пораспороли? А тут за нее три пензии сразу получишь! Окромя этих никому, видать, наряд наш больше и не нужен». Мне пришлось прервать слышанный много раз «экскурс в прошлое» одной из престарелых участниц хора. «Мы, — говорю, — сами купим, — поберегите пока». Невесело усмехается моя собеседница: «Это ты-то, дите, купишь? За свои-то 90 рубликов зарплаты?» «Не я сам, — говорю, — в сельсовете средства найдем...» «Иде ж вы их найдете? Вон по улице канавы какие повыбили, а отремонтировать не на что, сама у депутатши пытала... нету денег лишних у них-то в совете. А я вот продам наряд-то да просмерть себе и закуплю, будет детям в чем в гроб меня положить, как помру. В поневе-то не ляжешь?» Потрясли меня эти слова, и горько стало от собственного бессилия. В гробу-то как раз видится мне наш фольклор. Сколоченный обирателями фольклора, этот гроб вместил все наши костюмы и песни. Ведь страна наша больше знает русский ФОЛЬКЛОР по песнопениям ансамбля Д. Покровского, а это ведь не наш русский фольклор. Песни наши, но поют они их на чужой лад, потому как не станешь русским, если только одна рубаха подтверждает твою сопричастность с русским фольклором.

И еще хочется Русскую песню спеть нам самим для нашего народа. Правда, нет у нас пока таких возможностей, нет у нас и аппаратуры видеозаписывающей японской, как у наших самозваных менеджеров. Магнитофон для ДК — и то роскошь. На телевидении вроде бы наши белгородские ансамбли снимались много раз, а вот трансляции один раз в два года бывают по протяженности от 2 до 10 минут, в то время как все тот же Покровский выступает на музыкальном ринге с пародиями на наши песни, а то и выступит в учебной программе со своим ансамблем, обучая наш народ пению. Ряженные в русские рубахи, эти паяцы визжат и воют не по-людски, выдавая это хитрое искусство за наш русский фольклор. И получается так, что молодые люди не по своей воле не слышат песен своих дедов и прадедов, не по своей воле становятся «Иванами не помнящими родства». В таком виде, в каком представляют и популяризируют все эти музыковеды, фольклор отталкивает, отпугивает и взамен народных песен приходит рок. Уж его-то на телевидении предостаточно...

А может, зря мы тревожимся? Доберут у нас всё, можно будет съездить в столицу и взять напрокат свои, теперь уже бывшие, костюмы. Песни белгородских «фольклорных аборигенов» теперь заменены непонятно чьим «фольклором», который необходим кому-то для отпугивания молодежи от народной песни.

Десятилетиями по чьей-то вине не имея практически никакой технической базы, с зарплатой в 70—90 рублей, культработники сохраняли неиссякаемый до недавнего времени родник фольклора. Теперь этот родник бьет грязной струей. От имени всех фольклористов района я требую права на самоопределение нашего песенного народного творчества. Без денег мы жили, поживем еще... а вот без фольклора нам не выжить.

Анатолий РОЩУПКИН,
с. Казацкое,
Красногвардейский р-н,
Белгородская обл.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

История России по Марксу

Российские писатели и российские патриотические силы за последние пять лет потеряли все, что могли. Проиграны выборы в российские Советы... Мы постоянно проигрываем, теряя нашу российскую молодежь, теряя российскую интеллигенцию... потому, что всегда «играем черными»... Как я прочитал в одной хорошей статье, даже гениальный шахматист, играя только черными, не выиграет ни одного турнира.

Это российские патриотические силы должны были начать кампанию десталинизации, дереволюционизации, дебольшевизации страны. Кто, как не русский народ, наиболее пострадал от этой чудовищной диктатуры, которая за семьдесят с лишним лет нанесла тотальный удар по русскому национальному самосознанию, по русской культуре?!

Это российские патриотические силы должны были написать на своем знамени лозунг «За Свободную Россию». Разве мы против свободы и воли народной? Разве сможет в условиях несвободы возродиться вольный русский землепашец? Это наш национальный лозунг, и отдавать его разного рода радикалам, вчерашним мафиозным следователям и прокурорам, бывшим генералам КГБ и потомственным деятелям со Старой площади, аппаратчикам ЦК, начисто лишенным демократического сознания, — одна из наших глобальных и принципиальных ошибок... Свобода — это не наша политическая программа, это наша национальная суть!

Думая о национальном возрождении России — любому русскому необходимо не просто учитывать, а понять интересы всех российских народов. Но понять — не значит отринуть от себя. Нам предлагают пойти по пути, обозначенному леворадикальными журналами, мечтающими о разрушении государства российского. Согласимся с утверждениями журнала «Век XX и мир», оповещающего всех: «С тотальным режимом покончено навсегда. Нас ждет Свобода, Равенство, Братство. Теперь надо быть до конца последовательными. Вернуть японцам Курилы и другие острова, какие попросят. Немцам вернуть Восточную Пруссию... Вернуть все захваченные земли, если на них претендуют другие народы».

Уже все автономные республики хотят стать союзными. Уже говорят всерьез о восстановлении Дальневосточной республики, о создании Независимой Сибирской республики, вспоминают про мифическую Казакию. Наверно, пора Новгороду и Русскому Северу подумать о возвращении вечевого колокола. И соседи вокруг вспомнят свои былые геополитические мечты — Великая Литва, Великая Финляндия, Великая Польша. Вот уже и в Лондоне проходит мусульманская конференция, где, учитывая наш развал, всерьез обсуждали вопрос о границах России в пределах Московии 1552 года.

На память приходит меткое определение меньшевика Мартова — «первый раздел России», — определение, относящееся к итогам первых лет Советской власти, к Брестскому миру, к Тартускому миру и т. д. В результате чего Российская империя потеряла огромную территорию — Прибалтику, часть Украины и около миллиона населения. По нынешним временам — этот Мартов выглядит форменным империалистом и великодержавным шовинистом. Мы успешно идем к «второму разделу России», и не о союзных республиках уже забота, уцелела бы сама Россия.

Пока мы не скажем вслух о губительности ленинской национальной политики, не отречемся от нее хотя бы на обломках великой империи, национальные кризисы будут продолжаться «до последнего инородца». Может быть, и США необходимо вернуть свои территории Мексике, Пуэрто-Рико, России, наконец? Испании отказаться от басков, Англии от шотландцев и ирландцев, Франции... Бельгии... Любое государство знает в своей истории и захваты земель, и потери.

На мой взгляд — любое большое государство должно быть монолитным государством. Как США. Самый маленький народ — на территории США — имеет свои школы, свои газеты, свои театры, свою национальную этику. Испанцы, русские, евреи, китайцы, ирландцы — все имеют права на свой культурный мир, но смешно говорить о еврейской автономной республике в США, о китайской автономной области. Штат имеет достаточную самостоятельность, чтобы большинство его населения само решало свои национальные и хозяйственные проблемы. Так и хочется сказать: давайте возьмем за основу США. Потом вспоминаешь, в России-то задолго до США было примерно так же, генерал-губернаторства имели не меньшие самостоятельные права. Коренное население каждой области России должно иметь право строить свои школы, университеты, развивать свою культуру, обычаи, промыслы, но — в рамках одной государственности.

Мои заметки уже не о Советском Союзе. Мартов прав: ленинский раздел России закончился. У нас пятнадцать республик. Будем ли мы в конфедерации, или совсем отдельными государствами — будущее покажет, но то, что прежней России уже никогда не будет — это точно...

Мои заметки о России. Сегодня на территории России создать новый ряд союзных республик — Якутия, Башкирия, Татария и т. д. — это значит где-то в будущем с неизбежностью прийти к новому разделу России. Кому-то мешает не столько Советская власть, сколько Россия как таковая, кто-то делает ставку на самоликвидацию России... Федор Бурлацкий пишет в «Литературной газете»: «Выдвинули такое понятие, которое выглядит очень привлекательным в глазах русского человека: россияне. Но захотят ли другие нации, живущие в РСФСР, назвать себя не башкирами, не мордвой, не якутами, а россиянами?»

Этакий каверзный вопросик, но его можно продолжить. Захотят ли люди разных национальностей назвать себя американцами? А как насчет израильтян? Есть еще бразильцы, китайцы, есть Индия, Австралия.

Федор Бурлацкий, политолог и государственный деятель, особа, долгое время и по сию пору приближенная к «царствующему дому», отрицает само понятие «россияне», следовательно, отрицает и российскую государственность. Он что — сторонник махновских вольных республик? Сепаратисты в десятках мелких государств на территории России — не совместно ли с Бурлацким сочиняли свои проекты по заказу разных зарубежных мечтателей?

В одной из самых серьезных работ о российской государствености, вышедшей в Париже, — «Возрождение и белая идея» Георгия Мейера — которую давно бы следовало опубликовать у нас в стране, можно прочитать: «Наша старая Империя времени Екатерины II-й, Александра I-го и вся тогдашняя петербургская политика России не были националистскими (в некоторых отношениях они были прямо-таки антинационалистскими), они были национальными в истинном значении этого слова, т. е. ... возвеличивали Россию... «Немец... финляндец... грузин... татарин... Это и есть Россия»... Что означают эти слова Николая I-го? Они означают, во-первых, что все подданные российского Императора, без различия племени и вероисповедания, составляют единую имперскую семью; что в Империи не может быть, в племенном отношении, подданных первого и второго сорта; что она не может делать различия между родными своими сыновьями и пасынками, между туземцами и пришельцами; что всякая политика обрусения противоречит идее Империи по самому существу». Конечно, непривычные обороты — Империя, вероисповедание, но вдумайтесь в смысл. Создавая сегодня новую российскую программу возрождения, неизбежно придется обращаться к трудам ученых и мыслителей, занимавшихся основами российсной государственности.

Вспомним и Константина Леонтьева: «Я не понимаю французов, которые умеют любить всякую Францию и всякой Франции служить. Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения и Россию всякую я могу разве, по принуждению, выносить. Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего шаг за шагом дошли уже многие французы, т. е. до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить...»

В этом утверждении русского мыслителя мне интересны не суждения о французах, сегодня скорее можно обратить это резкое утверждение Леонтьева к России и русским. Важно другое — любить ли нам всякую Россию, или терпеть оную, пока мы не сделаем из нее великую и свободную? Важно отрицание пассивности и утверждение идеи государственного строительства... Остановить разрушительный пафос перестройки...

Главное, что мы сегодня усердно — все без исключения — разрушаем у себя то, что является незыблемым законом во всех западных странах. Вместо того, чтобы избавляться от одряхлевшей идеологии, мы избавляемся от институтов государственности...

Наша милиция по строгости своей несравнима с европейской полицией. В Швеции, к примеру, тюремное заключение ждет тех, кто сел выпивши за руль машины... А разве не удивляют советских людей анкеты на Западе, которые приходится заполнять? Как при устройстве на оборонный завод, не меньше. И что-то не слышно протестов в нашей левой прессе. Зачем таможенникам ФРГ при выдаче транзитной визы сроком на сутки знать, когда я женился? Удивительное спокойствие, с которым жители Европы воспринимают даже излишнее соблюдение правил государственными служащими. Они понимают: спокойствие и порядок в стране нужны именно для существования демократии. Что полная демократия возможна только при строгом соблюдении законов, а значит — при сильной государственной власти, также основанной на законе. Выше закона — нет ничего.

А вот что считает президент Южной Кореи Ро Дэ У: «Цель этих изменений (в Южной Корее — В. Б.) — демонтаж старой авторитарной системы и введение подлинной демократии. За три года процессы демократизации, дух свободы и движение к самоуправлению распространились во всех сферах жизни общества... Вместе с тем необходимо признать, что в условиях переходного периода накопившиеся требования различных групп и слоев общества прорвались в одночасье, порой нарушая спокойствие и стабильность. Некоторые радикальные группы пытались достичь своих целей посредством насилия и разрушения... Поскольку построение демократии возможно лишь на основе соблюдения прав и порядка, естественно, что правительство по настоятельному требованию большинства населения обеспечить стабильность в обществе вынуждено было пресекать насильственные действия, противоречащие закону. Было бы ошибкой считать подобные меры правительства репрессиями и подавлением демократии».

Старая российская проблема — разумное сочетание интересов народа и интересов государства. В данном случае — сочетание интересов каждого из народов, живущих на территории России, и интересов единого российского государства. Одним из первых изложил свою концепцию современного развития России Александр Солженицын. Так как публицистика этого русского провидца пока еще недоступна российскому читателю, процитирую развернуто главные выводы его программы, изложенные в разное время:

«Может быть, как никакая страна в мире, наша родина после столетий ложного направления своего могущества (и в петербургский и в советский периоды), ставши столько ненужного внешнего и так много погубивши в себе самой, теперь, пока не окончательно упущено, нуждается во всестороннем внутреннем развитии: и духовно, и как последствие — географически, экономически и социально... Мы — устали от этих всемирных, нам не нужных задач! Нуждаемся мы отойти от этого кипения мирового соперничества. От рекламной космической гонки, никак не нужной нам: что подбираться к оборудованию лунных деревень, когда хиреют и непригодны стали для житья деревни русские? В безумной индустриальной гонке мы стянули непомерные людские массы в противоестественные города с торопливыми нелепыми постройками, где мы отравляемся, издергиваемся и вырождаемся уже с юных лет. Изнурение женщин вместо их равенства, заброшенность семейного воспитания, пьянство, потеря вкуса к работе, упадок школы, упадок родного языка — целые духовные пустыни плешами выедают наше бытие, и только на преодолении их ожидает нас престиж истинный... А еще ко всему, похваляясь своею передовитостью, мы рабски копировали западный технический прогресс и вместе с ним бездумно впоролись в кризисный тупик...

Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать свое горе в себе, так надо и русскому народу: побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома... Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности.

К счастью, дом такой у нас есть, еще сохранен нам историей, неизгаженный просторный дом — русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державной рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим свое национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока.

...Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно укрепить эти пространства.

Северо-Восток — более звучания своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор самоограничения, выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; все развитие свое — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан, направит к расцвету внутреннему, а не внешнему».

Не скрываю, я активный сторонник этой программы самоограничения и внутреннего расцвета России. Она не приведет к изоляции, да в конце XX века изоляция и невозможна, но когда же нам всем надоест радоваться успехам в космосе, внешнеполитическим успехам в Африке и Антарктиде? Наш Президент — любимец всей западной публики, но лучше ли от этого стало жить доярке на Вологодчине, шахтеру в Кузбассе, лесорубу в Карелии, якутскому оленеводу? Да, он полезен — этот внешнеполитический успех, если он идет во благо внутреннему развитию России, если помогает нашему отечественному возрождению. Иначе зачем он? Теперь мы понимаем, почему американцы традиционно невнимательны к внешней политике, и определяют успех своего президента — по качеству жизни в США. Единственный критерий на все времена.

А любителям геополитических размахов, даже среди своих друзей, я скажу: посмотрите внимательно на карту — разве мала Россия? Но как она еще пуста! Чем вкладывать миллиарды во внешнее, объясняя это стратегическими интересами, не лучше ли на миллиарды построить на Тихом океане наши российские Лос-Анджелес и Сан-Франциско, столь необходимые нам мощные океанские порты для всей Сибири? Разве это не дальновиднее? Если бы Южно-Сахалинск стал одним из крупнейших центров на Тихом океане, то и спорных вопросов с Японией могло не быть! Всех манит пустота наших северо-восточных пространств. Представьте на минуту, что все европейское побережье или все американское побережье было бы столь же запрещено для проезда и проживания своих граждан, как и поныне запрещено, засекречено, запограничено все наше Тихоокеанское побережье. Это меня удивляло с детства. Все государства столетиями рвутся к выходу в море, в океан и самым интенсивнейшим образом осваивают прежде всего побережье. Вдоль Атлантического океана, Средиземного моря, Балтики — вы насчитываете сотни крупнейших портов мира. Россия столетиями билась за выход к Балтике, Черному морю, и вдруг — сознательная гигантская пустота нашего побережья на Тихом океане. Камчатка с ее удивительным климатом, с богатствами недр — ей бы с Японией равняться, а она до сих пор служит объектом для все тех же запретов да туристских песен, где символизирует нечто глухоманное и диковинное. А разве не то же мы видим на Мурманском, Беломорском побережьях, а по всему морскому побережью Арктики? Где тоже все запрещено, закрыто и пустынно. Это спор не с военными. Кстати, и А. Солженицын пишет: «Силы защиты должны быть оставлены... соразмерно с непридуманной угрозой». Так что чистым пацифистом писателя никак не назовешь, для этого он достаточно хорошо знает историю России. Но ведь это все — секреты не для натовских и американских спутников, радарных систем наблюдения и компьютерных банков информации. На Гавайях взлетают рядом пассажирские авиалайнеры и новейшие военные самолеты не потому, что американцам нечего скрывать. А потому, что зачем скрывать то, что невозможно скрыть.

Это все — от узковедомственности бюрократических интересов, от неумения и нежелания разумно хозяйствовать.

Но захочет ли учитывать разумную программу нынешнее российское правительство? Говоря о проблемах Грузии, Чабуа Амирэджиби заметил: «Идя к демократии, прийти к тоталитаризму — эта опасность возникает тогда, когда народ, потеряв ориентиры, может повернуть за теми, кто его интересам готов предпочесть собственные интересы и амбиции». Не знаю, как в Грузии, но, мне кажется, это предположение более определяет нынешнюю ситуацию у нас в России. В единственной из республик, где патриотические силы по ряду причин наиболее разрозненны и не представляют еще серьезного фактора в расстановке политических сил.

Не будем скрывать: есть недоверие к патриотам, чему способствует денационализированная пресса, доверие есть к новым глашатаям тотального разрушения. Вина тут немалая лежит и на российских писателях. К примеру, бывшее руководство Союза писателей России вместо активной опоры на народ испытывало доверчивые чувства к власти, партаппарату. При всем уважении к одним руководителям, при неуважении к другим, я вижу общее — утрату чувства реальности, абсолютную оторванность от общего движения. Наши писательские лидеры, пожалуй, искренне считают, что им поможет выстоять контакт с партаппаратом. Уже рядовые коммунисты не надеются на свой аппарат, а мы до сих пор втянуты в партийный шлейф. Сколько сил положили на создание РКП. А велик ли результат этих усилий.

Пусть партия разберется сама в своем кризисе. Я не знаю, то ли это капитулянтская политика Имре Надя, который из окна своего кабинета наблюдал, как вешают на фонарях рядовых партийных работников, и называл вешателей — народными спасителями, спасая собственную шкуру, то ли это — осознанная хунвейбиновщина, «огонь по штабам» в целях завоевания собственной популярности, помогая разгрому собственной партии...

История покажет! Но патриотам в этой дурной политике участвовать не с руки... Это же нас в партийных газетах называют «русскими фашистами», нам затыкают рты!

Интересно, что занимаются разгромом собственной партии не столько рядовые работники (райкомовцы, по сути своей, скорее — хозяйственники, организаторы, бизнесмены, менеджеры — плохие и хорошие, — но к идеологии собственно партии имеющие косвенное отношение), сколько работники ее центрального штаба, ее же давние идеологи, ответственные функционеры — бывшие секретари обкомов и члены ЦК (Б. Ельцин), ректоры Высшей партийной школы (В. Шостаковский), руководители и референты идеологических отделов ЦК и центральных партийных органов печати (А. Яковлев, Н. Шмелев, Л. Карпинский, Ф. Бурлацкий, Егор Яковлев, Ю. Афанасьев, А. Беляев, В. Севрук, В. Сырокомский). Что это — искреннее перерождение или запланированная передислокация власти? Им-то мы и подчинялись, и подчиняемся до сих пор. Они оказались непотопляемы.

Жизнь показала, что блок с партаппаратом ведет лишь к поражению. Разве не звучит фарсом переиначивание замечательной патриотической мысли Столыпина, что «Нам нужна великая Россия», в «великую советскую Россию», как это объявлено в «Платформе патриотических сил России».

Я не призываю к борьбе с Советской властью или с коммунистической идеей. На мой взгляд, антикоммунисты и антисоветчики — это оборотная сторона той же самой медали, это — родные братья наших партийных демагогов. Нам сегодня, пусть на время, надо уйти вообще от всяких идеологий, кроме созидательной идеологии возрождения страны. К тому же, будучи буквалистом, можно объявить о том, что сегодня у нас — официально — нет Советской власти, есть «президентская власть» как форма правления. Значит, нет и «советских людей», есть «президентские люди», нет «советской литературы», есть «президентская литература» и «президентские писатели», которых, кстати, президент от случая к случаю зазывает к себе в Кремль.

Чтобы не выглядеть сначала смешно, а потом и трагично, в новой литературной политике нам необходимо отказаться от любого идеологизирования, от любой политизации. Политика меняется, а Россия остается! В наше смутное время возможно все, возможны любые перемены. Среди писателей России есть убежденные коммунисты и убежденные эсеры, убежденные монархисты и убежденные анархисты. Пусть будет так!

Объединяет все нас одна, воистину великая задача — духовное и религиозное возрождение России. Мы должны объединиться в независимый свободный Всероссийский союз писателей. Все, кто любит Россию, должны быть в наших рядах. Надо отказаться от сектанства. Разве не любят Россию Е. Носов и Б. Можаев, разве не патриоты России А. Солженицын и А. Зиновьев, княгиня Зинаида Шаховская и Аркадий Столыпин?! Многие из тех, кто сейчас в «Апреле», тяготятся его дешевым политиканством и до конца преданы России. Мы с ними близки. Барьер Союза писателей России должен быть один — перед литераторами, презирающими и ненавидящими Россию, так же как и все остальные народы и республики... Вот это и будет наша политика!

Конечно, Всероссийский союз писателей должен быть полностью независим от любых партийных и общественных структур, в том числе и от Союза писателей СССР. Сейчас в России есть как бы российские писатели и «союзные писатели». Чего нет ни в Грузии, ни в Эстонии, ни в Молдавии. Нет «союзного языка» и нет нейтральной «союзной территории», не должно быть и нелепых «союзных журналов». Разве не русские писатели — Сергей Залыгин или Михаил Дудин?!

Какими бы печальными ни казались нам итоги сегодняшнего дня, какой бы глубочайший кризис ни переживала русская нация, Россия в целом, славянский мир в целом, какой бы скромной ни казалась роль русской национальной интеллигенции в сегодняшнем общественном процессе, впереди с неизбежностью нас ждет — оздоровление! И даже победа на выборах многих антинациональных лидеров — окажется полезной, последним горьким лекарством. Народ, отвернувшись от партаппарата, пусть хорошенько разглядит и их родных братьев, одинаково предпочитающих собственные интересы интересам народа. Когда-то эмигрантский публицист А. Салтыков писал: «Большевики несомненно сделали очень много зла, но неизмеримо сильнее зло сидящего в каждом из нас застарелого первобытного большевизма, который и послужил главною причиною успеха большевиков. Большевики опираются на проклятый максимализм русской души, на ее анархический хаос. Этот хаос, эта религия нигилизма призвала их к власти, и она же удерживает их у нее».

Несомненно, сколько бы ни было у России внешних врагов, внутренний враг — мы сами. Наша родня — пугачевщина, стихийность (а отнюдь не приписываемое рабство) — помогли разрушить тысячи церквей, помогли сжечь тысячи помещичьих усадеб. Наши грехи отдали нас на время во власть дьявола и его приспешников, но — не поработили, не заразили осознанным, продуманным нигилизмом. Мы так и не выработали в себе мертвое атеистическое сознание, не превратились в послушных автоматов. Может быть, мы победили в себе самое гибельное, что посещало русский народ за всю его историю.

Из восемнадцатого года нам сообщает Петр Струве в сборнике «Из глубины»: «В том, что русская революция в своем разрушительном действии дошла до конца (А она дошла-таки до конца, хоть и через семьдесят лет после написания этой статьи русским философом. — В. Б.), есть одна хорошая сторона. Она покончила с властью социализма и политики над умами русских образованных людей. На развалинах России... мы скажем каждому русскому юноше: России безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину, но ей важно, чтобы ты чтил величие ее прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего, чтобы благочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толстого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и всех миллионов русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков, бестрепетно, безропотно и бескорыстно умиравших за Россию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими святынями, творилась и поддерживалась Россия, как живая соборная личность и как духовная сила. Ими: их духом и их мощью мы только и можем возродить Россию... На том пепелище, в которое изуверством социалистических вожаков и разгулом соблазненных ими масс превращена великая страна, возрождение жизненных сил даст только национальная идея в сочетании с национальной страстью. Это та идея-страсть, которая должна стать обетом всякого русского человека. Ею, ее исповеданием должна быть отныне проникнута вся русская жизнь. Она должна овладеть чувствами и волей русских образованных людей и, прочно спаявшись со всем духовным содержанием их бытия, воплотиться в жизни в упорный ежедневный труд... Это — целая программа духовного, культурного и политического возрождения России».

Остается только повторить последний абзац удивительно прозорливой статьи выдающегося русского историка и мыслителя: МЫ ЗОВЕМ ВСЕХ ТЕХ,

ЧЬИ ДУШИ ПОТРЯСЕНЫ ПЕРЕЖИТЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКРОТСТВОМ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ.

Мы зовем к конструктивной, созидательной патриотической оппозиции. Долгое время мы шли на всевозможные компромиссы с властью и потеряли очень многое.

Национальная идея не укладывается в космополитическую доктрину, религиозная идея — также не укладывается. Тем более, если речь идет о славянской национальной и православной религиозной идеях.

До сих пор не хотят просвещать нас и цитировать статьи К. Маркса по истории России, не хотят цитировать и Энгельса об «исторической необходимости» поглощения слабых наций сильными, о вымирании чешской национальности. Однако небесполезно узнать, как классики марксизма относились к славянам.

СООБРАЖЕНИЯ Ф. ЭНГЕЛЬСА:

«Но, как это часто бывает, умирающая чешская национальность — умирающая, судя по всем известным из истории последних четырех столетий фактам, — в 1848 году сделала последнее усилие вернуть себе свою былую жизнеспособность, и крушение этой попытки должно, независимо от всех революционных соображений, доказать, что Богемия может впредь существовать лишь в качестве составной части Германии».

«Единственная и неизбежная участь этих умирающих наций (южных славян) состоит в том, чтобы дать завершиться процессу разложения и поглощения более сильными соседями...»

«Кровавой местью отплатит славянским варварам всеобщая тайна, которая вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций.»

«Славяне угнетались немцами не больше, чем сама масса немецкого населения. Немецкая промышленность, немецкая торговля, немецкая культура сами собой ввели в стране немецкий язык.»

Он же о поляках: «Ими приходится пользоваться лишь как средством и лишь до тех пор, пока сама Россия не переживет аграрной революции. С этого момента Польша теряет всякое право на существование».

«Никогда поляки не делали в истории ничего иного, кроме как играли в храбрую и задорную глупость.» «...Нельзя найти ни одного момента, когда бы Польша, хотя бы против России, с успехом явилась представительницей прогресса или вообще сделала бы что-либо, имеющее историческое значение.»

А ВОТ К. МАРКС:

«Судьба западных славянских народов — дело уже конченное. Их завоевание совершилось в интересах цивилизации. Разве же это было «преступление» со стороны немцев и венгров, что они объединили в великой империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе... осталось бы им чуждым?!»

«И хотя нам по-человечески жаль чехов, но победят они или потерпят поражение, их национальная гибель во всяком случае неизбежна», — вместе с Энгельсом пишет Маркс в «Новой Рейнской газете».

Интересно, что бы эти жестокие люди сказали по поводу чукчей или нивхов? Сравните их марксистские взгляды с реальным отношением к малым народам Севера царских властей. Что стало с полабскими славянами в Германии? Как проводили полонизацию и католизацию на Западной Украине? А теперь назовите народ, который был бы уничтожен в Российской империи. Вот уж совсем не по-марксистски действовали русские императоры. Писал же ясно Карл Маркс: «Нет такой страны в Европе, которая не обладала бы в том или другом уголке обломками одной или нескольких народностей, представляющих остатки прежнего населения, затесненного и угнетенного тою народностью, которая стала потом носительницей исторического развития. Эти остатки племен, безжалостно растоптанных ходом истории, как выражался где-то Гегель, становятся и остаются вплоть до их полного угасания или денационализации фанатическими приверженцами контрреволюции, так как уже все их существование представляет вообще протест против великой исторической революции».

А нас после этого воинствующие русофобы укоряют, что мы, мол, извратили Маркса, и все наши трагедии связаны не с марксизмом, даже не с ленинизмом, а с дикостью русского народа. Соглашусь только с одним, все-таки по-русски извратили и не стерли с лица России маленькие народы, наоборот, больше по самим себе прошлись.

Существуют статьи К. Маркса по русскому вопросу двух периодов. Один — накануне и во время Крымской войны с марта 1853 по апрель 1856 года. Второй — опубликованные в лондонской газете с августа 1856 года по апрель 1857 года под общим названием «Разоблачения по истории тайной дипломатии XVIII века». А все статьи обоих периодов вышли в конце девятнадцатого века брошюрами. Как указывают западные издатели, эти статьи «...подверглись сокрытию и утайке, не будучи включены ни в одно из советских изданий трудов Маркса». Обширные выдержки из этих статей впервые переведены на русский язык и опубликованы в эмигрантском издательстве «Заря».

Статьи утаивались от русского читателя не случайно. Из суждений Маркса о России проглядывает враждебность не столько к монархии, сколько ко всему русскому. В доказательство реакционности России Маркс не раз ссылается на историческую «фальшивку» — «... завещание Петра I, чтобы показать, в чем состоит сущность традиционной политики России». Маркс советует политикам, занимающимся Россией: «...Следовало бы заглянуть еще дальше. Более восьмисот лет тому назад Святослав, тогдашний языческий великий князь, объявил на собрании своих бояр, что не только Болгария, но также и греческая империя в Европе, вместе с Богемией и Венгрией, должны подчиниться господству России». Маркс также пишет о «внутреннем варварстве самой России», о «традиционном лукавстве, обмане и увертках» русских политиков. В связи с этим лукавством и обманом Карл Маркс определяет: «Политика, проводимая (Иваном Калитой), была также политикой, которой придерживался Иван III. И эта же политика была также политикой Петра Великого и современной России, хотя изменились и название, и страна, и характер одураченной вражеской державы».

Словом, русские всю свою тысячелетнюю историю только обманывали и дурачили все народы. Но когда речь идет о «продвижении вперед» в завоевании территорий западными державами, тон статей Маркса сразу меняется. Все объясняется приобщением к западной культуре и цивилизации. Вспомним ссылки на неизбежность гибели чехов, поляков и южных славян. Маркс сожалеет, что Россия мешает западной культуре «...подобно солнцу, обойти весь мир», то есть попросту — завоевать весь мир. Из статьи в статью он повторяет вывод о изначальной агрессивности русских. О традиционной экспансионистской политике русского государства. Его даже не интересует, какие конкретные князья, цари, императоры правили Россией, при всех всегда одно и то же: «Похоже ли на то, чтобы гигантская разросшаяся держава приостановила свой рост, после того, как она преуспела уже столь далеко продвинуться по пути к мировой империи? Если не ее собственная воля,то обстоятельства препятствуют этому. В результате аннексии Турции и Греции она овладела бы прекрасными морскими портами, причем греки поставили бы искусных моряков ее флоту. Овладев Константинополем, она стояла бы у ворот к Средиземному морю... Охватывая австрийские владения с севера, востока и юга, Россия уже причислит Габсбургов к своим вассалам... И кончится это тем, что естественной будет казаться граница России, проходящая от Данцига или, может, от Штеттина до Триеста». Как говорится, пугать мир, так пугать.

Маркс упрекает Англию, Францию и Австрию в нерешительности в борьбе с Россией, «...которая сама является полуазиатской по своему устройству, по нравам, традициям». Он откровенно выражает свою боязнь этнического родства русских с балканскими славянами. Мол, это способствует российскому мировому господству. То-то они с Энгельском уверяют в скорейшей гибели малых славянских народов. Маркс говорит о русском государе, как о главе Церкви: «Южным славянам, в частности, они изображали этого государя в качестве всемогущего царя, который рано или поздно должен будет объединить все ветви славянской расы под одним скипетром и поведет их к тому, что они станут господствующей расой Европы».

По какой простой, примитивной схеме разворачивает свою фантазию основатель марксизма. Даже если бы и попробовала Россия завоевать Турцию или Грецию, почему же сразу все греческие моряки будут верно служить царю? Нисколько не учитываются национальные интересы каждого народа. Впрочем, наций по марксизму не будет, они по такой же схеме сольются в единое человечество, марксистско-интернациональное. Маркс отрицает у русских даже национальное мышле-

ние. Сначала — мы под нордическим влиянием, потом — монгольские рабы. Завоевываем мир, но при этом все наше могущество — миф: «Россия — это единственное в своем роде явление в истории: страшное могущество этой огромной империи, даже после того, как оно проявилось в мировом масштабе, никогда не переставали считать чем-то относящимсяскорее к области воображения, чем к области фактов».

По Марксу, революция «разобьет вдребезги русский колосс». Любопытно, не царский режим разобьет, не империю, а всю нашу «полуазиатскую» страну, именуемую Россией. Недаром он одновременно говорит о «деспотическом правительстве» и русской «варварской расе». Ему нужна революция именно на погибель России. Сильная Россия Марксу откровенно враждебна: «В России, у этого деспотического правительства, у этой варварской расы имеется налицо такая энергия и активность, которых тщетно было бы искать у монархий более старых государств». Вот откуда явились к нам оценки советских историков личности императора Николая I: «Восхваление умственных способностей туполобого царственного остолопа следует поэтому значительно умерить, если не отказаться вообще от него», — считал первый марксист.

Не отсюда ли пошел весь исторический антирусский лексикон большевистской пропаганды. С другой стороны, поразительно укладываются все современные русофобские явления, детально разобранные А. Солженицыным в статье «Наши плюралисты» и И. Шафаревичем в работе «Русофобия», в этот цикл марксовских статей. Ничтожество России... и одновременно ее претензии на мировое господство; глиняный колосс... и военное могущество; варварская раса... и изощренный хитрый ум; вторичность во всем... и центр славянского мира; всеобщее монгольское рабство... и превосходство над Англией и Францией... Как умудряется Маркс соединить одновременно заверения в «дутой славе» русской армии и «мнимых» достоинствах русского солдата с «опасностью военного могущества» России, с победоносным ходом ее развития? Или мы слабы, и нас нечего бояться, или мы способны завоевать весь мир, значит, мы — не слабы?! Маркса раздражает даже «зловещий фарс» могущества России, даже «призрак могущества», даже «химера», созданная трусливыми европейскими народами. Его устраивает лишь «кровавая трясина монгольского рабства»: «Россия норманнов полностью сошла со сцены, и едва заметные следы этого периода стушевались перед наводящим ужас появлением Чингис-хана. Не в суровом героизме норманнской эпохи, а в кровавой трясине монгольского рабства зародилась Московия, и современная Россия является не чем иным, как преобразованой Московией...»

Если бы не знал, что читаю Карла Маркса, решил бы, что передо мной книги А. Янова или А. Синявского. Впрочем, оба они на Западе пользуются славой неомарксистов, удивляться нечему (среди них Леонид Плющ, для которого и сегодня герой Отечественной войны 1812 года — всего лишь «реакционер Кутузов»).

Все эмигрантские последователи неомарксизма, защищающие марксизм с пеной у рта во всех диссидентских изданиях «третьей волны», в своем подходе к России и русскому народу — вышли из статей о России своего учителя и идеолога. Ни в ортодоксальных еврейских изданиях в Израиле, ни в антикоммунистических изданиях первой и второй волны эмиграции, ни даже в консервативных изданиях Шпрингера — такого пренебрежения к России не встретишь. Вот уж верно — марксистский подход.

«Система политических методов Ивана Калиты... макиавеллизм раба, желающего незаконно захватить власть...

Из рук Ивана III Московия вышла еще более униженной...

Короче говоря: монгольское рабство было той ужасной и гнусной школой, в которой сложилась и возвысилась Москва. Она добивалась своего могущества лишь благодаря тому, что достигла виртуозности в искусстве раболепствовать. Даже после своего освобождения от монгольского ига, Москва, даже под личиной хозяина, господина, продолжала играть свою традиционную роль раба. И в конце концов Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордым честолюбием монгольского повелителя...»

Позвольте, а где же Россия? Петр Великий, что — монгол?! Плох он или хорош, но он все же не монгольский повелитель, а российский император. Вся история России преподносится в самом отвратительном виде. Сплошная низость, трусость, обман, мнимость, и к тому же во всем этом — ничего русского. И трусость, и коварство, и рабство — все не русское, то византийское, то монгольское, то нордическое...

Может быть поэтому, начитавшись в спецхранах секретных переводов этих статей Карла Маркса, все эти семьдесят лет наши начальники из нас и истребляли по Марксу все русское. Что бы мы ни делали: строили Петербург, защищали болгар от турок, строили флот, создавали промышленность — во всем Маркс видит лишь вероломство, экспансию, монгольское коварство. Даже Петербург основан лишь для того, чтобы новая столица со временем оказалась в центре возросшей империи. Марксу не указ ни Копенгаген, ни Лондон — тоже ведь не в центре стран столицы: «Основание Петербурга, как государственного центра, удаленного от географического центра Империи, указывало на то, что имеется в виду новая периферия, наметить которую еще только надлежало в будущем».

Спорить бесполезно, доказательств никаких. Впрочем, все его суждения о России и славянах — бездоказательны и построены на зростной злобе к России и русскому народу. Маркс считает необходимым наводнить Россию западными миссионерами: «...их дрессировочные методы должны были дать русским возможность обзавестись тем лоском цивилизации, благодаря которому они становятся способными к восприятию технических достижений западных народов, но который не пропитывает их западными идеями».

Вы слышите, российские марксисты, как вас «уел» из глубины прошлого ваш великий учитель?! Как вас ни дрессировали, а все же — не способны вы, по мнению Маркса, пропитаться западным учением. Потому как — варварская раса способна лишь к лоску цивилизации. Правда, при этом держать-то вас всех надо на цепи, в клетке, не зря же Маркс предупреждает: «Русский медведь наверняка будет на все способен, пока ему известно, что другие звери, с которыми он общается, ни на что не способны».

Мы должны быть благодарны издательству «Заря», опубликовавшему с комментариями обширные выдержки из этих статей Карла Маркса.

Еще одна пелена спадает с глаз очень многих русских людей на самых разных уровнях. Даже секретарю ЦК КПСС не понравится причисление себя к «варварской расе», не способной даже к дрессировке...

Еще шаг к оздоровлению, к пониманию общего русского дела Возрождения. К пониманию того, что как бы нам ни улыбались, взваливать наши беды на собственные плечи никто не будет. И даже помогать без выгоды для себя — никто не будет. А выгоду и сегодня многие видят по-марксовски: уничтожить русского колосса, обезопасить себя от будущего мощного (в случае оздоровления) экономического конкурента. Я уже не касаюсь военного и национального соперничества. Дай Бог, чтобы на этот раз поверили нам, а не последователям Маркса, и перестали нас бояться, не во внешней экспансии — наши национальные цели. А за нынешнюю небоязнь, может быть, и экономические льготы предоставят, но не более. Остальное — в наших руках. Это только Восточной Германии «повезло» в силу ее особого положения. Все остальные страны Восточной Европы будут учиться жить сами. Мы — вместе с ними. Нам необходимы чрезвычайные усилия, чтобы сохранить за собой место в мировом сообществе, достойное России, достойное каждого из ее жителей. Все мы должны думать и о том, как будут жить наши дети.

России хватит бунтов и революций, пора выходить на другую, созидательную дорогу развития. Подвести фундамент под дырявую, но крышу, а не начинать с разбора крыши, к чему рвутся новые нетерпеливые правдоискатели. Давать народу с каждым новым законом, с каждым новым съездом депутатов уверенность в своем труде.

Когда говорят, что сегодня землю никто не возьмет, не думают о том, что крестьянину и условия создать надо, и уверенность... Хотя бы продублировать столыпинскую реформу, создать крестьянский банк, освободить на первые годы от налогов. Это и есть государственное регулирование рынка. Поддерживать те отрасли хозяйства, которые прежде всего нужны государству. Сегодня люди самых разных политических, социальных взглядов, самых разных национальностей, любящие Россию и верящие в нее, чувствующие себя РОССИЯНАМИ, люди свободные, и в свободе — талантливые, должны объединиться в патриотическую силу, несущую в себе народную правду. Ту, вечно искомую третью правду — не белых и не красных, не аппаратчиков и не нигилистов — правду народного построения. Нам нужна великая свободная Россия без всяких политических прилагательных.

ЛИТЕРАТУРА

СТИХИ. ПОВЕСТЬ. РАССКАЗ.

Впервые за много лет был так безжалостен Шонин к своему мотоциклу. Правда, и дорога располагала к скорости. Дождей давно не было, и грязь утрамбовалась в мягкий асфальт, который ощутимо пружинил под колесами.

По деревянному мосту Шонин проскочил на другой берег реки и теперь гнал свою трехколесную машину вдоль берега в деревню Морошинскую к своему коллеге, участковому Лазееву, от которого и надеялся получить исчерпывающую информацию, поскольку Лазеев непременно присутствовал при осмотре места происшествия и при первых допросах в экспедиции. Линию поведения Шонин продумал: обычное любопытство соседа и, соответственно, сочувствие. В общем-то, он не слишком опасался Лазеева. Смурноват он для инициативы. По части там самогона или мужа с женой разнять — в этом он опытный мужик. Но до расследования — рылом не вышел. Еще больше мужик, чем сам Шонин. По уши увяз в хозяйстве, и понятно, на одну участковую зарплату не проживешь. Самый последний работник в зверопромхозе получает больше. А семья у Лазеева — целое отделение, полвзвода.

Шонин застал его дома и не без труда уговорил проветриться до экспедиции. Лазеев кряхтел, чесался, охал, но согласился наконец, а усевшись в мотоциклетную коляску, даже оживился и прикрикнул: «Тогда давай с ветерком».

Шонин с удовольствием организовал ему «ветерок», тем более что время уже было к четырем, а ему еще многое нужно было сделать в этот, как он понимал, решающий и ответственный день. На поворотах коляску приподнимало, и Лазеев со знанием дела, как заправский гонщик, наваливался в нужную сторону, обеспечивая равновесие мотоцикла, и оба они, без малого пенсионеры, вдруг так увлеклись этой неожиданной лихой ездой, что на какое-то время напрочь забыли о деле и лишь азартно орали друг другу: «Хорошо! Давай! Ну, как оно!» И в тайге влетели в расположение морошинской экспедиции на добрых полчаса раньше, чем должно быть согласно расстоянию. Соскочив с мотоцикла, еще некоторое время хлопали друг друга по плечам и хохотали, и пинали колеса, и ощупывали у себя те места, которые изрядно пострадали от гонки по ухабистой проселочной дороге.

Однако Шонин скоро пришел в себя и заторопил коллегу.

— Ну, давай, по порядку! Показывай и рассказывай!

Лазеев весь тут же деловито сморщился, защурился во все стороны, закашлял.

— Ну, что! Вот, значит, вагончик начальства, сам видишь, в стороне. Со стороны леса подойти удобно и смыться удобно. А баня вона где. Триста шагов будет, не меньше. Все, значит, в баню. У баньки два ящика пива в тот день поставили по разрешению начальства. В общем, парились, в речку ныряли, пивцо заглатывали, а в это время, стало быть, те замочек на вагончике легонько сколупнули, винтовки на плечо, деньжата и консервы в рюкзачки — и ходу на тракт. Вот и вся история.

— Ишь ты, — подмигнул Шонин, — те, они про баньку с пивцом, получается, заранее знали. А?

— Ну, ясно, знали, — согласился Лазеев. — Чего ли тут не знать, когда шофер экспедиторский по всем деревням летал за пивом да трепался, что, десиать, план выполнили, банька будет, а после выходной и прочее такое! Все деревни вокруг знали.

— А где они на тракт вышли, можешь показать? — как будто из простого любопытства спросил Шонин.

— Чего не показать, поехали! Я ли сам за собачкой районной не бежал вместе со всеми. Включай кобылу! Отсюда, значит, они вышли, на опушку, потом там леском напрямую!

— Местность хорошо знали! Не просто на тракт выйти! — вставил Шонин.

— Получается, что знали.

По тракторной колее они выбрались на тракт, ехали по нему еще добрых пару километров, и Лазеев, наконец, закричал:

— Тормози! Приехали! Вот тут, они, голубчики, из лесу и вынырнули на дорогу.

— «Они», говоришь? — умело изобразив равнодушие, спросил Шонин. — А что, уже доказано, что их двое было?

— А как же? — солидно ответил Лазеев. — Два разных следа у вагончика нашли. И вообще, сам понимаешь, одному такое дело не с руки. Один лезет в вагончик, другой на атасе, дело-то днем было, перед самым вечером! Одному рискованно!

— Так! — протянул Шонин. — Значит, вышли на тракт, поймали попутку и ходу в город! Ищи их теперь!

Но Лазеев при этих словах засиял.

— А вот и не так! Это они, из района, так подумали! А я им кое-что подсказал!

Лазеев подмигнул, поманил Шонина рукой и торопливо засеменил на левую обочину дороги, перепрыгнул через неглубокий кювет. В пяти метрах от тракта по укатанным камешкам почти бесшумно бежал не ручей даже,

Продолжение. Начало в № 1/1991

ручеек. И Лазеев начал вдруг скакать по тем камешкам в ручейке, которые были под водой. Это было смешно. Шонин шел рядом и похохатывал, но замолчал, когда Лазеев весь как бы спружинился и молодцевато скокнул из ручья в сторону и оказался на тропе, не очень заметной, но достаточно четкой, чтобы не терять ее во мху и траве.

— Понимаешь, как было! — сиял гордостью Лазеев. — Собака покружилась на тракте туда-сюда, и все решили, что следу конец, посадили ее на машину и... фьюить! А я заметил... — Лазеев снова хитро подмигнул. — Что кружится собака все ближе к кювету, только сообразил не сразу. А после вспомнил про эту тропу, по ней же бичи в сезон с тайги в город убегают за водкой. С грузом по ней не пойдешь, больно там места кружные есть. Лошадь тоже не идет, а сбегать за парой бутылок запросто удобно!

Второй раз за день закачалась под Шониным земля. Эта тропа вела на морошинскую территорию. И если действительно, все было так, как изобразил Лазеев, то есть воры вышли на тракт для отвода глаз, затем прошли по ручью, сбросив след, выскочили на тропу, если все это так, то во всем этом деле Шонину делать нечего. Здесь не его тайга, не его бичи, и вообще надо мотать домой на печку.

— Ну, как? — жаждал похвалы Лазеев.

— Хитер! — не очень искренне похвалил его Шонин. — И что начальство решило?

Тут Лазеев скорчил гримасу профессиональной обиды.

— Шибко умные они! Они, вишь, запретили мне идти по бичам. Сказали, чтобы нос в тайгу не совал. Боятся, что я, дескать, спугну воров. И! А для себя чего они решили, мне про то не сказали. Я человек для них шибко маленький.

— Грамотные! — посочувствовал ему Шонин. — Все по-научному хотят!

— Еще бы, — встрепенулся морошинский уполномоченный, — в вагончике мешок бумаг всяких забрали, отпечатки пальцев искать будут! Деньги-то в ящике лежали. Да вот, кстати! Представляешь, на гвозде куртка начальника висела, а у него в кармане пистолет! Не взяли! Не сунулись в карман, значит. Повезло начальнику!

— Значит, получается, они знали, где деньги лежат, — пробормотал Шонин.

Это тоже было против его версии. По его версии, деньги прихватили случайно, а если случайно, то лежать они должны были где-то на видном месте. Когда лезут определенно за одним, просто искать не будут, и без того риск — средь бела дня ведь.

Все оборачивалось для Шонина пустой суетой. Он не шибко-то уважал Лазеева, но вот Лазеев как раз и сделал толковый ход, и проявился, и, значит, отмечен будет. И, что говорить, по заслугам.

Совсем грустно стало Шонину, и он с каким-то обидным отчаянием повернулся в ту сторону от тракта, где за рекой начинались его таежные владения. Река была совсем где-то рядом... И тут Шонин затаил дыхание. Река-то рядом! А за рекой тайга, а в тайге его собственные подопечные бичи! А почему не могло быть и так: те вышли на тракт, по ручью дотопали до лазеевской тропы, но не пошли по ней... Конечно же, не пошли! Тропа всем известна! Не пошли, а снова перебежали тракт, вышли к реке, сели в лодочку, что заранее припасли, спустились вниз и там... А там так могло быть: один с винтовками пошел в тайгу, другой на лодочке спустился до деревни...

— Ну, ты чего стоишь как столб! — теребил его за рукав все еще сияющий Лазеев. — Поехали домой!

— Знаешь чего, — хлопнул его по плечу Шонин, — ты побудь здесь малость, я до речки спущусь!

И, более ничего не объясняя, он заспешил через тракт, врезался в березняк, а далее почти бегом выскочил к реке. Сначала заметался туда-сюда, но взял себя в руки и спокойно, не торопясь, двинулся вниз по течению, обстоятельно обследуя каждый сантиметр берега, особенно в песчаных местах, то есть в таких местах, где удобно пристать лодке. Не прошел и полста метров, как увидел то, что искал. На небольшом песчаном наносе явные следы... Только не один след, а два, так, как будто в этом месте бортом к борту стояли, врывшись в песок, две лодки. Расстояние между следами было в один небольшой шаг, и это Шонина озадачило. Ни у кого в его деревне, да и вообще нигде, не видел он таких узких лодок, не лодки, а пироги какие-то. Чудеса! Да и след от них странный, плоский, как от бревна... И тут его осенило. Не было лодок, был плот! Причем плот, сколоченный наспех, из разных бревен. Значит, притащили его сюда на лодке заранее, и стоял он тут, может быть, несколько дней в ожидании экспедиционного банного дня. А в банный день на нем опустились вниз, высадились на другом берегу, и плотик (дело-то уже к ночи было) отпустили с Богом, и уплыло это древесное вещественное доказательство куда-нибудь к самому городу, и катаются сейчас на нем отчаянные краснокожие пацаны.

Уже не было у Шонина никаких сомнений на счет всего этого дела, но все же обползал он весь участок от стоянки плота до тракта и нашел два следа от каблука, и кусты погнутые, и траву примятую. Но, при всем том, было странное ощущение неправдоподобия всего, казалось, будто было сначала его сильное желание, чтобы дело обернулось именно таким образом, а оно, это дело, ему в угоду и оборачивалось по его желанию. И прежде чем вернуться на тракт к морошинскому участковому, Шонин еще долго рассматривал следы стоянки воровского плота, и лишь когда сам себе сказал вслух, что никакого сомнения быть не может, что вышел он на прямую, что ему действительно повезло, лишь тогда, довольно кашлянув, твердым шагом направился к тракту.

— Ты чего там? — сердито спросил Лазеев.

— Да так, — отмахнулся Шонин, — берег посмотрел на всякий случай. Был слушок, что в этих местах неводишками балуются.

— Какой дурак станет здесь невода ставить! — пробурчал Лазеев и был, конечно, прав. В этих местах никто ставить сети не будет, ничего, кроме коряг, не поймаешь.

Шонин же ничуть не беспокоился относительно Лазеева, он сейчас одержим находкой следов на тропе и ни о чем другом думать не станет. И, значит, у Шонина руки развязаны, и никто ему помешать не может.

Высадив Лазеева у калитки его дома, от ужина отказался и поспешил к себе. Сегодня ему оставалось, по его постоянно обновляющемуся плану, сделать еще самую малость, а солнце уже заваливалось за горизонт, к тому же лечь сегодня надо было рано, чтобы завтра начать день, когда день еще не начнется.

Не заезжая домой, Шонин подкатил к дому егеря. Егерская жена загоняла корову. Не слезая с мотоцикла, он крикнул ей:

— Поди-ка спроси муженька своего, не даст ли он мне на завтра коня!

Та молча с внешней стороны закрыла калитку, подошла к мотоциклу.

— Опоздал ты. Матвей сразу после тебя в тайгу ускакал!

— В тайгу? — удивился Шонин, и зло поморщился. Ну, обязательно должно произойти что-нибудь, что поперек его плана. Вот теперь ломай голову, зачем это егерь срочно помчался в тайгу. Егерь должен быть ни при чем! Егерь должен был сидеть дома, в худшем случае в запой впасть, а он вдруг ускакал в тайгу сразу после разговора с ним. И коня нет!

— Чего ему приспичило? — спросил он, не надеясь на ответ.

Жена егеря всплакнула, вытерлась платком.

— Посадишь ты его, Василич, да? Скажи уж!

— Сам сядет, без меня! — грубо ответил Шонин, с досады раскручивая рукоятку газа. Мотоцикл взревел, но егерская жена встала у колеса.

— Уйти мне от него, что ли? Позору-то будет! Господи!

— Ишь ты! — разозлился Шонин. — Когда он тебе мясо да шкурки таскал, да деньжатами нечистыми ладошки смазывал, тогда ты от него не уходила! А теперь, вишь ли, позору испугалась.

— Да говорила я ему! — запричитала она.

— Плохо говорила! Да и врешь! Ничего не говорила! Все магазины в городе обегала, барахлом дом набила! Врешь, нравилось тебе довольствие! Попробуй только уйди от Матвея, я тебя, стерву, саму за спекуляцию браконьерским мясом посажу, еще больше его получишь!

До смерти перепуганная жена егеря замахала руками, отступая к калитке.

— Что ты, что ты, Василич! Я это так сказала! Куда же я от него! Иль не жена...

— То-то! — пригрозил ей Шонин, и мотоцикл рванул с обочины.

В минуту подлетел участковый к калитке своего дома, мотоцикл не выключил, заскочил в дом.

— Слышь, жена, Витька, Ситникова парнишка, приносил удочку, что я ему на озере оставил?

Антонида только успела плечами пожать, как он уже выскочил из дома, уселся на своего служебного коня и помчался вдоль по улице к дому главного зоотехника Ситникова. С его тринадцатилетним сыном Шонина связывала рыбацкая дружба, и не только это. У мальчишки было на редкость серьезное отношение к рыбацкому делу. Наверное, отец внушил ему отвращение и ненависть к браконьерству. Обычно Витька приводил Шонина к месту, где высмотрел браконьеров, и по их взаимному молчаливому уговору они тут же уничтожали сети, делая вид, что нет им дела до людей, оставивших их. Витька никогда никого не называл, хотя, конечно, знал и мог назвать браконьера, но как бы признавал вместе со всей деревней право ее жителей нарушать закон, а за законом признавал право бороться с нарушениями его. Шонина чрезвычайно устраивало такое отношение мальчишки к браконьерству, потому что в сущности он и сам испытывал нечто подобное к законам, которые на бумаге и которые сотворены жизнью деревни, и не было у него никакого интереса хватать деревенских людишек за десять хариусов, штрафовать, позорить, в итоге накапливать врагов, ведь он не рыбохрана и не егерь. Шонин предпочитал пакостить браконьерам, усложнять им жизнь и тем самым как бы разумно регулировать браконьерство, сохраняя его в приемлемых размерах, не допуская хищничества и жадного безобразия.

Витька Ситников сам выскочил из дома, видимо, из окна увидев подъезжающего участкового.

— Дядя Василь, я только хотел к тебе бежать, да мамка жрать усадила! Ты смотри, каких я на том месте натаскал.

И он выволок из калитки ведро с уловом. Шонин подошел, запустил руку, по ладоням скользнули окуни, каждый не менее чем граммов на двести, а то и больше.

— Ишь ты! — залюбовался он. — Откуда это они взялись? Раньше вроде таких не водилось!

— Папка говорит, это потому, что зимой лунки делали. Рыба не задохнулась, как прежде. Папка говорит, взрослая рыба подо льдом задыхается и потому в ведре всегда молодь.

— А чего, — согласился Шонин, — может, так и есть! Этой зимой прорубей понаделаем, подкормку дадим. У нас килограммами ловиться будут.

Тут Шонин сделал Витьке знак, каким всегда они обменивались, когда предстояло серьезное дело. Мальчишка сразу засверкал глазами, подошел вплотную.

— Понимаешь, какая штука, помощь мне твоя нужна! Витька понимающе кивнул.

— Надо сделать так, чтобы Путеев, ну, завхоз фермы, завтра никуда из деревни не ушел, главное, чтобы к реке не подался!

— А как? — зашептал Витька. Он решил, что Шонин выследил Путеева с переметами и хочет эти снасти порвать, и чтоб Путеев этого не увидел.

— Завхоз — рыбак заядлый! Ты побегай по деревне, поищи его. Если найдешь, как-нибудь так, между прочим, ему про этих окуней расскажи. Авось жадность сработает!

— Да я его сам завтра туда и свожу!

Шонин задумался.

— Нет, пожалуй, не стоит. Путеев захочет один пойти, он же по-человечески не умеет, обязательно хапать начнет, переметами или как, по-другому, а ты мешать ему будешь. А мне завтра важнее, чтобы он на реку не ушел. Пусть окуней нахапает, всех не выловит.

Мальчишке не очень понравился такой компромиссный вариант, но доверие к участковому победило, и он согласился.

— Так я побегу, а то поздно уже! Пьет он уже поди.

И тут Витька был прав. Едва ли Путеев еще трезв.

— А удочка?

— Оставь у себя!

— Рыбу-то возьмите! Пополам, ага?

— Не до рыбы мне! — отмахнулся Шонин. — Ну, я на тебя надеюсь!

Надежда, конечно, была не только на Витьку. Надежда была на то, что Путеев сам никуда не двинется из деревни в ближайшее время. В этом была надежда. Но в этом была и главная тревога. Винтовки до сезона не нужны. Воры затаились до зимы. Запрятано краденое надежно. В тайге так можно спрятать, и не найдешь. За что же цепляться? Ждать никак нельзя. Можно, конечно, рискнуть и надавить на Путеева. Слабак он, может и расколоться. Но нужны улики. К примеру, плот. Как Путеев доставил его до места, у кого брал лодку? Это все можно установить быстро. Но прежде — бичи! Завтра в тайгу! Жаль, придется пешком идти. Да что поделаешь. Бичи сейчас наверняка все на подбазе. Тот, кто участвовал в краже, обязательно на подбазе. Ведь они всего лишь бродяги, а не воры, на кражу пошли по необходимости, а скорее всего кто-нибудь один из них, и ему сейчас ой как неуютно. Всего их там пять человек. Двое живут на подбазе зверопромхоза, заготавливают дрова, остальные (но лишь когда начинается сезон, когда ягода пойдет, грибы, орехи) — в своих зимовьях. Сейчас все на заготовке дров. Деляна ближе всего к подбазе. Значит, скорее всего они все там. От работы не пухнут. Сидят, шатаются по тайге. На план они чихали. В сезон наверстают. В октябре вылетят в город, прокутят все деньги и в оборванном виде заявятся в тайгу к началу охотничьего сезона. Вот тогда и пойдут в ход украденные винтовки.

Если Путеев причастен к краже, а Шонин в том не сомневался, то он не позже октября уволится с фермы и уйдет в тайгу. Только тогда можно будет поймать их с поличным, если ничего не предпринять раньше.

Но может быть еще и худший исход. У кого-то на руках сейчас десять тысяч. С такими деньгами можно смотаться куда-нибудь на юг и вообще завязать с тайгой. Делом займется всесоюзный розыск, и Шонин в таком случае останется с носом и пенсией.

Надо думать! Надо думать! — долбил себе Шонин, когда заводил мотоцикл в гараж, когда умывался, когда ужинал, когда разговаривал с женой о домашних делах, когда готовил снаряжение для завтрашнего похода в тайгу. С любовью рассматривал свой арсенал: ижевка-двустволка, безотказная штука на птицу и крупного зверя, затворная одностволка двадцать четвертого калибра, которой участковый не пользовался, но держал в готовности и чистоте, и вот эта, почти игрушечная пятизарядная мелкокалиберка — не совсем законный трофей, такая на вид несерьезная и в то же время бесценнейшая вещь для таежного промысла. Шонин взял ее в руки, покрутил, вскинул на одной руке, прицелился в стену,

опустил, и так, не выпуская из рук, долго еще сидел и думал о завтрашнем дне и о деле, которое привалило ему под конец, под самый конец трудовой жизни.

Александр Путеев был убежден (и для такого убеждения у него имелись основания), что он самый злой человек на свете. Злой не в смысле зла, что стоит против добра, а злой от злости, что чаще всего тихо кипела в его душе, шипела в его крови, пузырилась в желудке, хотя очень редко выплывала на язык. Зол Путеев был на самого себя и на свою судьбу, и уж само собой на людей, на всех людей без разбору, на хороших за то, что они лучше его, на плохих за то, что они такие же, как он, или еще хуже, на добрых и на жадных, на честных и подлых, и на тех, о ком вообще ничего не знал. Всем людям на свете Путеев хотел зла. Но скорее всего оттого он так упорно хотел всем зла, что знал, что от его хотения зла никому не прибавится. И сам делать людям зло он тоже не хотел, он хотел, чтобы оно было откуда-нибудь не от него, потому что такой он уж неудачный человек, что даже зла мало-мальского сотворить не может. И потому никто в деревне не считал Путеева злым человеком. Его считали непутевым и звали непутевым. И в этом тоже была истина, которая злила его до слез. Слез, правда, у него тоже не видели, разве в подпитии только.

Жизнь кувырком пошла у него с армии.В армию пошел охотно, но нарвался на сержанта, командира отделения — хохла, который отчего-то невзлюбил его и измывался, как мог. Сколько Путеев перечистил картошки, перемыл полов, перестоял на карауле — хватило бы на целый взвод. Но взбунтовалось вполне кроткое сердце Путеева и отмочалил он сержанта с недеревенской яростью, поломал ему что-то, что-то вывихнул и что-то разбил.

Когда судили, учли сержантовское пристрастие, благо солдаты хорошо показали, дали немного, но жизнь-то поломалась. Потом сколько лет хвостом плелась за ним судимость и подставляла подножку. Более-менее оперился он только здесь, в зверопромхозе, где был сначала рабочим, а потом поднялся до завхоза, должности немыслимого значения. Но какое досталось ему хозяйство! Так ведь крутился, как мог, хитрил, лукавил, химичил — привел-таки в божеский вид, а чем кончилось? Набили морду шоферá экспедиции. Сунул он им бракованные песцовые шкурки, но не в свою корысть (хотя, конечно, в скромном виде она имела место, на зарплату завхоза не проживешь — тому подмажь, тому поставь, тому подкинь), а на пользу дела — корма привезти, дровишек подкинуть, запчасти, то да се, но факт — шкурки были бракованные, и трое здоровенных парней молотили его полчаса, не меньше, и били, гады, без злобы, и это всего обидней, били — поучали. Потом умыли, перевязали, напоили и домой отвезли.

Хотел он им в мотор сахару накидать, резину порезать, вагончики поджечь — но ничего не сделал. Нужны были ему шофера для его проклятого хозяйства, от которого не знал как теперь избавиться.

Мечтал — уйти в тайгу. Но как таежный охотник кому он нужен? А бичевать — нужны стволы, капканы, ловушки, нужен денежный запас, потому что первый сезон обязательно комом, сплошной пролет, дай Бог, чтобы на третий сезон доход пошел.

Два года зарился Путеев на экспедиционные винтовки. Его дружок, охотник промхоза Костя Будко, однажды выклянчил у начальника винтовку на посмотр, и они в ближнем от экспедиции лесочке расстреляли пачку патронов по сучкам и синицам. Костя, хотя и был охотник, но мелкокалиберки не имел, потому что тоже был нештатным, числился в зверопромхозе рабочим, в несезонное время служил на подхвате, в сезон же уходил в тайгу, оформляясь в отпуск за свой счет. Он, конечно, давно мог быть и штатным, да все знали, что гонит он весь свой мех налево, копит на машину, в промхоз же сдает всякую дрянь для отвода глаз. Участковый Шонин охотился за ним уже около двух лет, да впустую пока. По обычной своей злобе Путеев всегда хотел, чтобы его дружок попался, он и сам мог бы запросто приложить дружка, одно словцо только шепнуть участковому или письмо послать — знал он хитрую костину механику. Но сделать этого не мог. По его мнению, Костя должен был попасться сам. И участкового Путеев ненавидел за то, что тот не может раскусить его дружка, и участковому от всей души хотел какого-нибудь зла, которого тот заслужил, поскольку всякий человек, по его мнению, так или иначе заслуживает зла, только не каждый по заслугам получает.

С другой стороны, и не хотел он, чтобы его дружок завалился, потому что верил, что когда-нибудь все-таки уйдет в тайгу, и тогда кто кроме Кости будет помогать ему освоиться?

Заветной мечтой Путеева было спереть мелкокалиберку в экспедиции, этой мечтой он даже поделился однажды с Костей, но тот ему резонно отсоветовал. Поэтому пока мечты о тайге оставались мечтами. Путеев промышлял рыбалкой, сбывал рыбку в ту же экспедицию или в район, немного мухлевал на ферме, выгадывая мизер, и злился, на себя, на судьбу и на людей.

С три короба наговорил ему вчера ситниковский пацан про каких-то небывалых окуней в луже за деревней. Поверить — не поверил, но под настроение пришлось. Решил плюнуть на дела, отваляться на траве, а будет улов — окунь рыбешка добрая. Собрал он все свои рыбачьи снасти: донки, переметы, закидушки; бутылку первача прихватил, закуски всякой, спальный мешок, что когда-то выменял в экспедиции — в общем, рюкзачок набился полненько.

Топал он сейчас к озеру, в самую рань, солнце еще и макушкой не высунулось, трава вдоль тропы как после дождя, даже кузнечного стрекота еще не слышно было.

Он уже почти подходил к месту рыбалки, проходя завал мохом заросших камней, за которыми должно было открыться озеро, как вдруг почувствовал легкий толчок, словно рюкзаком за сучок зацепился. Сучка быть не могло, деревья, что были вокруг, — сосны — на добрый десяток метров без веток. А толчок был. Путеев остановился и первым делом погрешил на вчерашнюю пьянку, но как опытный алкоголик он знал, что мираж можно принять за действительность, но действительность никогда с миражом не спутаешь. Машинально он отступил с тропы к ближайшей сосне и тут услышал звук, и одновременно с этим звуком как-то странно чухнула сосна. Он взглянул на сосну и увидел на стволе, примерно на уровне его лба свежую прищербинку. В каком-то полусумасшедшем изумлении он вдруг понял, что в него только что стреляли, и звук — это же хлопок мелкокалиберной винтовки. Ноги ниже колен словно разбухли от тяжести и заныли. Он уже сообразил, что стреляли из-за завала камней. Но так это было нелепо, неправдоподобно, что в него стреляли, что он продолжал стоять как вкопанный около раненой сосны и глотал слюну, пока снова не услышал звук и мягкий шлепок пули опять же в ствол сосны, но уже чуть ближе к его голове.

Тут темный ужас застил ему глаза, ноги стали легкими, как воробьиные крылышки, и Путеев, грохоча содержимым рюкзака, с воплем или стоном кинулся прочь от тропы, прочь от камней, прочь от озера куда-то, куда глаза глядят, но лишь бы прочь...

Шонин без труда преодолел два длинных подъема, не сбавил хода, ни разу не присел. Не очень представлял себе, о чем будет говорить с бичами, или вернее, о чем говорить-то — ясно, а вот как разговор построить, чтобы сказать ровно столько, сколько нужно. А от самого разговора с бичами Шонину нужно немного: привязать их к базе, повязать между собой, да на физиономии их посмотреть, может, такой посмотр чего новенького и подскажет. По шонинскому плану, вообще можно было обойтись без этого похода и разговора, но он должен убедиться, что бичи на месте, что никто не смылся.

Гораздо больше его беспокоило другое. Путеев его беспокоил. Нельзя было его оставлять без присмотра на целый день. Кто знает, что выкинуть может. И уж если быть совсем откровенным с самим собой, то чем-то не устраивал его Путеев в той роли, какую, как получается, играет он во всей этой истории. Хотя бы плот взять! Не по путеевскому уму такая хитрая петля следа. Конечно, возможно, что вся подготовка придумана путеевским подельником, кем-то из бичей. Тогда которым из них?

Шонин решил не гадать. Понадеялся, что разговор с бичами что-нибудь откроет ему или намекнет хотя бы.

Много неувязок еще было в деле, но свыше всяких неувязок была уверенность, что размотает он это дело в лучшем виде. Еще вчера утром на рыбалке было ему так тошно, только вчера утром, а кажется, что много дней прошло. Вчера, в седьмом часу утра, он подумал о том, что ни одного путного везения не выпало ему в жизни, а в середине дня он уже всем своим охотничьим чутьем чувствовал удачу. Он так был уверен в этой удаче, что выйди сейчас навстречу ему толпа людей и прокричи ему в сто глоток, что дело его пустое и ничего ему из этого дела не выловить, то кажется, выхватил бы пистолет и палил бы до последнего патрона...

На промхозовской подбазе было несколько строений. Кроме одного, где жили бичи, все летние. Домик бичей был крайним, и еще на подходе Шонин уловил запах дыма и еще какие-то человеческие запахи, а когда тропа вывела его на поляну перед подбазой, то на крыше сарая, где в сезон сушился орех, он увидел двоих загорающих бичей, почти голых и сплошь коричневых от бездельничьего загара. «Курортники — сукины дети!» — без особой злобы подумал Шонин. В отличие от многих людей своего ведомства он относился к таежным бичам вполне терпимо. Он рассуждал, что если в обществе появляются такие люди, которым бездомье и бродяжничество более всего по душе, то лучше, чем тайга, для них места не придумаешь. В городах они давно уже вошли бы в конфликт с законом и сколько людей заразили бы своей беспечностью, а здесь плохо ли, хорошо ли, что-то они делают, вредят не шибко, под ногами не путаются. А то, что произошло нынче, это дело редкое, такое дело может случиться с кем угодно...

Парни, увидев участкового, сперва удивились. Спрыгнув с крыши, весело подскочили к Шонину, но по мере того, как он демонстрировал всем видом и взглядом деловой характер своего визита, на загоревших и небритых их физиономиях стало проявляться беспокойство.

Из избушки вышел еще один обитатель подбазы, и теперь все трое молча смотрели на Шонина, который разазызвал рюкзак, вынимал оттуда свежий хлеб, вареное мясо, картошку, и все это в таком количестве, что не оставалось сомнений — участковый намерен угощать бичей домашней жратвой. Такое спроста не бывает. И бичи все более и более хмурились. Когда же с самого дна рюкзака Шонин достал большую пачку чая, парни запереглядывались и от их недавней веселости не осталось и следа.

— Ну-ка ты, косматый, — обратилсв Шонин к длинному цыганистому парню, что стоял ближе. — Давай, ставь кипяток! Будем обедать и разговаривать!

Шонин, конечно, догадывался, чего они хмурятся. Это они сейчас гадают, о какой их пакости таежной стало ему известно и чего он припас на десерт к разговору. Но один из троих должен беспокоиться по другой причине. Который из них?

Пока они с напускным равнодушием (дескать, жратвой нас не купишь и не удивишь) собирали на уличный стол (три доски на вкопанных чурках) все то, что можно было бы именовать посудой, пока подбрасывали дрова в костер, подвешивали над ним закопченный чайник, пока чистили позеленевшие вилки, и миски, и кружки, Шонин наблюдал за бичами в открытую и даже демонстрировал это наблюдение. Волосатый, цыганистый, Николай Мирошниченко по паспорту, был родом из-под Орла, бывший тракторист, участник самодеятельности, впоследствии судимый за тунеядство, то есть за бродяжничество, еще впоследствии порезанный ножом по пьяному делу, явился сюда в тайгу два года назад, был Шониным выловлен на одном из дальних зимовий, прикреплен по его мольбе к зверопромхозу и с тех пор числился рабочим. Официальный заработок его, как, впрочем, и всех остальных, согласно месячным ведомостям никогда не превышал восьмидесяти рублей, которые он, как и все прочие из этой компании, как правило пропивали в день получки, а жили всегда в аванс и еще кое на что, на чем рано или поздно попадались, каялись, били замусоленными картузами об пол, уходили прощенные в тайгу, и продолжали свой дикий образ жизни на удивление и презрение местных жителей.

Такая же биография и у второго, Павла Струкова, по рождению сибиряка, та же судимость за бродяжничество, та же попытка беспаспортно отсидеться в дальних таежных зимовьях, знакомство с Шониным и легализация в качестве рабочего зверопромхоза. В отличие от Мирошниченко, забияки и непоседы, Струков — лодырь. Себя он именует не иначе, как созерцателем, но для Шонина он — лодырь, этакий тип лежачего человека с большой загадкой для всех прочих на предмет смысла его появления на белом свете. Вялый, неуклюжий, неповоротливый, ни к чему не способный, Струков глаза имел явно от другого человека, шустрые, пристальные, светящиеся каким-то непонятным светом. Шонин не раз ловил себя на том, что не может в эти странные глаза смотреть без напряжения. Вообще же Струков был абсолютно безобидным.

Вот третий... Получалось, что уже с первых минут наблюдения, если не раньше того, Шонин сделал выбор! Третий — Виктор Копылов, самый старшнй из компании, ему уже около тридцати. Этот искатель фарта. Пытался пристроиться в зверопромхозе в надежде на шкурковый бизнес, но бизнес и вкалывание — вещи несовместимые. Ушел в тайгу, всю прошлую зиму лазил по соболиным местам, экспериментировал с ловушками и капканами собственного производства, что-то, несомненно, добыл, но не фарт. Надежды, однако, не терял. По мнению многих охотников, да и самого Шонина, способен был Копылов и на кражу из чужого капкана и вообще на всё способен, в том числе, и на то дело, какое теперь так занимало участкового.

Были здесь еще двое, муж и жена — два сапога пара. Чего они хотели, никто не знал. Обитали они в самых дальних зимовьях, с промхозом поддерживали очень корректные отношения, в том смысле, что план по всяческим заготовкам выполняли исправно, в особенности по брусничному листу, за что чрезвычайно ценились в промхозе, поскольку этим бесприбыльным делом решительно никто заниматься не хотел, и если промхозу удавалось ежегодно делать половину плана по этому самому брусничному листу, так это исключительно благодаря супругам Семенковым.

На базе их, понятное дело, не было, и Шонин не собирался посещать их.

Парни, между тем, оборудовали стол по всем законам таежной пирушки и в молчаливой готовности стояли уже вокруг стола в ковбойских позах, ожидая шонинской инициативы. Он, как полагается, сел первым, и тут же все остальные пристроились на чурки, трапеза началась.

— Конечно, — начал Шонин издалека, — по такой торжественной обстановке не мешало бы и градусами побаловаться, но шибко у нас с вами, хлопцы, будет серьезный разговор, так что обойдемся нынче чайком.

Парни двигали челюстями и косились на него недружелюбно и подозрительно. Когда же стол почти

опустел и парни начали поглядывать в сторону уже скипевшего чайника, Шонин, деловито кашлянув, отодвинул миску и оглядел всю компанию начальственным взглядом.

— Сами знаете, хлопцы, что вы есть в нашем обществе, которое строгость любит и порядок, вы есть элемент антиобщественный. Бичи, одним словом.

У парней заиграли мускулы, и Шонин продолжал с удовольствием:

— Пока тишь да гладь, мы на вас сквозь пальцы смотрели, а теперь вот, боюсь, как бы по-другому не пошло.

— Мешать мы кому-то стали, начальник? — с откровенной злобой прошипел Мирошниченко, по-блатному выставив подбородок и свесив с губы окурок.

Шонин даже не повернулся в его сторону.

— В прошлый четверг ограбили морошинскую экспедицию, а следы в тайгу ведут. Вот так.

У всех троих сразу изменилось выражение лица, и у всех троих оно было почти одинаковым. Удивление! Просто удивление у цыганистого Мирошниченко, удивление с явным признаком радости у Копылова и удивление с сомнением у Струкова. Этот и подал голос.

— Чего же там грабить-то?

— А то, — отвечал Шонин невозмутимо, — что вам, бичам, в тайге нужнее всего! Винтовки мелкокалиберные!

Похоже, бичи ожидали чего-то другого, большего, и после слов Шонина о винтовках явно расслабились. И так вот, по первому взгляду, можно было бы решить, что все трое они тут ни при чем, однако Шонин знал, уверен был, — один из них играет и играет хорошо. Конечно же, он более внимательно поглядывал на Копылова, и тот немедля принял вызов.

— И правильно сделали, что сперли! Ходили тут, выпендривались! А на фига им винтовки? Воробьев стрелять?

Копылов весело стукнул по плечу сидящего рядом Струкова.

— Лопухи мы с вами, кореша. Нам это дело надо было провернуть! Жили бы с мясом и с мехом!

Что-то не понравился Шонину копыловский тон. Перебирает парень. Шибко уверен, что ли?

— Погоди, — остановил Копылова Струков. К нему снова вернулась его обычная вялость и лень. Обычно он и разговаривал с этакой ленцой, будто ему трудно слова произносить, и он выбирает те, которые покороче.

— Следы, говоришь, в тайгу ведут, а тайга большая! Ты чего ж, начальник, прямо по этим следам к нам пришел? А может, тебя мох позвал?

«Ишь ты, — удивился Шонин, — колоде колодой, а соображает!»

— Следы, хлопцы, ведут в морошинскую тайгу. Если бы они сюда вели, я б нынче здесь не один был бы.

— Ну, вот, следы в морошку, а мы при чем! — подал голос и Мирошниченко.

Парни веселели на глазах, и это совсем не нравилось Шонину. Он начал нервничать, но голос держал в форме.

— Мало ли куда следы ведут, а спрос я должен снять с вас!

— Чего? — насмешливо хмыкнул Мирошниченко.

— Где вы все трое находились, то есть каждый, в день совершения преступления?

— На базе, где еще, — ответил за всех Копылов. — А когда, говоришь, это дело было?

— В прошлый четверг!

Копылов уже ладонь поднял, чтобы хлопнуть по столу в знак подтверждения, что в четверг-то как раз они и были на базе... Но рука вдруг его замерла в воздухе, на лице мелькнула растерянность, затем — быстрый взгляд на Мирошниченко, на Струкова... Последний, кстати, даже глазом не моргнул, а вот Мирошниченко...

Шонин почувствовал, как в нем закипает злоба. Опять что-то выбивалось из его плана. То парни ведут себя так, что комар носу не подточит, то... хоть под стражу бери, вон у «цыгана» морда какая кислая.

— Да на базе мы были, начальник!

Это сказал теперь Струков, почему-то взявшийся выручать друзей. Этот-то уверен в себе. Ему десять километров до экспедиции ради каких-то винтовок — только разве под расстрелом. А глаза шалые, умные, живые... Что даже смотреть противно! Будто привидение перед тобой.

— На базе мы были, — глухо подтвердил Копылов, и Шонину стало ясно, что больше он ничего не добьется от них. Он встал, бросил на стол пачку папирос, сделал вид, что разминает ноги, подошел к тлеющему костру, подкинул головешку, оглянулся на бичей. Они без энтузиазма раскуривали его папиросы и молчали. Даже не переглядывались.

Шонин присел на корточки около костра. Захотелось домой, к жене или... на рыбалку. «Что же это такое? — думал он. — Неужели в каждом деле бывают вот такие накладки сбоку?» И впервые, пожалуй, не пожалел он о своей жизни, то есть не пожалел, что не пошел по сыскному делу, что рванул в свое время с учебы, что окопался в своей деревне и не растрепал свои нервы и здоровье на загадки и кроссворды...

— Слышь, начальник, — это Мирошниченко, — а женатиков ты допрашивать не собираешься?

Спрошено это было с таким подчеркнутым безразличием, что Шонин мгновенно отряхнулся от нудных мыслей и снова — хвост пистолетом.

— Обязательно! — ответил он и из-под руки взглянул на парней. Семенковых он не собирался тревожить, но потому, как все трое в секунду обменялись взглядами, Шонин готов был тут же сорваться с места и метелить дюжину километров, чтобы взглянуть на эту странную парочку, что, как известно доподлинно, за сезон в прошлом году и с весны этого года еще ни разу не показывались ни в его деревне, ни в каком-либо другом месте. С другой стороны, что даст ему эта прогулка? Ну, придет он к Семенковым, спросит о чем нужно, в ответ услышит, что из лесу не выходили, ничего не знают. И ради этого мотать четвертак километров?! Нет, все равно, если клубок дела действительно в его руках, то разматываться он будет не здесь в тайге, а там, в деревне, и оттуда, из деревни, приведет по ниточке сюда, если вообще клубку этому сюда катиться. Но парней нужно повязать так, чтобы не только не смотались, но и стерегли друг друга, а то и доглядывали. Очень мало вероятно, что в деле они участвовали все трое, хотя в персоне Копылова Шонин начал сильно сомневаться, и скорее, готов был теперь косить глазом на «цыгана» Мирошниченко. Развалюха Струков вообще ни при чем, но знать о деле может и он.

И тут Шонин выдал свою козырную карту, которую, правда, только что придумал и обозвал козырной.

— Вот какое дело, парни, — начал он тихо и многозначительно, не поворачиваясь к ним, палочкой ковыряясь в угольках костра. — Вы думаете, что вы сбоку? Я тоже думаю, что вы ни при чем в этом деле. Только не все я вам сказал. Вместе с винтовками увели из экспедиции бумажку одну...

Тут он повернулся к ним, окинул каждого долгим взглядом, поднялся с корточек, подошел к столу, ногу на чурку поставил, и в такой чапаевской позе продолжал тихо и медленно:

— ... а бумажка та — карта геологическая, секретная, на ней место указано, где нашли наши геологи, то, что называется стратегическое сырье...

С удовольствием отметил про себя, что потемнели грустно глаза Мирошниченко и Копылова. А в струковские глаза, хоть плюй... — они все равно светиться будут.

— Дело, значит, хлопцы, не уголовщиной попахивает!

Это по уголовке всякие обстоятельства копают да обсасывают, а по такому делу не дай Бог даже штанами зацепиться, считай вся задница в капкане. Так что, мой вам совет: сидите на месте, из тайги не высовывайтесь, а ежели кто из вас хоть эхо слышал про то дело, пусть учтет, что за недоносительство по такому делу статья имеется страсть какая серьезная!

Шонин взял со стола портсигар, лихо щелкнул крышкой, сунул в карман, хозяином сел на чурку, приказал: «А теперь чай пить будем».

С места двинулся Струков. Не торопясь взял чайник, открыл, посмотрел, хорошо ли чай заварился, с чайником вернулся к столу. Наливая Шонину в кружку, сказал вяло:

— Все ты врешь, начальник!

И так же неторопливо продолжал наливать в другие кружки. Шонин не сразу нашелся, что сказать.

— Врешь ты все! — спокойно продолжал Струков. — От какой сырости в этих местах стратегическое сырье? Это этот, как его, уран, что ли? Ничего здесь такого нету, и не держи нас за дураков. Я все карты в экспедиции видел, их никто не прячет. Бурый уголь они ищут, да и то найти не могут.

Мирошниченко и Копылов в недоумении пялились глазами то на Шонина, то на Струкова.

— Я что сказал, то и повторяю! — едва скрывая растерянность, искусственным басом загудел Шонин. — А ты, если такой грамотный да знающий, так может, тебе здесь и сидеть во вред? А? Может, мне тебя с собой прихватить да подержать некоторое время кое-где, чтоб ты лишнего не болтал! Ишь ты, какой оказался сообразительный! Все карты он видел! Это мы еще узнаем, кто тебе их показывал! А ты мне на бумажке подробненько нарисуешь, когда это ты, и по какому интересу такое любопытство проявлял!

Наконец-то в глазах Струкова Шонин увидел не то чтобы дрожь, а мутность некоторую, как бывает, когда ветер на лужу рябь нагоняет.

— А может, и всех вас мне на время в район отправить до полного выяснения дела? — продолжал давить Шонин. — Да кое-какие ваши прежние грешки на солнышке рассмотреть! Ишь какие хозяева таежные нашлись.

— Не шуми, начальник! — не вытерпел Копылов. — Надо сидеть здесь, будем сидеть!

Шонин прищурился, сделал вид, что раздумывает и сомневается.

— Будете сидеть! Ты, может, будешь сидеть, а вот он, — Шонин ткнул пальцем в сторону Мирошниченко, — а он или этот вот говорун, сорвется кто-нибудь из них из тайги, а меня за воротник.

Шонин покачал головой.

— Вон вы оказались какие говорливые да знающие.

Мирошниченко загудел возмущенно.

— А чего я отсюда срываться буду? Чего на меня тычешь! Я, что ли, эту экспедицию брал?

«А ведь похоже, что не брал, — с тоской подумал Шонин. — Тогда, значит, Копылов? Тоже не похоже! Ну, и собачье же это дело, оказывается! Ведь плот был! Если бы лодка, тогда еще можно было бы предположить, что Путеев обошелся без бичей, что совсем трудно представить! Но плот — это точно для бичей, чтобы только переправиться через реку и затем в тайгу! Винтовки здесь! Может быть, совсем рядом! Но кто из этих троих? А при чем здесь женатики Семенковы? Надо еще раз проверить.»

— Ладно. Сидите здесь. Из тайги ни шагу!

Затем, как бы остывая от гнева, проговорил будто бы только для себя, но с вопросительной интонацией:

— Чего ж идти мне к Семенковым или не стоит? Эти, пожалуй, из тайги не сорвутся, глубоко сидят.

И тут же чересчур торопливо подхватил Копылов.

— Конечно! Куда они денутся. Они-то уж совсем тут ни при чем.

Что Семенковы «при чем», Шонин уже не сомневался, вот только «при чем»? Копылов, да и «цыган» явно не хотят, чтобы он встречался с Семенковыми. Это во-первых. Во-вторых, в четверг, в день кражи, бичей на базе не было, не было, видимо, всех троих. Все трое участвовать в краже не могли. Если один из них пошел на дело, положим, Копылов, то где были остальные? Если бы Копылов шел по делу, то алиби продумал бы и не стушевался, как это с ним случилось, когда Шонин назвал день кражи. Значит, не Копылов. Мирошниченко? Но этот тоже был в замешательстве, когда речь зашла о четверге. Струков? Этот и уверен, и спокоен, и знает, что карты не было. Если Струков, то он тогда еще тот фрукт, и тогда, получается, не было бы смысла ему говорить, что карту не крали.

А если Семенков? Они с женой осели в тайге серьезно. Зимовье строят заново и вообще... Винтовка им не помешает. К тому же ему и никакое алиби не нужно. Он в глубине тайги, единственный свидетель — жена. А что если Семенков? А парни о чем-то догадываются. Тогда они, как только он уйдет с базы, постараются предупредить Семенкова... Но стоп! Если Семенков, то Путеев лишний. Таежники ни с кем из деревни не сближались, и на этот счет у Шонина была четкая информация.

Шонин пил чай и почти с радостью отмечал, что вместо трезвости мышления с чаем приходит в мозги один туман. Он устал. И прежде чем начисто отключить внутреннюю говорильню мозгов, все же успел осознанно решить, что к Семенковым не погонит, а если они имеют какое-то отношение к делу, то это отношение наверняка второстепенное и это прояснится само собой, когда он доберется до главного.

— Значит, в четверг, в день преступления, вы все были на базе?

Бичи закивали головами, и потому, как они старательно смотрели ему в глаза, Шонин лишний раз уверился, что ни у одного из них нет того самого алиби, какое в их положении было бы сочинить — раз плюнуть. Но сочинить они не успели, и теперь страхуются круговой порукой, и кому-то, стало быть, эта порука нужна позарез, а кто-то всего лишь присоединяется к ней по принципу товарищества.

В целом, конечно же, Шонин был огорчен своим визитом на базу, и если бы он знал, что все обернется именно таким образом, то не ходил бы вовсе. В конце концов, никуда бы эти бичи не делись.

Одевая на плечи пустой рюкзак, Шонин еще раз взглянул каждому в глаза и окончательно решил для себя, что глаза — это не его специальность, что если по глазам судить, то всех троих немедля брать нужно. В душе он даже усмехнулся своей недавней надежде, что, дескать, придет, посмотрит, а дальше все, как по маслу. Масла, как он теперь понимал, не будет, а будут крючки и заковычки, и Шонин откровенно вздохнул по этому поводу, оглядел всю таежную красоту вокруг и возмечтал о том близком времени, когда сбросит он с плеч свои участковые функции, уйдет в это чудесное постоянство тишины таежной..., подумал об этом, представил, и тоскливо стало на душе, как всегда бывало, когда думал о старости. В сущности он уже старик, и патлатые чернокожие бичи не замечают этого потому, что он еще пока является как бы служебной функцией, бичи не видят его лет, они видят его пушку под курткой и кокарду на фуражке, а убери эти причиндалы, бичи в его сторону и головы не повернули бы. Проваливай, дед! Гуляй, папаша!

Что ли, напоследок погуляем!

— Значит, хлопцы, вы меня поняли! — с тихой строгостью попрощался он с бичами. Расставание не было трогательным. Бичи молчали, и удаляясь от базы, он так и не услышал больше их голосов.

Продолжение в следующем номере.

Иногда полезно вторгаться в прозу из близлежащих суверенных областей: поэзии, критики, драматургии... Уже есть литературный авторитет, популярность, и потому автор меньше прислушивается к учителям чистописания, которых в наших издательствах и журналах развелось видимо-невидимо.

Тем мне и понравилась проза известного драматурга Михаила Ворфоломеева, что в ней есть некое непривычное для нас вольное дыхание. Даже не объяснишь точно, в чем оно — цензуры политической вроде бы у нас нет совсем, в остальном — тоже нет препятствий, но... на долгом пути превращения в прозаика у многих сверстников Михаила Ворфоломеева это навязанное когда-то чистописание вошло в привычку, у всех ищешь похожести...

У Михаила Ворфоломеева есть непохожесть: в драматургически завинченном сюжете (про многое можно сказать — так не бывает, но говорить не хочется!), в зримом присутствии русского эроса (и в этой области дерзаний у каждого народа свои традиции, свои пределы, ниже которых — пошлость), в органичной и потому легкой для читателя смене времен, миров. Это не мистика, это — если хотите, естественное театральное видение мира и человека.

Как пишет известный славист, автор «Энциклопедического словаря русской литературы», профессор Кельнского университета Вольфган Казак: «Ворфоломеев выводит на сцену олицетворения божественного и дьявольского и тем самым поднимает проблему над современными буднями — в мир основоположений».

Впрочем, это свойственно всему нашему «иркутскому десанту». Это тоже из области ирреального, вдруг какое-то озарение посещает ту или иную российскую область, почти в одно и то же время из Иркутска пришли в русскую литературу Александр Вампилов, Валентин Распутин, Леонид Бородин, Михаил Ворфоломеев...

И пути разные, легкой дороги никому из них не досталось, а читаешь их — и чувствуешь какой-то единый духовный заряд. Заряд русского освобождения, национального и духовного выздоровления общества.

Михаил Ворфоломеев, как уже догадался читатель, родом с Иркутской земли, из маленького старинного купеческого городка Черемхово. В городке этом по какой-то старинной традиции и поныне сохранился театр (впрочем, так же как в Минусинске и других подобных сибирских недорасстрепанных, недовыкорчеванных центрах и центриках русской культуры). Вот и дождался театр черемховский своего драматурга, и даже победил на конкурсе всероссийском, поставив первую пьесу Михаила Ворфоломеева «Полынь». Затем появились другие пьесы («Занавески», «Святой и грешный», «Распутица»), киносценарии... Надеюсь, нынешний уход Михаила Ворфоломеева в прозу (см. повесть в ж. «Московский вестник», рассказы в «Нашем современнике») — не окончательный, и мы встретимся с его новыми героями на сценах московских театров. А пока я с радостью представляю читателям «Слова» инакопишущего прозаика Михаила Ворфоломеева.

Владимир БОНДАРЕНКО

Михаил Ворфоломеев

Полуденные мысли

Он сидел в душной пельменной, скрестив под стулом ноги, обутые в старые боты. За стеклом пельменной громыхал трамвай, ходили полуголые девицы, подставляя роскошные плечи жаркому солнцу. Он сидел и жевал рыбу, которую купил на четырнадцать копеек в магазине напротив. В черной матерчатой сумке лежали две пустые бутылки, или, как думал Плетнев, его ужин. Он дожевал свой «обед» твердыми деснами, вытер рот рукой и вышел.

Виктор Иванович Плетнев когда-то, почти восемьдесят лет назад родился в большом доме своего отца, Ивана Семеновича, бывшего профессора словесности Московского университета. Когда мальчику было семь лет, отца убили... В то время поднялись бунты по Москве...

Мать после похорон увезла его в Берлин, где у нее жил брат. Перед войной они вынуждены были вернуться в Россию. Плетнев поступил в университет, где когда-то преподавал его отец. А дальше... Виктор Иванович, шаркая ногами, думал о разном. Сегодняшняя жизнь была ему понятна и даже слишком. Он не осуждал никого, ни пьяных, ни богатых. Впрочем и те, и другие были похожими. Биография его была проста. Пошел добровольцем в пятнадцатом. Далее революция. Он на стороне белых. Плен. Лагерь. Соловки.

Странно было то, что попав в лагерь, он остался жив и прожил в лагерях до пятьдесят шестого года... Непонятно зачем он приехал в Москву. Долго мыкался в поисках угла, наконец, нашел комнатку в подвале. Долгая северная жизнь сделала свое дело. У него выпали зубы, болели суставы. Через месяц его забрали. Просто пришли и забрали. И еще восемь лет. И вновь он возвращается в Москву. Находит каморку и уже понимает, что вся канитель с его арестами кончилась. Теперь он был свободен. Работать ему было поздно, хлопотать пенсию глупо... и даже зазорно, как он сам думал. Удивительно было то, что, оказавшись вновь в Москве, в старом доме, Виктор Иванович забыл лагерную жизнь. Ему казалось так, что вот он родил-

ся, вырос и стал стариком. И только ночью, когда не было никакой возможности спать от болевших суставов, он садился у окна и в голове роем копошилась вся его лагерная жизнь. Но он насильно затворял эту дверь и вспоминал ясные подмосковные дни, гуляющих барынь. И видел себя молодым, влюбленным в Анечку Бродскую. Вот он, щеголевато одетый, идет с ней по Тверскому... А вот уже она провожает его на фронт. Через полгода и она уходит сестрой милосердия. А в марте мама, Нина Константиновна Бродская, ему напишет: «Милый наш Виктор! Анечку убило при бомбежке. Осколок от снаряда попал ей в висок... Бога ради, не забывайте нас! Не покидайте...»

После он уже больше никого не любил...

Он всегда думал об Анечке, когда ходил. Он думал о ней и о своей маме, красивой, белокурой Елене Трофимовне. Его мама была из купеческой семьи. У них были и свои кожевенные заводы в Кимрах и в Берлине, где работал ее старший брат. От отца осталось имение Плетневка, с большим деревянным домом, гусями и несколькими старухами, что занимались домашними делами. Всех старух маленький Витя очень хорошо помнил. В конце семнадцатого года имение сожгли, а белокурую моложавую Елену Трофимовну нашли в саду заколотую штыком. В саду же ее и схоронили. Когда Виктор Иванович первый раз вышел из лагерей, он добрался до места, где когда-то стоял их дом. Но ни дома, ни сада, ни малейшего признака бывшей жизни он не нашел. И это его потрясло! Не стало мельницы и пруда... Дома лишились садов, и люди, что жили раньше в Плетневке, стали другими. Никого из них Виктор Иванович не знал, да и дома были другими. Разговорившись, понял, что при наступлении село обстреляли... Это уже в сорок втором... Людей побило, а те, которые живут сейчас, переселенцы. Не было и церкви на горе. От нее осталась только ограда.

В лагере то, что говорилось о жизни на свободе, звучало странно и непонятно. Каждый, кто провел в заключении столько лет, помнил то, что ему хотелось помнить. Когда лагеря заселили большевиками, красноармейцами, Виктор Иванович замкнулся. Его правда, его жизнь и мироощущение совершенно не совпадали с теми, кто когда-то сжег его имение, убил мать, а еще раньше отца... Образованных среди них было мало. Сдружился он с одним ученым, профессором-почвоведом Потаниным. Человек он твердый, честный и так же, как и Плетнев, не сочувствовавший новому режиму. Потанин был гораздо старше, мудрее. Когда возникали споры и кто-нибудь просил высказаться и профессора, то он обычно отвечал:

— С марксистами спорить все равно, что коров грамоте учить.

Потанин рассказал Виктору Ивановичу, что жизнь, которую они прожили до революции, в сущности и была жизнью, и что сейчас мерзость, свинцовая мерзость! И что он очень сожалел, что не эмигрировал!

— Знайте, дорогой Виктор, что приличнее сидеть в лагере, чем жить среди этой красной сволочи!

Потанина расстреляли, расстреляли и тех, кто был противоположного с ним мнения о «красных».

— Почему же я остался жив?! — всякий раз спрашивал себя Плетнев и даже сейчас, когда сама жизнь физически подошла к концу, эта мысль тревожила и возбуждала его. В лагерях, чтобы не потерять окончательно человеческое, он вел дневник, куда записывал только погоду.

Сидя на бульваре, рядом с которым он жил, Плетнев старался понять жизнь тех, кто проходил мимо, не замечая его. Он читал газеты, которые вешали тут же.

Почти не стало интересных лиц... «Лиц нет, — думал он, — одни физиономии!»

Ему было просто смотреть на мир из самого себя. Одежда, которую он подбирал так же, как бутылки, была его заслоном. Пенсии он не получал, но собранных банок и бутылок ему хватало. Он совершенно не употреблял спиртного и никогда не курил. Раз в неделю он обязательно шел в баню... В коммуналке, где он обитал, с ним проживали две старушки. Это его очень устраивало. Он рано уходил из дому и приходил, когда те уже давно спали. Сам же он спал мало, три, от силы четыре часа. Читал он мало из-за того, что болели глаза. И только поток мыслей сыпал и сыпал...

Плетнев говорил себе, что это полуденные мысли, то есть мысли, которые приходят к человеку в его даже не осеннюю, а зимнюю пору.

«А что у меня есть? — думал он. — Ведь даже фотографии не оставили мне! Я не знаю, каким был когда-то! Мальчиком я помню серые улицы Берлина, берлинские трамваи». И если он начинал думать о трамваях, он обязательно вспоминал все, что помнил о них.

«Что может быть страшнее моей жизни? Почему меня не расстреляли? И тогда не было бы вот этого чудовищного и унизительного существования! И если бы кто-нибудь знал, как мне хочется хорошо одеться, вкусно поесть и искупаться в теплом море! Ведь мне же не все равно! Ведь как бы там ни было, а я продолжаю уважать себя! И уже то удивительно, что я не забыл немецкого... — Плетнев думал, а глаза его машинально увидели пустую бутылку, он достал ее из-под лавки и положил к тем двум. — А сейчас я в сущности эмигрант. Я живу в чужой стране. Ничего своего, родного нет! Как нету извозчиков, хороших магазинов, как нет и людей... Ведь все эти, как сами себя они называют, массы, это не люди... Они какие-то лагерные, может тем привычные?!»

К вечеру он сдал бутылки, получил деньги и, купив баночку частика, хлеба и пакет молока, пошел домой. Он шел, шаркая старыми черными ботами с металлическими застежками, которых уже давно не выпускают, а сам себя видел в новенькой форме поручика, когда после госпиталя он пришел с мамой и сестрой Верой в ресторан «Оливье». Как они отражались в зеркалах и как хороша была сестра. Дальше о сестре он думать не смел, он вообще старался о ней не думать...

Дело в том, что одна из старух, что жили с ним, оказалась его сестрой. Она почти слепа, и это его спасло! Как она прожила жизнь, почему оказалась тут, он не знал, да и знать был не в силах. И все же, приходя домой, он долго прислушивался, что с ней. И если она ходила или кашляла, то успокаивался и шел к себе. Он знал, что когда они оба умрут, а это будет скоро, милиция поймет, что рядом друг с другом жили брат и сестра, младше его на два года.

Ах, эти полуденные мысли...

Тук-тук-тук

Сосед по даче, студент третьего курса Дмитрий Ларионов, с утра чинил забор. Елена Сергеевна, проснувшись, слышала постукивание молотка. Она лежала в спальне, окно которой было раскрыто. Под окном рос большой куст жасмина, но сейчас он уже давно отцвел. Густая зелень сада прохладно шумела. Перекликались пеночки и это приятное — тук-тук-тук!..

Елена Сергеевна поднялась, с удовольствием потянулась своим большим белым телом. Спать она любила голой и первую часть утра так и прохаживалась по даче. Ей было сорок лет, но она еще была очень хороша. Крепкая грудь нерожавшей женщины, с небольшими коралловыми сосками, упругий живот. Елена Сергеевна любила свое тело, свое лицо. Зачесанные назад волосы, белый и чистый лоб. Темно-зеленые глаза, всегда чуточку насмешливые, как и губы, готовы улыбнуться тотчас. Она стояла перед зеркалом, плавно поворачиваясь то вправо, то влево. Широкие, округло-плавные бедра ее саму волновали. Муж давно уехал на работу. Он всегда вставал тихо, неслышно завтракал и уезжал. Елена Сергеевна лишь сквозь сон слышала, как хлопает дверца автомобиля и несколько минут шум работающего двигателя. После наступала упоительная тишина, в которой так любила поспать она. Позавчера приехал к соседям Ларионовым их сын. Дмитрий был высок, светловолос и застенчив. Он всегда здоровался с ней, опуская глаза. Приехав, он тут же принялся за починку старенького заборчика, который разделял их участки.

Елена Сергеевна мысленно представила, как он прибивает новенькие штакетины вместо сгнивших. И вдруг поняла, что не слышит привычного постукивания. И тут же в зеркале она заметила лицо Дмитрия, который подглядывал за ней из-за куста.

Она вздрогнула от неожиданности, но что-то сладкое, неожиданное родилось во всем теле. Она сделала вид, что ничего не заметила и стала еще больше вертеться у зеркала, краем глаза одновременно наблюдая за соседом. Она увидела, как подрагивает его нижняя губа. Елена Сергеевна огладила свой живот и медленно прошлась по комнате.

Лицо Дмитрия переместилось. Теперь он уже был близко, почти у самого окна. И она ходила по комнате, переставляя то цветы в вазе, то книжку. Она уже слышала, или ей казалось, что она слышит его дыхание. Она знала, как он волнуется, это волнение передалось и ей. Она упала на разобранную кровать и, раскинув руки, громко сказала:

— Митя! Иди же сюда!

Над подоконником застыла его голова.

— Идите!

Елена Сергеевна улыбнулась ему. Дмитрий, молча, но сильно покрасневший, влез в окно, медленно подошел к ней. Его грудь тяжело дышала. Она сама взяла его за руку и притянула к себе. Они долго, молча целовались, пока у Елены Сергеевны не закружилась голова. Отдалась она ему так, как, пожалуй, никогда и никому не отдавалась. После Дмитрий точно так же, через окно ушел. Елена Сергеевна лежала, раскинув ноги и вся, до кончиков ногтей, была счастлива. Было счастливо ее большое, белое тело, которое сейчас отдыхало, и только сердце сильно стучало в грудную клетку. И словно вторя его ударам, она услышала: тук-тук-тук...

— Митя... — прошептала она и засмеялась тому, что этот мальчик так и не сказал ей ни слова!

Вечером приехал муж, привез продукты, новости и запах города. И как всегда она его кормила, слушала, мило улыбалась. Когда нужно было ложиться спать, муж ее спросил:

— Ты меня любишь?!

— Очень! — сказала Елена Сергеевна.

Через полчаса они уже спали.

Утром она услышала: «Тук-тук-тук!». — вскочила и, подбежав к окну, громко позвала:

— Митя!

Потом услышала, как он бежит через кустарник... Вот его лицо, счастливое, юное! Он легко впрыгнул в спальню, обнял ее, еще горячую от сна, и спросил:

— Ты любишь меня?!

— Очень! — ответила Елена Сергеевна.

Она была счастлива.

Сумерки

Пожалуй только русскому понятно значение сумерек. Нигде в западной литературе не мог я найти описания этого дневного серого света, который словно светит изнутри. У сумерек темно-синий низ, а ближе к центру, где центром является сидящий или стоящий человек, синий цвет разбавляется мелом. Покой, вот что несут вечерние сумерки душе человеческой.

— То свет зари Господней! — сказала мне когда-то моя бабушка. — Посиди, посумерничай.

Я сел с нею за деревянный некрашеный стол, где стояли фарфоровые стаканы с недопитым чаем, и прислушался. В открытое окно чуть слышно тянуло цветущим шиповником. С другой стороны стола на меня глядели темные от сумерек, а в жизни светлые глаза моей бабушки... Ах, как много пролетело времени с той поры, но никак не забыть мне нашего молчаливого часа. Я знал, чувствовал, что бабушка горько и беззвучно плачет. Она плакала так, как плачет и по сей день моя Россия, утопая в тягучей дреме сумерек.

Все это мне вспомнилось в одном городке, куда я приехал по делам и сейчас сидел в гостиничном номере с двумя кроватями, большим коричневым шкафом и умывальником у двери. Окно выходило во двор гостиницы, где росло несколько тополей да яблоня-дичок. Из окна пахло щами. Это означало, что на нижнем этаже существует подобие буфета.

Я сел было погрустить, да все как-то не получалось. Что-нибудь да отвлекало. Начиналось время сумерек, а мною вдруг овладело беспокойство. Двухместный номер был моим, и никакого соседа я не ожидал, потому решил пройтись по городку, узнать или скорее почувствовать, чем и как он живет. Гостиница была двухэтажной, с коричневым треснутым линолеумом на полах, одним длинным коридором, в конце которого дремала дежурная. Таких дежурных я видел очень много в разных местах. Но видимо оттого, что все они выполняли одну и ту же инструкцию, были они удивительно похожи, и только возраст служил им отличием. Я спустился вниз. Администратора на месте не было. Стояла тишина такая, что было слышно, как тикают настольные часы. У маленького столика, в обшарпанном кресле сидела девушка. Она сидела согнувшись, словно замерзла или хотела уснуть. Рядом стоял чемоданчик из искусственной кожи с ремнем посредине. На девушке была сиреневая кофта, густые темные волосы лежали на плечах. Лица видно не было, но зато я разглядел ее круглые, с темными провалами от загара колени. Я кашлянул, девушка быстро подняла голову. На вид ей было лет девятнадцать. Темные, глубокие глаза, тонкий нос и само лицо чуть смуглое, с загоревшими щеками было если не красиво, то очень симпатично. Подсев напротив, я спросил:

— Нет мест?

Девушка вздохнула и отвела свои большие глаза в сторону, так мне ничего не ответив. Ее губы, чуть полные, спелые, неожиданно взволновали меня.

— Может я смогу вам помочь? — зашел я как бы с другого хода. Девушка подняла на меня свои огромные глаза и тихо сказала:

— Не надо. Ничего не надо...

— Да скажите вы толком, — уже настойчиво продолжал я. — Вам негде переночевать?

— Да... — тихо ответила она.

И тогда я взял ее чемодан и сказал:

— Быстро идите за мной, но тихо! — И пошел на второй этаж.

Девушка поднялась и пошла следом. Она шла тихо и покорно, как человек очень уставший. Мы прошли мимо дежурной следующим образом. Я прошел первым и, войдя в номер, дверь оставил открытой. Она прошла чуть позже и, пойдя по коридору, увидела меня в открытых дверях.

Она вошла, огляделась, но все еще не знала, правильно ли она сделала. Потом робко прошла к неизмятой кровати и села на нее, сцепив длинные, тонкие пальцы на коленях. Я сел на свою кровать.

— Давайте хотя бы познакомимся! — предложил я. Девушка долгим и тяжелым взглядом оглядела меня и сказала:

— Нина...

Я также ей назвался и предложил перекусить. Она согласилась. Я достал из сумки провизию, бутылку коньяка, который всегда беру с собой в дорогу, порезал ветчину, открыл консервы и, разлив в граненые гостиничные стаканы коньяк, предложил Нине выпить. Она покорно взяла стакан и сказала, что никогда не пила коньяк. Потом о чем-то подумав, выпила, медленно, как пьют вино. Выпив, она чуть улыбнулась, скорее показала белые, ровные зубы. Я выпил следом. Коньяк прокатился вниз и через минуту его огненное тепло рассредоточилось по всему телу, сделав его легким и одновременно ленивым.

— А вы откуда? — спросила меня Нина.

Я сказал, что приехал из Москвы, всего на два дня в местный музей.

— Музей посмотреть? — удивилась Нина.

— Не совсем. В нем есть некоторые документы, которые меня очень интересуют.

Темнело. Я предложил зажечь свет, но Нина попросила не делать этого.

— Посумерничаем... — тихо и как-то твердо сказала она. Голос у нее был негромкий, но чуть с заметной хрипотцой, как у подростка. В сумерках ее лицо приняло какое-то странное, магическое очертание. Я почувствовал волнение так сильно, что не выдержал и, подсев к ней, взял ее за руку. Рука оказалась холодной. Нина не сопротивлялась, а напротив, словно ждала этого момента. Она повернула ко мне свое лицо. Сейчас, когда жемчужно-серый свет, падающий из окна, стоял за ее спиной, глаза у нее стали еще больше, словно растворились в темных кругах под ними. Я нащупал ее губы своими и, не веря своему счастью, стал жадно их целовать.

— Не спеши! — услышал я ее шепот, и, мелко дрожа, она отодвинулась к подушке. Я налил коньяку себе и ей. Мы выпили еще раз. Моя душа была наполнена счастьем! Я уже почувствовал ее длинное тело, ее сильные бедра и девственную грудь. Впереди нас ждала целая ночь, и от этого грудь моя разрывалась!

«Ну до чего же я молодец!» — ликовал я сам про себя.

И вот наступил тот самый момент, когда контуры теряют очертания и медленно начинают таять в ртутном свете. Мы сидели, обнявшись, чуть захмелевшие от коньяка, но больше от чувства, что внезапно нахлынуло на нас. И тут я услышал ее глубокий, сорванный голос.

— У меня мать в тюрьме повесилась... Хоронить приезжала. Тюрьма тут, в городе этом.

Я похолодел. А Нина словно не мне, а кому-то невидимому продолжала рассказывать.

— Мы сами с Шебургн, лесхоз там. Там родилась, выросла. Случилось-то как?! А так случилось, что соперницами мы с матерью стали. Мать-то у меня бригадиром была. Сильная, красивая, мамочка моя! Приехал к нам после срока парень... Степан Измилов. К матери в бригаду ушел, лес валил... Отца у меня давно нет. Убежал наш отец, когда мне годика четыре было. Убежал, а мать искать не стала. И вот уж я выросла, а она одна, да одна! Бывало упадет ко мне в кровать, прямо до крови зацелует. Тосковала... Ну тут этот Степан... Ох и красивый... Бывают же такие на свете! Высокий, гибкий, прямо не человек какой, а волк! И лютый! Схлестнулись они с мамой... Видно, сильно он ей полюбился. Привела она его через месяц домой. Сели они, выпили. Мать меня зовет. Вот, говорит, он с нами жить станет.

А этот Степан как меня увидел, так глазами и полыхнул. Мне-то он не понравился. Красивый — да, а страшный... Лютый! Тут-то и началось... Не давал он мне проходу! И мать подмечать стала, что неладно у нас с ним! А он, где одну меня поймает, грозит: все равно моей будешь! Тебя люблю! Срок кончу, уедем. Ночь приходит, он с матерью ложится. Такая у нее любовь, что ажно плачет! По имени его кричит и плачет. Я прямо из дома выходила. А тут ей по делам уехать надо было. Я к подругам ночевать, знаю, что оставаться нельзя со Степаном. Отночевала, да к утру домой, а он ждал... Схватил меня... Боролись мы, боролись! Он с меня всю одежу сорвал и взял! Вот тут-то мама и вошла! А мы на полу... Схватила она ружье и на Степана, на меня... Он орет:

— Дура, я ее силой взял!

А ее трясет.

— Врешь, — говорит. — Любит она тебя.

Я голая как есть к печке прижалась, слова сказать не могу... А Степан прыгнул и закрыл меня... Мать-то, с двух стволов... Наповал... Он спиной на меня, а спина горячая, потом падать стал... Я его подхватила да отпустила... в груди две дырки и кровь, словно из родников, толчками... Ноги длинные... Красивый вдруг сделался... Опомнилась я, а у меня у самой бок кровит. Одна пуля насквозь прошла и сорвала мне кожу.

— Мама, — говорю, — что же ты так-то?..

— Да вот, дочка, так уж как есть!

Да как зарыдает она над Степаном. Я в баню ушла, там оделась... После судили... Восемь лет ей дали... А только я видела, что ей что восемь, что двадцать... Привезли в тюрьму, а она видишь как... Да я-то знала, так оно и будет!

Нина замолчала. За окном стемнело.

— Ну что же ты?! — вдруг тревожно спросила она.

— Я ничего... — ответил я ей.

— Что же, и любить не станешь?! Я, может, тебя такого и ждала...

Я притянул ее к себе и еще раз поцеловал.

— Скажи мне, ну, дальше что?! Как же ты меня полюбила? Ты ведь и не знаешь меня вовсе!

— Знаю, знаю я тебя! Я не обманываю! Люби меня, хороший мой, светлый мой! Люби...

И я понял вдруг, что сейчас она доведена своим отчаяньем до какого-то неистовства, исступления! Ей хотелось освободиться от той немыслимой душевной муки, что сродни воспалительному процессу. Она стащила через голову платье, даже забыв перед этим снять кофту. Сорвала лифчик, сбросила трусики и сейчас лежала, жадно дыша и блестя глазами. Когда я лег, она застонала тоскливым грудным голосом... Всю ночь мы любили друг друга. И я понял тогда, что нашел ту, единственную возлюбленную... И с этой мыслью я уснул. Проснулся я от стука в дверь. Долго я не мог понять, где я. Кто стучит. Наконец, крикнул:

— Кто там?

— Убираться будем, нет? — услыхал я из-за двери чей-то женский голос.

— Нет! — крикнул я. — Не будем!

И тут я все вспомнил, вскочил! Но в комнате никого не было... Кровать ровно застелена. Следы ужина убраны и на тумбочке записка: «Любовь моя ненаглядная! Верь мне... Нина».

И все!

Два дня, которые я провел в музее, я думал только о ней. Выяснил, что до поселка Шебургa сто километров, но ехать туда очень сложно... Однако я уговорил одного шофера из музея, заплатил ему, и мы поехали. К обеду были на месте. Поселок был большой, старинный. В пыли валялись собаки, на лавочках сидели старики и старухи. У них я узнал о Нине. Мне показали дом. Провожала меня крепкая старуха. Довела до большого, в восемь окон дома. На дверях висел замок.

— Не, парень, она уехала. Больше сюды не вернется. Чо ей тута делать после сраму такого?

Я еще зачем-то ждал Нину до вечера... И когда нужно было уезжать, сел на ступеньку ее дома и заплакал.

Где же она? Жива ли? Странная, как сумерки, Нина... Ах, свет зари Господней, помоги ей, если можно... помоги мне, всем помоги...

Возвращались затемно. Шофер, видя мое состояние, всю дорогу молчал. Когда приехали, он достал бутылку водки, разлил ровно по стаканам и сказал:

— Выпей, утешь себя, брат...

Прощальный разговор

Председатель колхоза Степан Ильич Стегунов, широколицый, обветренный, с рыжеватыми вихрами и большой коричневой плешью, стоял перед домом агронома Макарова. Агроном покидал колхоз, а почему, зачем — не говорил. Пришел, подал заявление и все. Худо было то, что Макаров человек беспартийный, а беспартийный все равно что бесконтрольный.

Стегунов вошел в сени, постучал. Открыла жена Макарова, Ольга, учительница музыкальной школы. Макаров сидел за обеденным столом и ел макароны. Он был худощав, носил очки по причине близорукости и коротко стригся.

Стегунов бросил взгляд на голые ольгины ноги, а Ольга была красивой, рослой.

— Приятного аппетита, Сергей Маркович! — громко сказал Стегунов. — Позволь присесть?

— Садитесь, — кротко ответил Макаров.

Ольга обошла печку в своем коротком домашнем халате и, ни слова не говоря, поставила перед Стегуновым тарелку макарон по-флотски. В доме было пусто... В соседней комнате стояли готовые чемоданы, да и сам дом уже был продан скотнику Гремову. Вновь подошла Ольга с початой бутылкой французского коньяка, который в изобилии продавался в местном магазине, поставила рюмку и, низко наклонившись, стала наливать. Из прорези на Стегунова словно выкатились большие белые груди... И тут он затосковал... Он понял, что Макаров увозит Ольгу навсегда! А ведь он, Стегунов, построил для нее музыкальную школу, купил шведский рояль, машину легковую за школой закрепил... А все для одного, чтобы крадучись, в потемках зайти в школу с заднего хода, застать Ольгу в потемках, жадно, скоро повалить на диван... После таких встреч он садился в машину и уезжал в поле, где ходил часами...

Сжав крепко рюмку, он выпил, отодвинул тарелку и спросил:

— Сергей Маркович, может, ты мне скажешь, почему уезжаешь? — спросил и сам сжался, предчувствуя, что тот ему ответит... Свои отношения с Ольгой он прятал так, как будто всю жизнь проработал разведчиком. Но, наверное, в селе все сплошь пограничники... Выследили!

— Бессмысленно далее унижать землю, — тихо сказал Макаров.

Стегунов поднял глаза на его бледное, плохо побритое лицо.

— Бессмысленно... Вот съезд прошел, а что решено? А ничего не решено! И вновь земля у таких как ты, Стегунов!

Для Степана Ильича это был поворот...

— Не понял я тебя, Макаров.

— Да как тебе меня понять? Ты же обыкновенный партийный горлохват! Ходишь по селу героем! А как же? Три ордена Ленина, а за что? За то, что землю губишь, не жалеешь... И ведешь к бессмыслице крестьянскую жизнь! И не тычь мне в глаза своими коттеджами, домом культуры! Это для дураков! То, что делает весь колхоз, должна делать одна крестьянская семья! И ты, ты, дурацкий председатель, никому не нужен! Ты просто выдуманная партийная фигура! — Мелкие капли пота выступили на лбу Макарова. Стегунов перевел взгляд на Ольгу. Она стояла прижавшись спиной к печи. Лицо было спокойным... Значит, подумал председатель, не впервой слышит...

— Ты соображаешь, что говоришь? — нарочито грозно начал Степан Ильич.

И тут Макаров грохнул кулаком по столу.

— Если ты, болван, посмеешь говорить со мной в таком тоне, я тебя выкину! Выкину вон, как куль дерьма!

— Да ты что?! — изумился Стегунов. — Ну?! Совсем того? Я же по-человечески...

— Неужели тебе не ясно, Стегунов, что по-человечески вы не можете! Вы, мордатые министры, цекисты, секретари трепаные! Вы же не человеки, а безнравственные скоты! Я двадцать лет работаю агрономом, а с детства жду, когда наконец отдадут землю тем, у кого ее отняли! Я для этого институт кончил... Я для этого лучше всех старался учиться... Я изучал Прянишникова, Фортунатова, Вавилова и Якушкина... А ты?! Что ты изучал? Методы и стили местных руководителей! Горлохваты хреновы... Вы же отравители России!

— Ну вот что... — Стегунов поднялся. — Я с тобой после этих слов в другом месте поговорю!

Макаров вскочил, опрокинув стул, и истерически захохотал.

— Дурак! В каком месте?! Кто ты такой есть, упырь! Вся ваша партия состоит из таких упырей... Посмотри, как тебя люди боятся... Простые крестьяне тебя боятся! Я долго терпел... Не тебя... На тебя мне начихать! Я терпел и надеялся, что когда-нибудь придет человек и скажет: вот вам, крестьяне, земельный банк, земельная управа... Вот вам земля. И долой всякие райкомы!

— Да нет, ты просто сумасшедший! Тебя в дурдом и надолго! Запомни, Макаров, что за такие слова и сегодня судят. — Стегунов сел. — Никак в толк я не возьму... Ты что же, вот с такими мыслями и жил всю жизнь? Тебе же всего сорок лет, а ты что же? Как же?! Да ты погляди, мать твою так, сколько я построил! Музыкальную школу...

— Ты, дурак! Кому она нужна, твоя музыкальная? Исключительно моей жене! Не музыкальная школа нужна, а богатый мужицкий двор! Богатый! Понимаешь?! И когда у мужика станет двор богатым, он сам найдет где и чему выучить свое дите. А ты, холуй, выстроил школу для начальства! Чтобы те, холуи, высшим холуям рапортовали о холуе Стегунове! Мол, есть у нас председатель, холуй из холуев! А пожаловать ему орден Ленина за холуйство!

Стегунов слушал и ушам не верил. Всегда молчаливый, косноязычный Макаров сегодня был настолько другим, непонятным, что даже пугал его этим. Но Стегунов ждал, когда все-таки агроном начнет говорить о жене?! Но Макаров кажется вообще не собирался больше разговаривать.

— Интересно мне, зачем ты вообще затеял этот разговор? Что-то там у тебя другое за пазухой, а?

Макаров не ответил и ушел в другую половину.

— Чего он? — спросил Стегунов у Ольги.

— Чего? Да он всю жизнь такой.

— Да? Понятно... — Степан Ильич помолчал и вновь поглядел на голые ольгины ноги.

— Когда уезжаете?

— Да сегодня в ночь. Поезд в четыре утра. Ну, выедем в двенадцать, к трем уж точно будем на станции.

У Стегунова перехватило дыхание...

— Как сегодня?! Ольга, ты что?

— А что?

— Оля... — почти зашептал Стегунов. — Приди, приди к озеру! Сейчас приходи! Я ждать стану... Прошу...

Ольга улыбнулась и, откинув полу халата, почесала под резинкой. Сделала так просто, как будто они жили одной семьей... И этот жест совершенно заставил ополоуметь Стегунова. Он шагнул к ней, обхватил крепкие ягодицы и поцеловал.

— Приду... — тихо сказала она.

Стегунов откачнулся и вышел. Проходя к машине, он увидел бледное лицо Макарова у окна. Агроном глядел куда-то вдаль.

Стегунов остановился, стал смотреть на Макарова. И когда тот заметил его, Степан Ильич криво и нарочито долго ухмыльнулся. После сел в «Волгу» и, рванув с места, покатил к озеру.

Прождал он ее до самого вечера... Он уже и молился, и просил, и матерился, а ее не было и не было!

Наконец, он не выдержал, вскочил в машину и поехал к ней. Во дворе Макарова толпился народ.

— Чего случилось? — спросил он у плотника Грибова.

— Так удавился агроном!

Ошеломленный Стегунов прошел в дом. На другой половине была Ольга, местный фельдшер Кириллов, бухгалтер Муханов.

На диване лежал Макаров. Лицо было синим, а глаза бессмысленно таращились в потолок.

Ольга повернулась к нему:

— Вот...

Стегунов покачал головой и вышел. Уже в машине он незаметно улыбнулся себе: «Ладно! Ольга, значит, остается! Хорошо...»

И уехал.

АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец)

ПОСЛЕДНИЙ ПЛАТЕЖ

Виновна ли?

Для окончательного, решающего умозаключения Эдмону необходимо было еще свидание с вдовой Александра Пушкина. Вина Жоржа-Шарля Дантеса была уже вне всякого сомнения, но необходимо было определить, не пострадает ли чрезмерно и без того потрясенная событиями Натали Пушкина, если еще один удар обрушится на ее семью в лице уехавшей с де Геккерном родной ее сестры Екатерины?

Устроить свидание с вдовою Пушкина было нелегким делом. Безусловно, глубоко потрясенная гибелью мужа, столь выдающегося, столь дорогого всему народу, — Наталья Николаевна замкнулась, уединилась, избегала каких-либо встреч или знакомств.

Понадобился очень смелый, но вместе с тем и рискованный ход — Эдмон заявил о себе как о родственнике Дантеса де Геккерна. Он послал вдове Пушкина просьбу принять его, как родственника того человека, который сыграл роковую роль в ее судьбе, и вместе обсудить, не мог ли он, граф Монте-Кристо, чем-либо загладить тяжелую вину своего родича?

Увидев Натали Пушкину, Эдмон, явившийся и на это свидание вместе с неразлучной Гайде, был ошеломлен красотой этой всему миру известной теперь вдовы.

Сразу пролился свет на многое — и, в первую очередь, на истоки бурной, под стать Отелло, ревности великого поэта, «российского Шекспира», как называл его посланник Далиар. А также, разумеется, и те удивительные воздействия, какие оказывала красота мадам Пушкиной на самых требовательных ценителей.

Молва, что сам русский император Николай Павлович Романов был покорен этой редкостной красавицей, явным образом подтвердилась.

Вдобавок, эта женщина обладала чисто царственными, королевскими манерами — осанкой, высокородной небрежностью тона, величественным равнодушием к громким титулам. Во всяком случае, громкий титул «граф Монте-Кристо» не произвел на нее сколько-нибудь значительного впечатления.

— Чем могу служить вам? — бросила она своим необычным гостям трафаретную фразу. Она даже как будто забыла или не придала никакого значения переданному ей через слугу намеку о намерениях неожиданных гостей быть полезными ей самой, послужить чем-то!

Эдмону пришлось очень осторожно повторить о предполагаемом родстве своем с Жоржем-Шарлем Дантесом, и по мере того, как он излагал свои аргументы, мадам Пушкина все пристальнее, все внимательнее в него вглядывалась, словно припоминая, где она могла видеть это лицо, не интриган ли он?

— Так вы считаете себя родственником человека, убившего моего мужа? — произнесла она, когда Эдмон закончил.

— Нет, мадам, — с наивысшей корректностью ответил граф Монте-Кристо, — пока еще только стараюсь выяснить, не являюсь ли я ему родственником. И что должно быть следствием этого.

— Если да, это не сделает вам особой чести... — презрительно бросила Натали Пушкина. — Не принесет и пользы, вероятно...

Продолжение. Начало в №№ 6, 11/1990.

Перевод с французского В. Лебедева

— Ни чести, ни пользы я не ищу, но надеюсь, что могут быть оценены, по крайней мере, мои старания сколько-нибудь смыть с не чуждого мне имени Дантесов хотя бы частицу того позора и бесчестия, какое навлек на это имя злополучный Жорж-Шарль.

Теперь вдова поэта еще более насторожилась... Иностранец словно вторгался в ее внутренний мир, в область ее отношений с погибшим, в область того, что должно или не должно было быть.

Но она нашлась и тут:

— Мой незабвенный покойный муж, как я уже сказала, был по-детски доверчив... А буйное воображение мчало поэта, словно легендарный конь Буцефал его великого тезку Александра, когда тот был подростком. Александра Македонского имею я в виду, — снисходительно пояснила она, чем слегка покоробила начитанную Гайде.

Гайде не преминула мягко возразить:

— Александр Македонский, мой земляк, в некотором роде все-таки обуздал и оседлал своего Буцефала, сделав его своим любимым конем, верно служившим во многих сражениях.

Вдова поэта уже с некоторым интересом поглядела на Гайде.

— Вы правы, мадам, — не так надменно и сухо ответила она на эту реплику. — Мой, наш Александр, не сумел сделать этого с бешеным конем своей фантазии, своим яростным воображением, и неизбежное произошло: бешеный конь примчал его к смертельной пропасти...

Эдмон нахмурился:

— Значит, вы все же склонны какую-то долю вины возложить и на своего покойного супруга, мадам? Так ли я вас понял?

Вдова поэта заметно спохватилась, не слишком ли много она сказала. Но опять нашлась:

— Я не отметила в самом начале, что доверчивое воображение мужа было болезненно-возбудимым! Не нужен был никакой хитроумный Яго, чтобы пришпорить смертоносного коня... Любой, даже совсем неумный враг мог добиться того, что случилось.

— Жорж-Шарль Дантес де Геккерн и был, как мне кажется, не очень умен? — наивно спросила Гайде.

Пушкина чуть помедлила и тихо ответила:

— В светской среде ум не всегда заметен, да и не слишком нужен. Его заменяет этикет... Мой муж и не любил за это дворцовый круг — там ему было трудно блистать своим умом, своим гением.

Эдмон задал еще один осторожный вопрос:

— Ваш муж мог вырвать вас из этого опасного круга, увезти куда-нибудь в Москву, которую он любил и где его особенно любили и чтили... Или в какое-нибудь из своих поместий.

— Он счел бы это бегством, капитуляцией перед светом, который он презирал.

— В таком случае, получилось нечто вроде заколдованного круга, — пожал плечами граф Монте-Кристо. — Он презирал «свет», и «свет» его ненавидел, толкал его к гибели... И добился этого в конце концов.

— Могу заверить в одном, господа, — совсем уже сухо и холодно сказала вдова великого поэта, — что я ко всему этому совершенно не причастна.

— Может быть, его смерть повлекла за собой уменьшение ваших доходов, что вызвало затруднения в вашем быту? — с неизменной осторожностью осведомился граф Монте-Кристо. — Я был бы счастлив оказать вам помощь любого размера.

— Вы так богаты? — полунасмешливо спросила Пушкина, но уже не без нотки любопытства.

— Вполне достаточно, чтобы отвечать за свои слова, — учтиво поклонился Эдмон и мельком перехватил одобрительный взгляд Гайде.

— Император приказал за счет казны, то есть государства, покрыть все довольно многочисленные долги моего мужа... За нашей семьей сохранены доходы от издания его произведений. Было бы по меньшей мере неблагородно принимать при таких обстоятельствах помощь от богатых иностранных меценатов...

Эдмон одобрительно зааплодировал.

— Браво, мадам! Вы вполне достойны гордой и славной памяти вашего великого мужа. Я вижу перед собой наследницу римских патрицианок... Но все же, прошу меня простить за настойчивость, я должен, я обязательно должен узнать, как вы расцениваете роль Жоржа-Шарля Дантеса в вашей трагедии?

Госпожа Пушкина несколько секунд помедлила, видимо, чтобы наиболее точно и ясно сформулировать свой ответ.

— Мой муж, русский поэт Александр Пушкин, погиб от руки барона Жоржа-Шарля Дантеса де Геккерна, — отчеканила она, как если бы голос ее принадлежал бронзовой статуе.

Так же могла бы ответить и парижская гильотина, если бы она обладала даром речи!

Граф Монте-Кристо с еще большей почтительностью поклонился вдове великого русского поэта. Участь Жоржа-Шарля Дантеса была решена этим ответом, приговор ему прозвучал в этих безжалостно точных словах.

— Благодарю вас, мадам, и от своего лица и от лица моеи жены, — сказал Эдмон, сопровождая свои слова поклоном. — Теперь мы знаем, как относиться к этому человеку, пусть он окажется даже самым близким нашим родственником... Пусть даже братом.

В этих словах не содержалась угроза мести и тем более кровавой, но нечто в их интонации опять насторожило госпожу Пушкину.

— Не забудьте, однако, граф, что моя родная и очень любимая мною сестра Екатерина состоит замужем за этим человеком. Он ее не стоит, неоспоримо, но было бы очень жаль, если бы кара Дантесу де Геккерну пала и на безвинную голову моей сестры... Несчастье в семье иногда может быть более тяжелым возмездием, нежели удар шпаги или пули из пистолета.

Эдмон чуть усмехнулся.

— Самый тяжелый на свете удар — это удар простой голой руки, так называемая «пощечина»!

Произнеся это, граф Монте-Кристо с особой почтительностью коснулся губами руки вдовы Пушкина, и они с Гайде покинули гордую санкт-петербургскую красавицу.

Выйдя на улицу и сев в свой экипаж, Эдмон сказал, облегченно вздохнув:

— Теперь мои руки развязаны. Так же как, беспощадно наказывая Морсера, я сделал все, чтобы как можно более ослабить удар по Мерседес, так я постараюсь поступить и теперь.

Помолчав и как бы умиротворяюще погладив руку Гайде, Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо произнес:

— Наше пребывание в России завершено. Теперь и можно и должно приступить к разработке нашей дальнейшей программы действий.

Прощание с великим русским

Однако прежде, чем покинуть пределы России, Эдмон и Гайде решили хотя бы поклониться праху человека, столь неожиданно вошедшего в их жизнь, в их судьбу, хотя бы постоять в грустном молчании возле его отвергнутого столицей гроба.

Через содействие неизменно любезного поэта Жуковского и вдовы поэта, их общий друг Александр Гуренин, который не раз бывал у Пушкина в его псковской вотчине — Святые Горы, — согласился быть спутником-провожатым для заезжего графа Монте-Кристо и его супруги.

Белые ночи, хотя и имеют ряд неудобств, мешают людям спать, однако же обладают необъяснимым очарованием. Сейчас, на пути от Петербурга к Пскову, граф Монте-Кристо и его спутники имели возможность насладиться белыми ночами.

В этом действительно было нечто неоспоримо волшебное! Не говоря уже о том, что кучеру-ямщику совершенно не нужно было напряженно следить за дорогой, минуя рытвины и ухабы, глубокие колеи, поблескивавшие водой, — своеобразный, чуть зеленоватый свет белой ночи, как бы вбиравший свечение весенней зелени, позволял совершенно как днем любоваться всеми красотами пути.

Леса и рощи полны колдовского соловьиного пения, способного затмить искусство любой признанной певицы. То чарующий сладостный свист, похожий на любовные сигналы марсельского молодого моряка, идущего на свидание к своей возлюбленной, то частая, настораживающая целый боевой батальон барабанная дробь, рассыпающаяся по густой уже листве дубов и вязов, то вдруг мелодичное течение могучего звука, непостижимого в такой маленькой птичке и в таком крохотном, хрупком горлышке!

Но где, на какой ветке или в какой древесной кроне, таится пернатый крошка-волшебник? То и дело хочется остановить не дремлющего ямщика и крикнуть ему:

— Давай, бородач, вместе поищем этого звонкоголосого чародея, поблагодарим его за то, что вместе со светом этой сказочной ночи не дает нам уснуть, велит любоваться неописуемым, неповторимым этим зрелищем!

О Гайде уже нечего было и говорить! Она вся превратилась в слух и зрение, лишь изредка непроизвольно вскрикивая восторженно, почти молитвенно:

— Боже, какая красота! Какое очарование, какое чудо. Даже ночью ковры ваших северных цветов прекрасны, неповторимы! Нигде в мире я не видела подобного великолепия!

Гуренин задумчиво заметил:

— Ваша супруга, граф, вероятно нечаянно, произнесла два драгоценных для моего сердца слова: «северные цветы». Таково было название пушкинского (Здесь и далее авторская неточность. — От ред.) альманаха, любимого и народом и им самим. Надо было быть именно Пушкиным, чтобы придумать такое покоряющее название! Сколько чувств самых разнообразных порождают эти простые, казалось бы, но могущественно-поэтичные слова! А сейчас, когда мы едем как бы в гости к автору этого удивительного словосочетания — колдовство этих слов еще более неодолимо.

Многоцветный ковер полевых северных цветов России в самом деле производил на гостей из Франции огромное впечатление! Какое разнообразие красок и тонов, какая удивительная гармония во всей этой кажущейся на первый взгляд пестроте... Лишь немногие из этих своеобразных, поистине северных цветов были отдаленно схожи с цветами южно-французских лугов и уж совсем ничего общего не имели с пышными, как бы искусственными цветами, разводимыми в королевских садах Европы, со всеми тамошними великолепными розами, лилиями, нарциссами, тюльпанами, крокусами. Но как по-своему прекрасны, чарующе привлекательны были все эти скромные по отдельности, однако, сказочные в совокупности своей разноцветные огоньки, которые можно было уподобить щедро разбросанным драгоценным самоцветам!

— А как много везде говорится о суровости вашей природы! — недоуменно повторяла Гайде Гуренину. — Но это же совсем несправедливо! Такая природа не может не породить выдающихся, замечательных поэтов!

Хороши были и проезжаемые гостями леса, рощи, перелески, полные стройных бархатно-белоствольных берез, мощных высокорослых дубов, а то и устрашающе-грандиозных в розовато-оранжевой коре пушистолапых сосен или щетинистых островерхих елей, похожих на готические башни гасконских замков.

По просьбе Эдмона, и в особенности Гайде, Гуренин завез их в древний, овеянный легендами Псков, на короткое время когда-то захваченный тевтонами и переименованный ими в «Плескау», но и вскоре снова вернувшийся к Руси под прежним, родным для русских именем.

Вид его стен, соборов и звонниц говорил сам за себя, красноречиво свидетельствовал о глубокой древности этого форпоста славянизма.

Гуренин, как видно, очень широко эрудированный в истории, пояснил графу Монте-Кристо и его супруге роль, сыгранную такими городами, как Псков и Новгород, в возникновении русского государства, в сохранении его национальной самобытности.

Небольшую остановку, сделанную гостями в Пскове, они использовали для внимательного осмотра его каменных твердынь, высящихся над неширокой, но крутобережной рекой Великой.

И соборы, и звонницы выглядели здесь суровее, строже, даже угрюмее, нежели празднично светлые, высокие, солнечно-златоглавые храмы Москвы, но чувство седой старины обозначалось не менее отчетливо, властно.

Узнав о проезде через город Псков некоего богатого и нескупого французского графа, не счел зазорным встретиться с ним сам губернатор барон Аддеркас. Он неплохо говорил по-французски и рядом умело поставленных вопросов выведал у приезжих о их намерении посетить усыпальницу Пушкина в Святых Горах.

Губернатор призадумался. Спросить, имеют ли гости на это разрешение высочайших столичных пунктов, было вроде неудобно. Однако, и оставить дело без внимания тоже, как видно, не годилось для этого провинциального правителя.

— А почему, собственно, вам захотелось это сделать? — ласково спросил он у Эдмона. — Вы считаете себя поклонником этого поэта?

— Нет, более чем поклонником, господин барон, — холодно ответил уже начинавший раздражаться граф Монте-Кристо. — Я считаю себя его должником.

— Но где и как привелось вам ему задолжать? — уже с недоумением осведомился губернатор Пскова.

— Не за карточным столом, барон, — сухо отрезал Эдмон и почти издевательски пояснил: — Долги бывают не только карточные и не только биллиардные. Есть области человеческой деятельности и человеческих отношений, где место всяких азартных игр с успехом занимают высокие душевные порывы.

Смущенный такой отповедью, губернатор все же не счел возможным сложить оружие без боя.

— Существует далеко не безвредное понятие «традиция», любезный граф, — начал он свою контратаку. — И если бы с вашей легкой руки образовалась традиция у приезжающих в Россию иностранцев посещать непременно гробницу Пушкина в глубине вверенной мне губернии, это вряд ли получило бы одобрение Санкт-Петербурга... Согласитесь, что не каждому человеку может нравиться стремление постороннего заглянуть во все комнаты дома. Вероятно, это применимо и к прекрасной Франции, что же говорить о нашей столь во многом отсталой России.

— Если вы беспокоитесь о состоянии ваших дорог или почтовых станций, дорогой барон, — уже чуть мягче сказал Эдмон, — то смею заверить — приобретенная мною для этого путешествия карета вполне рассчитана на подобные случаи. Если же вы опасаетесь, что мы можем подвергнуться нападению разбойников, то еще более решительно смею вас заверить: нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах ни один разбойник не уходил от моего пистолета без ущерба для себя. В большинстве случаев разбойники считали своей приятной обязанностью вытаскивать нашу карету из подготовленной для нас ямы или из грязи и целовать нам с женой руки, получив после этого «на чай». Кажется, так называется это по-русски?

— Да, так, — подтвердил барон. — Но не получается ли, что вы прощали этих негодяев, дорогой граф? Это как известно, не вполне согласуется с законом.

Эдмон небрежно махнул рукой.

— Прощают преступников и почище, — ответил он со смесью горечи и насмешки.

И, вероятно, даже не особенно тонкого ума губернатор псковской губернии сообразил, что имеется в данном случае в виду.

Гуренин еще более помог ему в этом.

— Европа широко осведомлена, что великий Пушкин погиб от руки иностранца. Естественно и похвально стремление иностранцев как бы возместить преступление, совершенное одним из них. Их поклонение гробу и памяти российского гения можно только приветствовать, барон!

На это барон Аддеркас не нашелся ничего возразить и только беспомощно, в знак своего поражения в неравной схватке, развел руками.

Граф Монте-Кристо и его спутники беспрепятственно продолжали свой путь к месту последнего успокоения Александра Пушкина.

Но барон Аддеркас был явно прав в своих опасениях. Чаще и чаще, чем дальше они ехали, «внутренность дома» становилась непригляднее. Все беднее, жальче, развалистее выглядели серые, ветхие, крытые соломой избы деревень, гнилее и ненадежнее мосты через овраги и речки, ухабистее и грязнее дороги, вливавшиеся в казенный тракт.

Сама местность, впрочем, делалась все живописнее. Поблескивали долины речек, все более глубокие, еще не спавшие после весеннего разлива; холмы, вздымавшиеся над ними, как бы набухали, росли, переходя почти что в горы и тем оправдывая те названия, которые произносил Гуренин и бородатый кучер кареты — опытный, отлично знающий всю эту местность.

— Тригорское... Михайловское нагорье... Святые Горы — эти слова то и дело мелькали в их разговоре.

Вот появились на высоком горизонте, вырисовываясь на северном голубом фоне неба, характерные славяно-византийские купола тусклой, бедноватой позолоты.

Гайде, как обычно восторженно, высунулась из окна кареты и, указывая в ту сторону всей своей маленькой ручкой, закричала:

— Святые Горы!.. Святые Горы!

Верная своему обещанию, она теперь не пропускала ни одной русской фразы, услышанной ею, чтобы тотчас же не справиться о ее значении. Словарь ее обогащался не по дням, а по часам. Она уже самостоятельно произносила то одну, то другую обиходную фразу:

— Ка-ка-я ре-чка? Ка-ка-я де-рев-ня? Ско-ро ли Пушкин?

За прихотливыми изгибами Сороти, небольшой, но жизнерадостной речки, карета графа Монте-Кристо въехала в солидно огороженный обширный двор старинной барской усадьбы, векового наследия семьи Пушкиных и Ганнибалов. Такова была просьба губернатора Аддеркаса, не прямо ехать к монастырю, а заехать на усадьбу и уже оттуда без особого шума направиться к усыпальнице поэта.

— Сделайте мне хотя бы такое одолжение, — попросил губернатор, трясшийся над своим должностным положением. — Если будет сделано так, то в Санкт-Петербурге могут и не услышать о вашем визите, драгоценный граф.

— Но если все-таки услышат, что тогда? — иронически усмехнулся Эдмон.

— Тогда мне все же легче будет оправдаться! — вскричал розовощекий, хотя и седой уже, губернатор, как видно немалый жуир.

Эту его полунасмешливую просьбу Эдмон счел нужным выполнить в уважение даже и к темным порядкам страны, где он все еще пребывал гостем. Страны, которая все же породила такого великого поэта, как Пушкин.

Приезд иностранцев, однако, взбудоражил тихую, осиротевшую усадьбу. Не говоря об оглушительном лае собак, то ли радостном, то ли тревожном, навстречу богатой карете графа высыпало все население усадебного дома, включая уже очень дряхлого старичка в шлафроке и ночной шапочке-ермолке, про которого Гуренин почтительно шепнул Эдмону:

— Это отец, убитый горем, будьте с ним подобрее, дорогой граф. Он не особенно ладил с покойным Александром, но гибель прославленного сына была чуть-чуть не смертельной и для него самого.

Гостям были оказаны все знаки внимания и радушия, какие были свойственны сельским русским усадьбам. Были потревожены и погреба, и кладовые, и птичники. Закипели чудовищных размеров самовары — на случай, если остынет один, его должен тотчас же заменить другой. А кроме того, приезд гостей был своего рода праздником и для дворни, тоже принимавшей в своем кругу своего почетного гостя — бородатого, заслуженного кучера.

Усаженные за огромный барский стол, гости подверглись бесчисленным расспросам, не успевая сами спросить о чем бы то ни было.

— Что сейчас во Франции? Жив ли Наполеон, как утверждает молва? Бродит будто бы...

Сдерживая невольную улыбку, Эдмон терпеливо отвечал, что вопреки в самом деле ходившей в свое время по Европе молве, Наполеон не бежал с острова Святой Елены из тяжелого английского заключения, а тихо там скончался, так и не сумев осуществить свой последний реванш.

— По Европе же осторожно бродит один из его наследников по родству, племянник Луи-Наполеон Бонапарт, возможно, тоже мечтающий о троне, — добавил граф, пытаясь объяснить истоки молвы.

Однако, и Эдмон, и Гайде наотрез отказались что-либо пить или есть, пока не воздадут дань уважения гробу великого русского поэта — не посетят его усыпальницу при монастыре.

Хозяева смущенно согласились с этим: требование гостей было и резонно, и благородно. Угощение было отложено, и граф Монте-Кристо со своей спутницей направились к белым стенам монастыря. Гуренин привычно, уверенно их вел.

Путь пролегал по дивно проложенной от усадьбы утоптанной дорожке, скорее тропинке, через лес, поле, луг, и здесь, подобно роскошному персидскому ковру, только еще более радующей ярко-солнечной расцветки такого узора, какой не придумать никакому художнику-ковровщику, хорошо утоптанная тропа, с обоих сторон окаймленная синими и лиловыми колокольчиками, мелколепестковой, но яркой дикой гвоздикой, огненными глазами ромашек, алыми кусочками гераниума-журавельника.

В кустах и кронах деревьев заливались самозабвенно птицы, тоже как бы приветствовавшие неожиданных и необычных гостей, и совершенно очарованная Гайде в порыве восторженных чувств так крепко сжала руку Эдмона, что он даже спросил ее:

— Что, моя дорогая? Что с тобой, Гайде?

— Я поняла окончательно, — ответила она как могла тихо, — как и почему появляются поэты... Такая местность не могла не породить человека, подобного Пушкину! Кумира многомиллионного народа!

Все же Гуренин расслышал ее слова. Он одобрительно и понимающе кивнул:

— Вы совершенно правы, мадам! Все лучшее, что создано нашим великим другом, было написано либо здесь, либо по воспоминаниям об этих чудесных местах.

— Я еще больше хочу теперь овладеть вашим языком, месье Гуренин, — пылко ответила Гайде. — Я хочу не только прочесть все написанное великим сыном этой изумительной страны, этой волшебно-прекрасной страны, но и заучить наизусть все то наилучшее, что вы мне могли бы назвать в его творениях. Мне мало того, с чем нас познакомил господин Жуковский.

— Я не совсем точно выразился, мадам, — счел нужным поправиться их собеседник. — Все творения Пушкина по-своему прекрасны, глубоки, мощны, но сердце женщины наверняка обладает особенной восприимчивостью и требовательностью. Значит, неизбежен и особый, наиболее тонкий отбор! Палитра Пушкина была необычайно широка. Ему могли позавидовать и Вольтер, и Рабле, но его обняли бы и Вергилий, и Данте!

— Как странно! — сказала вдруг Гайде, остановившись. — Имя убийцы Пушкина почти совпадает с именем его величайшего предшественника в поэзии.

— Два полюса, две крайние точки... — задумчиво добавил к этому Эдмон. — Сверхгениальность, сверхзлодеяние... Данте и Дантес... Наверняка, названные вами Вергилий и Данте воспитали в Александре Пушкине его не только русский, но и всемирный гений.

Вспомнились и слова того же Жуковского: «Поэту труднее стать всемирным, нежели великому прозаику. Мигель Сервантес доступен неизмеримо больше, нежели мощный Камоэнс, и веселый рассказчик Бокассио более знаменит, нежели Торквато Тассо».

Но он же, милый Василий Жуковский, высказал твердую уверенность:

«Пушкин мнил себя лишь народным поэтом, национальным, русским певцом красоты и жизни... Пройдут годы и его имя станет родным для всех народов мира!»

Снова и снова переживал и продумывал Эдмон Дантес, как прихоть Судьбы, приведшей его в Россию почти недоброжелателем из-за почитаемого им Наполеона, вдруг словно мановением волшебной палочки превратила его почти в патриота России, настойчивого, до конца решительного мстителя за русского, праху которого он пришел сейчас поклониться!

Воистину неисповедимы пути ее — всемирной властительницы Судьбы!

За обедом все побывавшие у гроба Пушкина были задумчивы, молчаливы, как будто покойный находился где-то совсем недалеко, рядом, и всякая шумная шутка, смех или возглас могли оскорбить эту близость.

Один только старичок-отец, не уставая, негодующе повторял:

— Сколько раз говорил ему я: иди в дипломаты! По министерству иностранных дел иди служить! Если не министра добьешься, то посла непременно. Или как это у них называть принято — чрезвычайного и полномочного посла. Всю свою, увы, недолгую жизнь мечтал он о заграничных путешествиях — уж таково-то бы наездился в посольском ранге! И хоть бы какие помехи ему были — на трех языках говорил в совершенстве, помимо своего русского... И за француза, и за англичанина мог сойти, и даже за немца. И друг его по лицею Горчаков в персоны вышел — одного слова было бы довольно. Хочу, мол и все! Сейчас же были бы забыты все его юношеские шалости и провинности! Все его мальчишеское упрямство! Так нет — не желаю чиновником становиться...

Старик больше бормотал по-русски, видимо, начиная уже забывать французскую светскую речь, и Эдмону было трудно следить за его старческим шепотом.

Но услужливо-заботливый Гуренин старался переводить ему кое-что наиболее существенное из болтовни старца, и Эдмон мог теперь уже составить окончательное представление о характере великого поэта.

Да, да, он, конечно, не хотел стать государственным чиновником даже и самого высокого ранга. Это был признак настоящего служителя Муз — самоотверженного и преданного жреца Аполлона. Он был редактором и издателем одного из самых лучших альманахов России с красивым названием «Северные цветы». Даже Жуковский был по сравнению с ним не свободен, пусть и в высокой и почетной своей роли наставника цесаревича, «дофина» России.

Все наивное старание старика вызвать за обеденным столом сколько-нибудь заметное оживление (как же иначе, заграничные гости пожаловали) так и не увенчалось успехом. Не было ни тостов, ни братания, ни даже хотя бы какого-нибудь спора... Дыхание траура и печали все время висело над столом, и даже задорно шумевший самовар не мог побороть скорби, царившей в сельской усадьбе Пушкиных...

Теперь гостям предстоял путь до недалекой Риги.

Продолжение следует.

Слева направо: Евгений Новоселов, Дмитрий Трубин, Сергей Егоров.
Фото Виктора Коноплева.

ЕЛЕНА КАЗЬМИНА

Пока живет красота

Грустным и печальным, возвышенным и обыденным, нежно-беззащитным, а порой тревожно-обездоленным, но всегда добрым и красивым предстает Север с живописных полотен архангельских художников.

Они пишут его и бесплотно одухотворенным, и приземленно конкретным, и сказочно чудесиым. Пишут его дух и тело, небо и землю, ночь и день, небогатые пажити и прозрачные воды, загадочно-тенистые леса и добротно-деревянные дома, и одинокое дерево вдали... И каждый имеет свой взгляд, находит свой сюжет, свою мысль, свое вдохновение. Мир их красок и образов неотделим от земли, на которой онн живут. Она их опора и сила, их вечный непостижимый образ.

Русский Север! Свободолюбивый и богомольный, поморский и крестьянский, мастеровой и купеческий, былинный и песенный... К нему тянулись цари и богомольцы-странники, ученые и писатели, художники и актеры. Все, кто воочию стремился увидеть и постигнуть вольную народную жизнь, народный дух, веру, крепость, талантливость русского человека в самых зримых, чистых и сильных проявлениях.

Но та северная провинция Российской империи уже давно ушла в небытие. Ныне она иная — размытая, обезличенная, закованная в железобетон, полузадушенная промышленными предприятиями, разоренная и измученная... Как и сама Россия. Но, удивительное дело, не ставшая бесплодной. Истерзанная и уставшая, северная окраина попрежнему рождает и питает таланты, дает им силу и дарит вдохновение. И кто знает, может, именно ей суждено сказать свое высокое слово, создать новые художественные образы, и вновь, как и много веков назад, стать духовным и художественным центром Россни?

Пока же, именно здесь, в Архангельске, почти в одночасье, ибо в искусстве десять-двадцать лет — не время, пояаилась живопись удивительная — интеллектуальная, образная, аллегоричная, яркая, многоцветная. И художники — сколь талантливые, столь разные и самобытные. Кто-то из них —как Копылов, Сюхин, Шадрунов — понемногу завоевывают западно-европейский мир. Другие — как Егоров, Новоселов, Трубин, с которыми я и хочу вас познакомить, — еще не на виду, но уже на разного рода выставках мелькают их имена. Хотя, уверена, их безвестность недолгая. Слишком свой у каждого нз них — мир, взгляд, образы и краски. А путь в искусстве, не прямой и не простой, освящен преданной любовью к Северу, чистотой помыслов и духовным настроем.

Их пока считают художниками молодымн. Но нет, наверное, более условного и ложного понятия в нскусстве, чем молодость. Тридцать-сорок лет за плечами, десятки произведений, творческая и человеческая состоятельность, семья, дети, осознанное и осмысленное отношение к жизни и к себе — это, скорее, свидетельство зрелости. Впрочем, если относить к молодости свежесть и неординарность взгляда и бескомпромиссность в творчестве и жизни, то и Сергей Егоров, и Евгений Новоселов, и Дмитрий Трубин — молоды. Они — единомышленники в жизни и товарищи в творчестве. Наверное, без этого, без взаимной поддержки, доброго понимания и дружеского соперничества им пришлось бы труднее.

Они встретились много лет назад в студии Бориса Копылова. Первым пришел Егоров. От пышных брянских лесов, сытных полей и щедрого солнца, прельстившись в юности суровой романтикой моря, он, закончив Архангельскую мореходку, поплавав, к двадцати пяти годам окончательно разочаровался в «стихии дальних странствий». И, никогда толком не держа в руках кисть, просто в поисках себя самого, случайно забрел в художественную студию, к Копылову. Самодеятельная эта студия, обитавшая во Дворце культуры «Строитель», где вместе не учились рисованию и живописи, нет, а познавали и проникались искусством и дети, и взрослые, умеющие и неумеющие, потрясала и привлекала особой атмосферой всех, кто в нее попадал. «Искусство было нашей религией», — говорят ныне бывшие студийцы, многие из которых стали профессиональными художниками. Переживавший в ту пору трудиые времена, разруганный местной критикой и влвстями, Борис Копылов, ради хлеба насущного взявшийся вести художественную студию, находил в ней поддержку и утешение. Это не были отношения учителя и учеников, известного профессионального художника и неумех-любителей. Это были отношения товарищей, коллег, вместе служащих одному Богу — искусству. Мирские утехи и соблазны, все обыденное, суетиое, конъюнктурное и сиюминутное стоически презиралось и отвергалось ими. Утверждалась только одна идея праведного и чистого служения искусству. Искусство требует не только таланта, но и самоотречения, самоотверженности, преданности, убежденности в себе — это как главный закон жизни и творчества восприияли все студийцы, и за это поныне они не перестают быть благодарными Борису Копылову.

Может, крепкая студийная закваска и помогла Сергею Егорову не сломаться, не отступить от себя самого. Пятнадцать лет его картины почти не покидали стен мастерской. Только скудное северное солнце, он сам да близкие друзья замирали в задумчивости перед одухотворенно-суровыми ангелами и вестниками, стылыми небесами и нежными женскими ликами... Необычность его мироощущения, мучительная и светлая жизнь духа, вписанная в изысканную форму, долго не находила себе пристанища в искусстве. Только два года назад впервые одна из его работ оказалась на зональной выставке в Мурманске. А недавно два полотна — «Женский портрет» и «Вестник» — прнобрел Архангельский музей изобразительных искусств. И как удивительно вписались они в живописную северную традицию, небогатую на имена, но яркую и самобытную, — философско-созерцательную по своей глубинной сути.

Разбросанные по музейным залам величаво-умиротворенные, нежные пейзажи Борисова и Писахова, завораживающие торжественной гармонией неба, и тревожащие несовершенством человека полотна Копылова и Шадрунова приоткрывают особый мир мыслей и чувств, свойственный, быть может, лишь северянам. Мир этот, плотью и кровью связанный со скупой на ласку и тепло, но многолюбимой родной землей, всей душой своей, сдержанной и суровой, рвется ввысь, в бесконечный небесный простор. Трепетно ощущающий прелесть каждой неброской травинки, он блуждает мыслью во Вселенной. Он сдержан и страстен, несуетен, ярок, нежен и суров, этот северный мир. Как удалось его принять, постигнуть, объять умом и душой и запечатлеть Сергею Егорову, выросшему в теплых, радостножизнелюбивых брянских краях, среди иных нравов, взглядов, привычек и отношений, — остается только догадываться.

Приникнув к Северу душой, как к живительному роднику, он нашел в нем свою веру, религию, вдохновение. И где бы он ни был, он торопится «к себе», на Север, в Архангельск, в свою мастерскую. Она — его творческий дом. В отличие от своих друзей, он не бывает «на пленэре» и работает только в мастерской, порой неистово, не покидая ее неделями. Может написать большое полотно за день и «подправлять» его месяцами, а то и вовсе закрасить холст и начать новую картину. Друзья его — Новоселов и Трубин — сердятся и утверждают, что «в стремлении к недостижимому совершенству» Сергей свои работы только портит и лучше, как только высохнут краски, их у него отбирать. А Егоров пожимает плечами — где мера и кто знает, когда работа завершена?

Он не может объяснить, откуда к нему приходят образы в свой день и час... Его безжалостный «Вестник» пришел к нему спокойно-неведающему накануне тяжелого часа... Ои отбросил все дела и писал его не отрываясь. А через несколько дней узнал, что в Брянске умер самый дорогой и близкий ему человек — отец... Его несчастье роково совпало с другим, потрясшим мир землетрясением в Армении. А знамением горя стал «Вестник». Сейчас у него на станке тревожно-печальный «Белый ангел». Что он знаменует собой?..

Они любят собираться в мастерской у Жени Новоселова. Она добротно и рационально обустроена его умелыми руками. Забегает живущий неподалеку и работающий,

как смеются они, «художником-надомником» Трубин, выбирается из своей аскетично-неприбранной мастерской через стенку Егоров. Молчаливо гостеприимный Новоселов заваривает крепкий чай. Они встречаются часто, иногда накоротке, иногда подолгу. Обсуждают новости, и проблемы, и друг друга, балагурят, насмешничают. Никто из них внешне не похож на собственную живопись — вдумчивую, глубокую, серьезную. И при схожести взглядов, пристрастий, увлечений, никто из них не похож друг на друга.

Как и всякий коренной северянин, а родом он с верховий Двины, из Котласа, Дмитрий Трубин — человек спокойный, открытый, улыбчивый и рассудительный. Закончив, как и Сергей Егоров, Архангельскую мореходку, он очень вовремя сумел понять и признаться себе, что дело его жизни в другом, и пришел в студию Бориса Копылова... Так что к своим тридцати годам он немало успел. После студии поступил в Московский полиграфический институт и получил профессиональное образование у известных художников, много работающих в жанре графики — Андрея Васнецова и Мая Митурича. Поработал художником в Архангельском книжном издательстве и интересно и неожиданно проиллюстрировал около десятка книжек. Ушел из издательства и основательно и всерьез занялся живописью.

Его живопись — предмет самостоятельный, тонкий, многосложный, изменчивый. Она светла, лирична, образна, иногда аллегорична и... не случайна. Дмитрий считает, что ему повезло от рождения, и оттого легко как художнику, что живет еще вокруг богатейшая северная народная традиция — живописная, песенная, сказочная, архитектурная, которую он волей-неволей наследует. Поют еще звонкие и мудрые северные песни, любуются по-прежнему сочной, чистой, буйно-сказочной росписью с Северной Двины или Мезени, радуют и детей и взрослых загадочные каргопольские кентавры, читают по-доброму насмешливые сказки Писахова и эпические сказы Шергина... И разве может художник не впитать в себя этот мир, удивительно тонкий, умный, насмешливый, фантасмагоричный и яркий? Пусть даже восприняв его не впрямую, по-своему, до конца не подчиняясь и споря с ним...

Человек городской, Дмитрий Трубин смысл, красоту и гармонию жизни, по которым тоскует душа, ищет вдали от шумных улиц в вековых сурово-приветливых северных деревнях. Ижма ли, Едома ли, или облюбованная и приветившая его дальняя Топса — они влекут его строгой основательностью быта, суровым очарованием жизни чистой, трудовой, размеренной и добросердечной, неисчезнувшей доныне поэтичностью и сказочностью. И лето с этюдником в деревне неожиданно для него самого стало в последние годы жизненной и творческой потребностью. ...Таинственно-задумчивый лес и скудно-неброское поле, старинный крестьянский дом и летящий купол храма вдали, буйные краски летней поляны и печальное озерцо, и нежный женский силуэт на крыльце... Десятки его этюдов и картин — тонких, возвышенных, поэтичных — вместе становятся пронзительной и светлой песней о самоценности красоты, о еще не утраченном, но уже уходящем, добром, человечном, гармоничном мире. Мире, где человеку было уютно и ясно и куда он обязательно должен вернуться, ибо жить без красоты, добра и любви невозможно.

Странно, но ни у кого из них — ни у Егорова, ни у Трубина, ни у Новоселова — нет в живописи человека, живого, конкретного, от плоти и крови, но всюду присутствует его душа — нежная, любящая, страдающая. «Стол памяти» — назвал свою последнюю картину Евгений Новоселов. Есть еще «Старый дом» — они части будущего триптиха. Простые до обыденности, они стоят перед глазами, щемят сердце и волнуют душу. ...Дом, наверное, деревенский, крепкий, ладный, просторный, почернел от времени и горя. Не большая работящая семья, как когда-то, живет в нем ныне, а тоскливое одиночество. Стоит, занимая все пространство, огромный, тяжелый, на вековечную людскую жизнь рассчитанный стол. Но пуст он, только налитые до краев стаканы застыли в печали... По ком томится поминальная эта тишина? Может, по вычегодской северной деревне, дорогой, родной художнику, опустошенной и обезлюдевшей? По жизни полнокровной и могучей, которая текла здесь веками? По мужикам, мастеровым, надежным и веселым, сгинувшим в никуда? В картине есть печаль, но нет озлобленности. Есть правда, но нет жестокости, есть беда, но нет безнадежности. А иначе художник и не смог бы ее написать.

Человек цельный, устойчивый, родившийся и выросший в дальней северной деревне, преданно ее любящий, он верит и надеется на ее жизненную силу. И все свои настоящие и будущие творческие помыслы и устремления связывает с нею. Двенадцать лет назад, выдернутый с родной Вычегды армейской службой, обжившийся в Архангельске, Евгений Новоселов теперь торит дорогу назад. Нет реки прекрасней безудержной Вычегды и многоцветней ее берегов, утверждает он. Ни на Пинеге, ни на Мезени не найти таких чистых переливчатых красок пробуждающейся весенней земли. И такого яркого самоцветья зрелой осенью. Северная весна и осень, безыскусную прелесть которых он стремится уловить и запечатлеть, — его вечный сюжет и вдохновение. Со студийных времен Новоселов предан пейзажу, бесконечно изменчивому, непостижимому. На его полотнах — в предзакатных сумерках лес и белесо-линялое утреннее небо, хрупкий, посеребренный инеем куст и розовый, теплый вечер... Они неожиданны по цвету и колориту, как неожиданна непредсказуемая северная природа. Суровая и бесприютная для невосприимчивых душ и взоров, она щедра и ласкова к художнику и ко всем, кто ее щадит, любит, защищает и воспевает.

Всех их: и Егорова, и Трубина, и Новоселова — всегда упрекали за то, что они создают живопись якобы внесоциальную, вневременную, якобы далекую от реальной жизни, ее проблем, далекую от человека. Но они, воспитанные студией Бориса Ивановича Копылова — художника оригинального, большого, стояли и стоят на своем. Искусство — это прекрасное и вечное, гармония и свет, обращенные к людям. Искусство — это все, зовущее к любви, к поклонению всему живому, к пониманию величия и самоценности красоты.

Их взгляды на жизнь и на культуру не очень популярны ныне, когда вперед выведено «искусство социального разоблачения», схожее, скорее, со скандальными газетными публикациями, раздражающее, оскорбляющее, а порой и унижающее человека. А все, что показывает высоту человеческого духа, пробуждает добрые чувства, дает отдохновение душе и взлет мысли, злонамеренно отодвинуто на задний план. Но в мрачной, жестокой, безысходной сегодняшней нашей жизни нам никак не обойтись без искусства одухотворенного, доброго, созидающего. Иначе многое в самих себе мы потеряем. Кроме религии и искусства нет ведь иных сил, способных уберечь, охранить, смягчить душу человека, подарить ему надежду. И в этом беспощадном споре о смысле человеческой жизни, об идеалах и ценностях, который идет всюду, мне близка выстраданная и осознанная позиция архангельских художников. Своей живописью Сергей Егоров, Дмитрий Трубин и Евгений Новоселов утверждают, что жизнь и любовь, единение душ и природы существуют независимо от нас с вами. Об этом не стоит забывать, как и о том, что человек жив, пока живет красота.

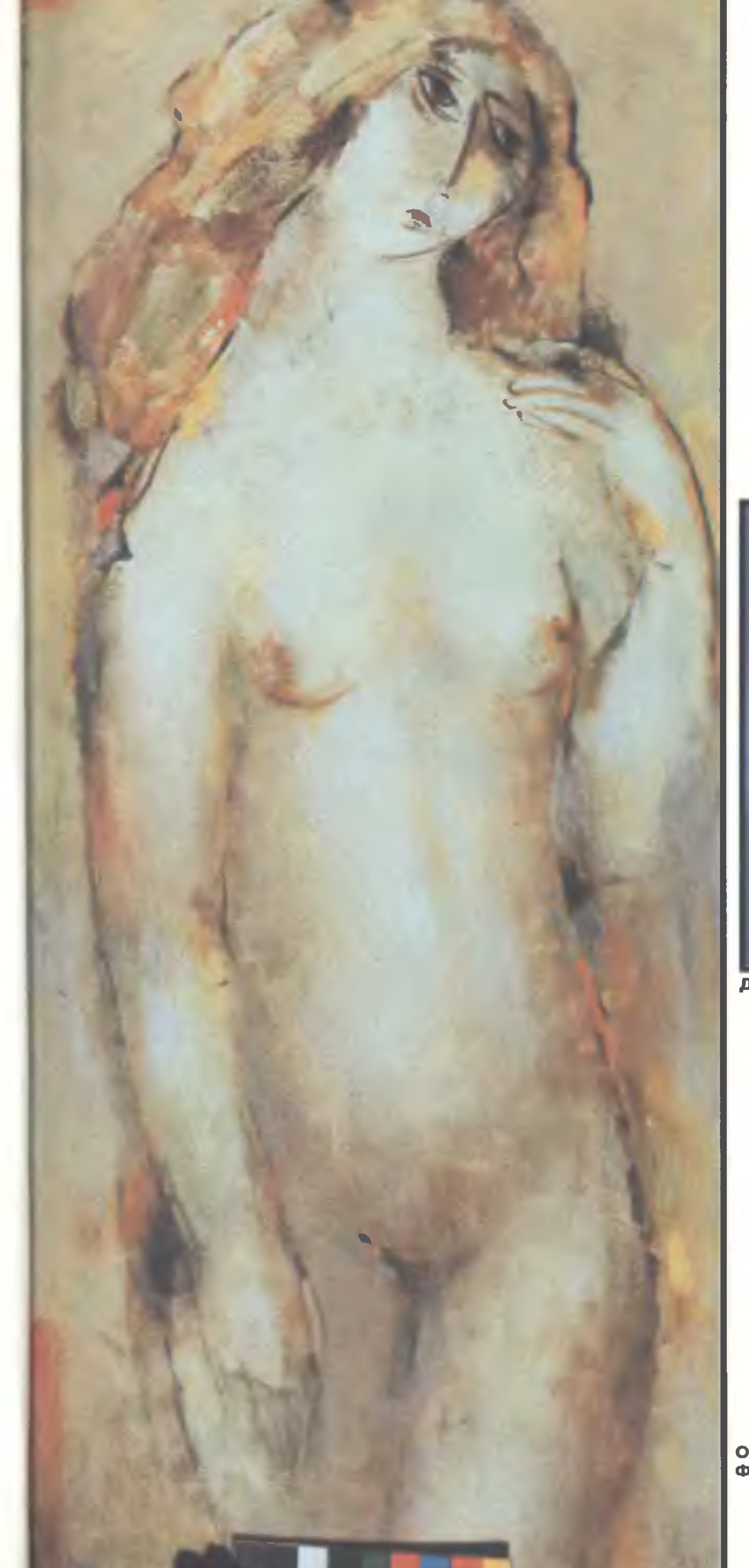
АРХАНГЕЛЬСК — МОСКВА

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ

Ангел.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ

Метаморфозы.



Диалог.

Обнаженная.
Фрагмент.

ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛОВ

Натюрморт.

Деревня Едома.

Стол памяти.
Фрагмент.

ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛОВ

Осенний пейзаж.

Деревья.

ДМИТРИЙ ТРУБИН

На повети. Бепая ночь.

Бокалы.

ДМИТРИЙ ТРУБИН

Архангел.

Вечер. Перед зеркалом. Фрагмент.

ЗАКОНЪ БОЖІЙ

Раздел первый

ГДЕ И КОГДА МОЖНО МОЛИТЬСЯ БОГУ

Молиться Богу можно везде, потому что Бог находится везде: и в доме, и в храме, и в пути.

Христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела.

Такая молитва называется домашнею или частною.

В воскресные и праздничные дни, а также и в будни, когда свободны от своих занятий, мы для молитвы должны ходить в храм Божий, куда собираются подобные нам христиане; там мы молимся сообща, все вместе.

Такая молитва называется общественною или церковною.

О ХРАМЕ

Храм («Церковь») есть особый дом, посвященный Богу — «Дом Божий», в котором совершаются богослужения. В храме пребывает особенная благодать, или милость Божия, которая подается нам через совершающих богослужение — священнослужителей (епископов и священников).

Наружный вид храма отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом возвышается купол, изображающий небо. Купол заканчивается вверху главою, на которой ставится крест, во славу главы Церкви — Иисуса Христа. Над входом в храм, обычно, строится колокольня, т. е. башня, на которой висят колокола. Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву — к богослужению я возвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы.

При входе в храм снаружи устраивается паперть (площадка, крыльцо). Внутри храм разделяется на три части: 1) притвор, 2) собственно храм, или средняя часть храма, где стоят молящиеся, и 3) алтарь, где совершаются священнослужителями богослужения и находится самое главное место во всем храме — святый престол, на котором совершается таинство святого причащения.

Алтарь отделяется от средней части храма иконостасом, состоящим из нескольких рядов икон и имеющим трое врат; средние врата называются царскими, потому что через них Сам Господь Иисус Христос, Царь славы, невидимо проходит в святых дарах (во святом причащении). Потому через царские врата никому не разрешается проходить, кроме священнослужителей.

Совершающееся по особому чину (порядку) в храме, во главе со священнослужителем, чтение и пение молитв называется богослужением.

Самое важное богослужение — литургия или обедня (она совершается до полудня), во время ее вспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство причащения, которое установил Сам Христос на Тайной Вечере.

Таинство причащения состоит в том, что в нем благодатью Божьей хлеб и вино освящаются — делаются истинным Телом и истинною Кровью Христовой, оставаясь по виду хлебом и вином, и мы под этим видом хлеба и вина принимаем истинное тело и истинную кровь Спасителя, чтобы войти в Царство Небесное и иметь вечную жизнь.

Так как храм есть великое святое место, где с особенной милостью, невидимо, присутствует Сам Бог, то поэтому мы должны входить в храм с молитвою и держать себя в храме тихо и благоговейно. Во время богослужения нельзя разговаривать, а тем более смеяться. Нельзя поворачиваться спиной к алтарю. Каждый должен стоять на своем месте и не переходить с одного места на другое. Только в случае нездоровья разрешается сесть и отдохнуть. Не следует уходить из храма до окончания богослужения.

Ко св. причастию нужно подходить спокойно и не спеша, скрестив руки на груди. После причастия поцеловать чашу, не крестясь, чтобы случайно не толкнуть ее.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

Священнослужители (т. е. особо посвященные люди, совершающие богослужения) — наши духовные отцы: епископы (архиерен) и священники (иерен) — осеняют нас крестным знамением. Такое осенение называется благословением.

Когда священник благословляет нас, это значит, что через священника благословляет нас Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому благословение священнослужителя мы должны принимать с благоговением.

Когда мы в храме слышим слова общего благословения: «мир всем» и другие, то в ответ на них должны поклониться, без крестного знамения. А чтобы получить отдельно для себя благословение от епископа или священника, нужно складывать руки крестом: правую на левую, ладонями вверх. Получив благословение, мы целуем руку, нас благословляющую, — целуем как бы невидимую руку Самого Христа Спасителя.

О СВЯТЫХ ИКОНАХ

В храме — а иконостасе и по стенам, и в доме — в переднем углу находятся святые иконы, перед которыми мы молимся.

Продолжение.
Начало в № 1/1991.

Иконою или образом называется изображение Самого Бога, или Божьей Матери, или ангелов, или святых угодников. Изображение это непременно освящается святой водой: через это освящение иконе сообщается благодать Святого Духа, и икона чтится уже нами как святая. Бывают иконы чудотворные, через которые пребывающая в них благодать Божья проявляется даже чудесами, например, исцеляет больных.

Сам Спаситель дал нам Свое изображение. Умывшись, он отер пречистый лик свой полотенцем и чудесно изобразил его на этом полотенце для больного князя Авгаря. Когда больной князь помолился перед этим нерукотворным изображением (образом) Спасителя, то исцелился от болезни своей.

Молясь перед иконой, мы должны помнить, что икона не Сам Бог или угодник Божий, а лишь изображение Бога или угодника Его. Поэтому не иконе мы должны молиться, в Богу или святому, который на ней изображен.

Святая икона есть то же, что священная книга: в священной книге мы благоговейно читаем Божии слова, а на святой иконе благоговейно созерцаем святые лики, которые, как и Божье слово, поднимают наш ум к Богу и Его святым и воспламеняют наше сердце любовью к нашему Творцу и Спасителю.

КАК ИЗОБРАЖАЕТСЯ БОГ НА СВЯТЫХ ИКОНАХ

Бог — Дух невидимый, но Он являлся святым людям видимым образом. Поэтому на иконах и изображаем Бога в том виде, в каком Он являлся.

Пресвятую Троицу мы изображаем в виде трех ангелов, сидящих за столом. Это потому, что в виде трех ангелов Господь явился некогда Аврааму. Чтобы нагляднее представить духовность явившихся Аврааму, мы изображаем их иногда с крыльями.

Каждое из Лиц Пресвятой Троицы отдельно изображается так: Бог Отец — в виде Старца, потому что Он так являлся некоторым пророкам.

Бог Сын изображается в том виде, каким Он был, когда для нашего спасения сошел на землю и сделался человеком: младенцем на руках у Божьей Матери; учащим народ и совершающим чудеса; преображающимся; страдающим на кресте; лежащим во гробе; воскресшим и вознесшимся.

Бог Дух Святый изображается в виде голубя: так он явил себя во время крещения Спасителя в Иордане от Иоанна Крестителя; и в виде огненных языков: так Он сошел видимым образом на святых апостолов в пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа.

КОГО, КРОМЕ БОГА, ИЗОБРАЖАЕМ НА СВЯТЫХ ИКОНАХ

Кроме Бога, мы изображаем на святых иконах Божию Матерь, святых ангелов и святых людей.

Но молиться им мы должны не как Богу, а как близким к Богу, угодившим Ему своею святою жизнью. Они по любви к нам молятся за нас перед Богом. И мы должны просить их помощи и заступления, потому что Господь ради них скорее услышит и наши грешные молитвы.

Достойно внимания, что образ Божией Матери, написанный учеником Господа Лукою, сохранился до нашего времени. Есть предание, что Матерь Божия, увидя Свое изображение, сказала: «Благодать Сына Моего будет с этой иконою». Мы молимся Матери Божией, потому что Она ближе всех к Богу и вместе с тем близка так же к нам. Ради Ея материнской любви и Ея молитв, Бог много нам прощает и во многом помогает. Она великая и милосердная заступница за всех нас!

О СВЯТЫХ АНГЕЛАХ

В начале, когда еще не было ни мира, ни человека, Бог сотворил святых ангелов.

Ангелы — духи бестелесные (потому невидимые) и бессмертные, как и наши души; но их Бог одарил более высокими силами и способностями, чем человека. Ум их совершеннее нашего. Они всегда исполняют волю Божию, они безгрешны, и теперь благодатью Божией так утвердились в делании добра, что и грешить не могут.

Много раз ангелы являлись видимым образом, принимая на себя телесный вид, когда их Бог посылал к людям сказать или возвестить Свою волю. И слово «ангел» означает «вестник».

Каждому христианину Бог дает при крещении ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека во всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов, оберегает в страшный час смерти, не оставляет и по смерти.

Ангелы изображаются на иконах в виде красивых юношей, в знак их духовной красоты. Их крылья означают, что они быстро исполняют волю Божию.

О СВЯТЫХ ЛЮДЯХ

На иконах мы изображаем также и святых людей или угодников Божиих. Так мы их называем потому, что они, живя на земле, угодили Богу своею праведною жизнью. А теперь, пребывая на небе с Богом, они молятся о нас Богу, помогая нам, живущим на земле.

Святые имеют разные названия: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, бессребреники, блаженные и праведные.

Пророками мы называем тех святых Божиих, которые по внушению Святого Духа предсказывали будущее и преимущественно о Спасителе; они жили до пришествия Спасителя на землю.

Апостолы — это ближайшие ученики Иисуса Христа, которых Он во время Своей Земной жизни посылал на проповедь; а после сошествия на них Святого Духа они проповедовали по всем странам христианскую веру. Их было сначала двенадцать, а потом еще семьдесят.

Двое из апостолов, Петр и Павел, называются Первоверховными, так как они больше других потрудились в проповеди Христовой веры.

Четыре Апостола: Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов, написавшие Евангелие, — называются Евангелистами.

Святые, которые подобно Апостолам распространяли веру Христову в разных местах, называются равноапостольными, как, например: Мария Магдалина, первомученица Фекла, благоверные цари Константин

и Елена, благоверный князь Российский Владимир, св. Нина, просветительница Грузии и др.

Мученики — те христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли жестокие мучения и даже смерть. Если же после перенесенных ими мучений они скончались мирно, то их мы называем исповедниками.

Первые пострадавшие за Христову веру были: архидиакон Стефан и св. Фекла, и потому они называются первомучениками.

Умершие за святую веру после особенно тяжелых (великих) страданий, каким подвергались не все мученики, называются великомучениками, как, например: св. великомученик Георгий; святые великомученицы Варвара и Екатерина и другие.

Исповедники, которым мучители писали на лице хульные слова, называются начертанными.

Святители — епископы или архиереи, угодившие Богу своею праведною жизнью, как, например: святой Николай Чудотворец, св. Алексий, митрополит московский и др.

Святители, претерпевшие мучения за Христа, называются священномучениками.

Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст называются вселенскими учителями, то есть учителями всей христианской Церкви.

Преподобные — праведные люди, которые удалялись от мирской жизни в обществе и угодили Богу, пребывая в девстве (т. е. не вступая в брак), посте и молитве, живя в пустынях и монастырях, как, например: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, преподобная Анастасия и другие.

Преподобные, которые претерпели мучения за Христа, называются преподобномучениками.

Бессребреники служили ближним безвозмездным врачеванием болезней, т. е. без всякой платы исцеляли болезни, как телесные, так и душевные, как, например: Косма и Дамиан, великомученик и целитель Пантелеймон и другие.

Праведные проводили праведную, угодную Богу жизнь, живя подобно нам в миру, будучи семейными людьми, как например, св. праведные Иоаким и Анна и др.

Первые праведники на земле: родоначальники (патриархи) человеческого рода, называются праотцами, как, например: Адам, Ной, Авраам и др.

О НИМБАХ НА ИКОНАХ

Вокруг головы Спасителя, Божией матери и святых угодников и угодниц Божиих на иконах и картинах изображается сияние или светлый кружок, который называется нимб.

Нимб есть изображение сияния света и славы Божией, которая преображает и человека, соединившегося с Богом.

Это невидимое сияние света Божия иногда бывает видимо и другим людям.

Так, например, св. пророк Моисей должен был закрывать лицо свое покрывалом, чтобы не ослеплять людей светом, исходящим от лица его.

Так и лицо преподобного Серафима Саровского, во время беседы с Мотовиловым о стяжании Духа Святого, просияло как солнце. Сам Мотовилов пишет, что ему невозможно тогда было смотреть на лицо преподобного Серафима.

Так Господь прославляет святых угодников Своих сиянием света славы Своей еще здесь на земле.

ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМСЯ ПРАВОСЛАВНЫМИ ХРИСТИАНАМИ

Мы называемся православными христианами, потому что веруем в Господа нашего Иисуса Христа; веруем так, как изложено в «Символе Веры», и принадлежим к основанной самим Спасителем на земле Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, которая под руководством Духа Святого неизменно правильно и славно сохраняет учение Иисуса Христа, то есть принадлежим к Православной, Христовой Церкви.

Все остальные христиане, которые исповедуют веру во Христа неодинаково со святой Православной Церковью, не принадлежат к ней. К ним относятся: католики (римско-католическая церковь), протестанты (лютеране), баптисты и другие сектанты.

Раздел второй
ИГУМЕН ФИЛАРЕТ

Но вот — человек впал в грех. Упреки совести звучат громко и ясно, вызывая у неиспорченного еще человека лишь резкое отвращение к данному греху. Исчезает прежняя самоуверенность, и человек смиряется (ср. Ап. Петра до и после отречения). Но и здесь еще победа над грехом не столь трудна, на что указывают многочисленные примеры (того же Ап. Петра, Св. Царя и Пророка Давида и других покаявшихся грешников).

Труднее бороться с грехом — тогда, когда он чрез частое повторение обратится у человека в привычку. После приобретения вообще всякой привычки привычные действия совершаются человеком очень легко, почти незаметно для него — сами собою. А поэтому и борьба с грехом, который стал для человека привычным, очень трудна, т. к. ему трудно уже не только преодолеть себя, но и уследить, заметить приближение греха.

Еще более опасной стадией греха является порок. В этом случае грех настолько владеет человеком, что сковывает волю его как бы цепями. Человек здесь уже почти бессилен бороться с собой и является рабом греха, хотя сознает его вредоносность и в минуты просветления, быть может, ненавидит его от всей душ (таков, напр., порок пьянства, наркомании и ему подобные). Здесь без особой милости и помощи Божией человек уже не может справиться с собою и нуждается и в молитве, и в духовной поддержке других. Нужно при этом помнить, что даже любой мелкий грех, напр. болтовня, любовь к нарядам, пустым развлечениям и т. д., может сделаться у человека пороком, если он совсем овладеет им, и заполнит собой его душу.

Высшею степенью греха, на которой он уже совсем порабощает себе человека, является страсть того или иного греховного типа. В этом состоянии человек уже не может ненавидеть свой грех, как в пороке (в этом разница между ними), но подчиняется греху во всех своих переживаниях, действиях и настроениях (срав. Плюшкина из «Мертвых душ»

или Федора Карамазова из «Братьев Карамазовых», также — сребролюбца Иуду Искариота). Здесь человек прямо и буквально пускает (как и сказано про Иуду в Св. Евангелии) сатану в свое сердце, и в этом состоянии кроме благодатной церковной молитвы и воздействия — ничто ему не поможет.

Но есть еще один особый, ужаснейший и погибельный род греха. Это — смертный грех. Человеку, находящемуся в состоянии такого греха, не поможет даже и церковная молитва! Об этом прямо говорит Ап. Иоанн Богослов (1 посл. Иоанна, V гл. 16 ст.), когда он, призывая нас молиться за согрешающего брата, прямо указывает на бесполезность молитвы за непрощаемого грешника...

Сам Господь И. Христос об этом грехе говорит, что этот грех — хула на Духа Святаго — не отпустится, не простится людям ни в сем веке, ни в будущем. Эти грозные слова Он произнес против фарисеев, которые ясно видели, что Он все творит по воле Божией и силою Божией — и однако ожесточенно извращали истину, клеветнически утверждая, будто бы Он действовал силой злого, нечистого духа. Они погибли в своем богохульстве — и этот пример их поучителен и грозен для всех тех, кто грешит смертным грехом — упорным и сознательным противлением несомненной истине, а поэтому и хулой на Духа Истины — Святаго Духа Божия... Необходимо заметить то, что даже хула на самого Г. И. Христа может быть прощена человеку (по Его же словам), т. к. она может быть совершена по неведению или временному ослеплению. Хула же на Св. Духа может быть, по учению св. Афанасия Великого, прощена только тогда, когда человек прекратит ее раскаявшись, но — увы — этого обычно не бывает, т. к. самый род, самый характер греха таков, что делает для человека почти невозможным возврат к истине. Ослепленный может прозреть и возлюбить открывшуюся ему истину, загрязненный пороками и страстями может омыться покаянием и сделаться исповедником истины, — но кто и что может изменить хулителя, видевшего и знавшего истину и упорно отрицавшему и возненавидевшему ее?! Это ужасное состояние — подобно состоянию диавола, который верует в Бога, и трепещет, и однако, ненавидит Его, хулит Его и противится Ему...

Когда пред человеком предстает соблазн, искушение греха, то исходит обычно это искушение из трех источников: от собственной плоти человека, от мира и от диавола.

Что касается плоти человека, — то совершенно несомненно, что она во многих отношениях является гнездилищем, источником противонравственных предрасположений, стремлений и влечений. Прародительский грех — это печальная общая наша склонность к греху, наследственность от грехов наших предков и наши личные греховные падения — все это, суммируясь и взаимно усиливаясь, и создадет в нашей плоти источник искушений, греховных настроений и поступков.

Еще чаще источником соблазна является для нас окружающий нас мир, который, по слову ап. И. Богослова, «весь во зле лежит» (1 Иоан. V, 19) и дружба с которым, по слову другого апостола, есть вражда с Богом (Иак, IV, 4). Соблазняет окружающая среда, окружающие нас люди (в особенности, намеренные, сознательные соблазнители и развратители молодежи, о которых Господь сказал, «что если кто соблазнит одного из малых — лучше ему, если бы повесили ему мельничный жернов на шею, и утопили бы в пучине морской»...). Соблазняют внешние блага, богатство, комфорт, безнравственные танцы, грязная литература, бесстыдные «наряды» и т. д. — все это, безусловно, смрадный источник греха и соблазна...

Но главным и коренным источником греха является, конечно, диавол — тот, о ком ап. Иоанн Богослов сказал: «Творяй грех, от диавола есть, яко исперва диавол согрешает» (1 Иоан. III, 8). Борясь с Богом и Его правдой — диавол борется и с людьми, стремясь погубить каждого из нас. Особенно явно, зло, в непосредственно — лично — боролся он со святыми (даже дерзнул искушать самого Г. И. Христа), как мы видим в Евангелии и в житиях святых. Нас — немощных и слабых — Господь ограждает Своею силою от тех лютых искушений, которым подвергались от диавола сильные духом угодники Божии. Однако и нас он не оставляет без внимания, действуя через соблазны мира и плоти, делая их более сильными и заманчивыми, а также искушая разного рода греховными мыслями. (В последние же годы его злое влияние помимо всего прочего в особенности сказывается в эпидемиях разного рода самоубийств...) Поэтому ап. Петр диавола сравнивает с рыкающим львом, который ходит вокруг нас «ища кого поглотить»... (1 Петра V, 8).

ГЛАВА III

Христианская добродетель. Нравственный характер. Жизнь христианина, как борьба и подвиг. Необходимость духовного бодрствования.

Полною противоположностью греху является добродетель. Зачатки ее находятся в каждом человеке — как остатки того естественного добра, которое было вложено в природу человека его Творцом. Но в чистом и совершенном виде она может быть только в христианстве, так как Христос Спаситель сказал: «Без Мене не можете творити ничесоже» — без Меня не можете делать ничего (истинно доброго...).

Христианство учит нас тому, что земная жизнь человека есть время подвига, время приготовления человека к будущей вечной жизни. Следовательно, — задача земной жизни человека заключается в том, чтобы должным образом приготовиться к грядущей вечности. Скоротечна земная жизнь — и не повторяется она, ибо один раз живет человек на земле. А потому — в этой земной жизни должен он трудиться в делах добродетели, если не хочет он погубить душу свою, ибо именно этих дел, добра, потребует от него Правда Божия на пороге вечности.

Продолжение в следующем номере.

Тексты публикуются по изданиям: раздел первый — Закон Божий. Составил Серафим Слободской. Джорданвилль, 1967; раздел второй — Игумен Филарет. Конспект по Закону Божию. Харбин, 1936.

Публикацию подготовил писатель Евгений Чернов.

Коренная Пустынь

Коренная Пустынь (будем так для краткости именовать этот монастырь) — место уникальное не только в Курской земле, но и во всей России и даже в мире. Достаточно сказать, что не только в нашем Отечестве, но и в католических странах, где так любят различные процессии, не было никогда столь грандиозных крестных ходов, какие совершались в недавнем прошлом с Курской Коренной Знаменской иконой Богоматери из Курска в Коренную Пустынь и обратно. Без малого 700 лет, с конца XIII в. по сей день, струится в Коренной чудотворный источник, питающий своими благодатными струями верующих людей. Многие поколения наших предков черпали отсюда силы для жизни, творчества, созидания родной земли, борьбы с ее врагами, преодоления скорбей и бедствий. Таким же благодатным, но только духовным источником для людей стала главная святыня Курского края и одна из самых чтимых святынь России — Коренная икона Знамения Пресвятой Богородицы. Благодаря этой иконе, началось в конце XVI в. возрождение г. Курска и Курской области, которая через ту же икону оказалась связанной многими нитями с важнейшими событиями общероссийской истории и была прославлена сперва по всей нашей Родине, а теперь и по всему миру...

Известно, что в настоящее время Курский Архиепископ Ювеналий хлопочет о передаче Коренной Пустыни (точнее — части бывшей Пустыни) в ведение Церкви. При этом он предусматривает некоторые важные гражданские задачи, а именно: в Коренной можно будет иметь «дом милосердия», по-старинному — богадельню или для одиноких престарелых служителей Курской епархии, так и для всех тех инвалидов, которые пожелают там поселиться и жить. Им гарантируется медицинская помощь и должный уход за счет Церкви. Если это почему-либо неприемлемо для местных властей, то можно поставить дело иначе, то есть так, что Коренная Пустынь возьмет на себя материальное содержание одного из домов для престарелых или будет оказывать материальную помощь нескольким таким домам.

Ныне на территории бывшей Коренной Пустыни проживают несколько семей. Епархия готова участвовать в предоставлении им гос. жил. площади в размере 30% стоимости будущего жилья. Профтехучилище, которое там ныне размещается, само давно жаждет оттуда выехать и получить новые, нормальные здания.

Да наступит новый день Коренной Пустыни!

Протоиерей ЛЕВ ЛЕБЕДЕВ
Фоторепортаж ПАВЛА КРИВЦОВА.
Сентябрь 1990 г.

Коренная Пустынь

Письма о Солженицыне

Роман Александра Исаевича Солженицына «В круге первом» был написан в год моего рождения — 1957-м. Но я и многие мои ровесники выросли, сформировались, переформировались в отсутствие слова Солженицына. Нашими кумирами были другие — в детстве Дюма, Уэллс, затем тоже иноязычные — Хемингуэй, Ремарк. Полутайно мы считали себя потерянным поколением, хотя, может, логичнее было бы сказать «обворованное поколение»?

Мы довольствовались крохами. Мы выросли, учась читать между строк, за строками, угадывать, что кроется за иероглифом (...). Тем более все это относилось к нам, русскоязычным, выросшим в отрыве от центров русской неофициальной литературы.

Правда, хотя мое поколение не захватило «Один день Ивана Денисовича», отсутствие Солженицына в нашей жизни не было полным. Это имя витало, как легенда. Может, для кого-то и полукриминальная, освещенная обаянием запретного.

Названия его романов, какие-то отрывки из его произведений просачивались сквозь треск и змеиное шипение радиозаглушки. Одним из устойчивых воспоминаний моего позднего детства было чудом выслушанное от начала до конца чтение главы-новеллы «Улыбка Будды» (очевидно, по радиостанции «Свобода»).

И вот внезапно он хлынул, как водопад с небес. Как описать впечатление от этого извержения? Ошеломительное, обновляющее, отрезвляющее. Вызывающее восторг и скорбь, обнадеживающее или, наоборот, подводящее к бездне отчаяния? Все это, и еще, конечно, многое такое, на первый взгляд, противоположное, есть у Солженицына. Он перестраивает способ мышления своего читателя. Он перестраивает мир вокруг, в нем, до того плоском, появляется глубина и высота.

Я не отношу себя к тем, кто ничего не знал о не нанесенном на карту архипелаге, я имела представление о нем не книжное. Но чтение двух произведений Солженицына (очень верно вышедших у нас первыми — «Архипелага ГУЛАГ» и «В круге первом») было захватывающе, всепоглощающе новым, освежающим, открывающим не только глаза и уши, но и сердце, сам мозг, до того словно спеленутый.

Другими глазами смотришь сейчас на многое старое, из прошлой жизни, и удивляешься — как можно было не изумляться, не возмущаться.

В седьмом номере «Слова» («Освобождение Бунина») приводится отрывок из поистине набившей оскомину статьи Ленина о Льве Толстом. Может, именно потому, что эта статья, как и все, что подлежало вызубриванию, не задерживала на себе ни на миг осознанного, вдумчивого внимания. Мы могли читать слова, где Толстого называют «истасканным, истеричным хлюпиком», и не видеть очевидного — их вопиющего саморазоблачительного смысла.

Да, в нас, отнюдь не «ортодоксах» (что вы, наоборот!), было так много забившей глаза идеологизированной шелухи. Щепки и опилки вырубленного лесного массива застряли в наших глазах, ушах, сердцах и мозгах. Мы их не ощущали. Даже те из нас, кто искренне пытался быть независимым от официальной идеологии.

Прочищающие взгляд книги Солженицына написаны и языком необыкновенным, чудесным, своеобразным, ярким, точным, лаконичным. Солженицын создал свое, ни на что не похожее, безошибочно узнаваемое слово. Его стиль, по-моему, имеет самодостаточную ценность. Процесс чтения солженицынских слов, процесс движения за его мыслью — сам по себе доставляет наслаждение.

Еще одно, что было для меня поразительным (в «Архипелаге ГУЛАГ») — это беспощадно правдивое отношение писателя к себе. Я такого не встречала ни у кого, а у меня много любимых писателей.

Солженицын, развивая какую-то мысль, всегда учитывает и антитезу, мысль его всегда не на полюсе (черном или белом), а посередине, вернее, протянута между ними.

«Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. (Так-то оно так, но если и сухаря нет?...)»

«...Я достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: — Благословляю, тебя, тюрьма, что ты была в моей жизни. (А из могил мне отвечают: Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!)»

«Архипелаг ГУЛАГ» — это противоядие к болезни безразличия, бессилия, опускания рук. Какой смысл возражать, протестовать, если это ничего не даст, если никто не поддержит, никто не поймет, не узнает? Есть смысл — отвечает Солженицын. Есть! Кто-нибудь да запомнит.

Пусть безымянный, твой поступок кто-нибудь повторит, расскажет о нем, восхитится.

Н. АНИСОНЯН

ТБИЛИСИ

●

Еще совсем недавно о Солженицыне можно было отзываться так: «... империалистическая пропаганда объявляет весьма посредственного литератора «великим писателем», а его произведения «эпохальными» лишь потому, что в них исповедуется политика буржуазии — политика антикоммунизма и антисоветизма. Достаточно вспомнить шум вокруг писаний Солженицына и других диссидентов»; «... история с Солженицыным довольна поучительна — провалилась еще одна попытка буржуазной пропаганды погреть руки на антисоветчине злобного пасквилянта» (И. Т. Крук. Литература и идеологическая борьба. Книга для учителя. — Киев: Радянська школа, 1988).

Недоброжелателей у Солженицына и теперь хватает, но, во всяком случае, «посредственным литератором» его больше никто не называет и в таланте не отказывает.

Бесспорно талантливы — а также тематически разнообразны — и «Четыре рассказа», помещенные в журнале «Дружба народов» (№ 1, 1990). Одни из них — «Правая кисть», «Как жаль» — написаны, подобно роману «В круге первом», языком более литературным, другие — более близким к народному, тем неповторимым солженицынским слогом, благодаря которому когда-то я, включив на середине передачи радио — увы, не наше, — угадывал автора с нескольких строк. И напрасно проф. Н. Н. Яковлев в своей печально известной книге «ЦРУ против СССР» утверждал, что Солженицын-стилист — всего лишь подражатель С. Н. Сергеева-Ценского.

Как у всякого писателя, есть у Солженицына излюбленные темы, которые он варьирует и развивает. Так, рассказ «Пасхальный крестный ход» примыкает к «крохотке» «Путешествуя вдоль Оки», «Правая кисть» — к повести «Раковый корпус» (по словам Натальи Решетовской, об этом рассказе Александр Твардовский заметил: «Это страшнее всего, что вы написали»). «Как жаль» — эпизод, достойный «Архипелага ГУЛАГ» (он, собственно, и приведен там).

Особняком стоит один из самых знаменитых рассказов писателя «Захар-Калита». Он уже был опубликован в «Новом мире» в 1966 году и оказался последним произведением Солженицына в советской печати перед перерывом чуть не в четверть века. Конечно, герой рассказа — небритый, обтрепанный, похожий на разбойника — мало напоминает стопроцентно положительного героя соцреализма, но именно подвижника Захара именует автор Духом Куликова Поля. «И хотелось, — признается Солженицын, — куликовскую битву понимать в ее цельности и необратимости, отмахнуться

от скрипучих оговорок летописцев: что все это было не так сразу, не так просто, что история возвращалась петлями, возвращалась и душила». И все же, как честный художник, не отмахивается... Повод задуматься тем, кто обвиняет писателя в односторонности, необъективности.

ВАЛЕРИЙ ВОРОНЦОВ

ТОЛЬЯТТИ

●

Почти 17 лет прошло со времени высылки и лишения гражданства А. И. Солженицына. И это преступление легло новой раной на тело России. Но это преступление не только и не столько против Писателя, но против всей нации, преступление против памяти нашей и духовной свободы. «Нам нанесено уродств, язв и ран гораздо глубже, чем только политических, и излечение от них лежит не на путях политики». Эти слова Солженицына, обращенные к Т. Ходорович и М. Ланда в ответ на согласие после ареста А. Гинзбурга возглавить Русский общественный фонд, образованный из гонораров за книгу «Архипелаг ГУЛАГ», обращены ко всем нам и многое объясняют. Он призывает нас к духовному возрождению, к нравственному очищению, к освобождению через личное неучастие во лжи: «Невыносима не сама авторитарность, но — навязываемая повседневная идеологическая ложь» (из «Письма вождям»). Он один из первых заговорил о гласности, один из первых наметил пути излечения страны от страшной болезни. Сегодня общество переходит границу страха и лжи, выходит на дорогу, намеченную им вчера: «Гласность, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезни, а загнать их внутрь, чтобы они гнили там» (из «Открытого письма Секретариату Союза писателей РСФСР»).

Солженицын, как и всякий большой писатель, очень многогранен: художник, публицист, философ, правозащитник, историк... О каждой стороне его жизни и творчества могут быть написаны книги. В своем небольшом письме в журнал «Слово» я хочу остановиться на философско-публицистическом аспекте его творчества, столь ярко и страстно обращенного к нравственным категориям. Такие люди как Солженицын, Сахаров, Марченко, Огурцов, жертвуя своим благополучием, в самые «застойные» годы делали воздух в нашей стране чище, вселяли надежду, что нация не погибла, не давали сгнить...

Я держу в руках серую книгу карманного формата, изданную в 1975 году в Париже, еще недоступную широко нашему читателю и так необходимую нам сейчас. Это «Бодался теленок с дубом» — очерки литературной жизни, книга — исповедь, как и все его произведения, книга о литературе и борьбе за право распрямиться, жить не по лжи, не «лицемерить больше никогда и ни перед кем», книга о преодолении «жесткой и трусливой потаенности, от которой все беды нашей страны».

Солженицын бросил вызов тоталитарному государству, античеловечной идеологии, сеющей ненависть и бездуховность, — и победил, хотя и отброшен был в Европу, а потом в Америку. Против слова правители пытались бороться не словом, а такая борьба всегда обречена на поражение. «Художественная литература — один из самых высоких даров, из самых тонких и совершенных инструментов человека, — говорил он в одном из интервью 1972 г. — Возбуждать против нее уголовное дело могут только те, кто сами уголовники, кто уже решился стать за чертой человечества и человеческой природы». Но как месть за опубликование «Архипелага ГУЛАГ» его схватили, обвинили в измене родине, оболгали и выслали из страны, в которой он родился, которую он защищал на войне, для которой он работал. Еще в 1967 г. на заседании Секретариата Союза писателей СССР он сказал: «Под моими подошвами всю мою жизнь земля отечества. Только ее боль я слышу, только о ней пишу...» Но гонители и хулители с партийными билетами не прислушались в погоне за материальными для себя благами к голосу разума, сочтя, что на «самую могущественную в мире Силу не может воздействовать уверенный в себе Дух».

И на Западе, куда грубая и глупая власть выбросила его со скрученными руками, Солженицын продолжал, как огненный Аввакум, обличать бездуховность и «рабское служение приятным, удобным материальным вещам», видя главную опасность в социалистическом учении и утрате христианских ценностей. «Социалистическая демократия бессмысленна, как ледяной кипяток, — спорил он с западными интеллектуалами в своей речи, переданной по Би-Би-Си в марте 1976 г. — Именно демократию-то социализм стремится проглотить, демократию все более ослабленную, все более стиснутую на двух неполных материках, тогда как вся планета наливается силами тирании... Мы, угнетенные русские и угнетенные восточные европейцы, с болью смотрим на катастрофическое ослабление Европы. Мы протягиваем вам опыт наших страданий. Мы хотели бы, чтобы вы переняли его, не платя той непомерной ценой — смертями и рабством, как заплатили мы». Он не уставал объяснять, что Архипелаг ГУЛАГ — не азиатское извращение высокой идеи, но неизбежный закон при попытках внедрить коммунистическую утопию в жизнь, что социалистические учения — не рывок прогрессивной мысли, но реакция: реакция Платона на афинскую демократию, реакция гностиков на христианство, реакция от динамичного мира индивидуальностей вернуться к безликим коснеющим системам древности.

Нет возможности в столь малом объеме поговорить о художественных особенностях творчества Солженицына, о столь любимом им эллиптическом синтаксисе, о полифонии его романов, о методе сжатия событий во времени, об обновленном словаре. Отметим лишь: что бы о нем ни говорили его друзья или враги, перед нами, как писала Дора Штурман, религиозный моралист, либерал в классическом смысле этого слова и убежденный центрист в политике. Всей своей сущностью он обращен не к партиям, расам или сословиям, а непосредственно к человеческому сердцу, и трагическая эпоха, которую мы пережили, протекала под его знаком и, хотим мы этого или не хотим, будет названа его именем. Ну а что касается будущего, то: «Я никогда не сомневался, что правда вернется к моему народу. Я верю в наше раскаяние, в наше душевное очищение, в национальное возрождение России». Это было написано 2 февраля 1974 г., и нам лишь остается удивляться силе его предвидения.

А. БАЛИХИН

МОСКВА

●

Прочитал в седьмом номере журнала за 1990 год письма о Солженицыне и не смог удержаться, чтобы не написать.

Одно бесспорно, Солженицын — это пророк. Пророк, вместивший в себя целую эпоху, судьбы многих людей. Чтобы понять произведения А. И. Солженицына, нужно иметь такую же судьбу, какую имел автор, при этом не замыкаться в самом себе, но иметь широкие взгляды на жизнь, на окружающие реалии. Многие ныне читают Солженицына лишь потому, что это модно. Но позвольте, разве могут быть модными произведения Александра Исаевича, равно как произведения Достоевского, Гоголя, Пушкина или святая святых — Библия? Ведь само слово «мода» означает нечто проходящее, сменяющееся новым. Великое не может быть модным. И давайте не будем поднимать ажиотаж вокруг произведений Солженицына. Великие произведения не нуждаются в какой бы то ни было рекламе.

Работы Солженицына — это наша общая правда, правда горькая, страшная, правда без облепивших нас со всех сторон стереотипов, правда многосложная. Наш долг, чтобы эта правда не зарубцевалась, не стерлась из памяти будущих поколений, не кануло в Лету, а, как открытая рана, напоминала о себе постоянно. Чтобы каждое новое поколение смотрело на эту рану и ужасалось. Ужасалось ужасом, который только прибавлял бы сил в борьбе за правду, демократию, права человека, что на сегодняшний день далеко еще не видно. Чтобы, глядя посредством произведений А. И. Солженицына на ложь, на страх, на зло, в котором жили наши предки, — будущие поколения только укреплялись в любви к ближним. Очень хочется, чтобы будущие писатели, которые, возможно, еще не родились на свет, — читая произведения к тому времени уже великого русского классика, — радовались, что им уже не придется писать подобного на основе личных впечатлений.

Д. В. КРАСЮКОВ

БИРОБИДЖАН

●

«В круге первом» — моя первая встреча с А. И. Солженицыным. Время потрудилось за меня, еще раньше изваяв о нем не мое мнение, перемешанное на политической посылке, слухах, отрицании инакомыслия. Признаюсь, в последний год я влюблена совсем в другого. Это — В. В. Набоков — блистательный, надменный и одинокий среди изгнанных пророков своего отечества.

Почему так тяжело живется читателю в русской литературе? Потому, что она сама тяжелая. В. В. Набоков счастливо редко соединил в себе нашу русскую душу с легким изяществом европейского стиля. Какая радость, что он есть! Он успел прийти к нам, еще живущим сегодня. Какова же радость для А. И. Солженицына успеть вернуться живым к нам! Но он — совсем другое. В романе автор беспощаден, суров. Предельное знание предмета. Экономно-ироничный (иногда просто скупой) слог. Почти нет «проходных» слов. А. И. Солженицына можно ценить, а В. В. Набоковым еще и наслаждаться! Писатель, в котором есть поэт, всегда больше, чем просто писатель.

«Суровый Дант» наметил для нас с вами 9 кругов на пути обретения истины и покоя, поместив в первый — для избранных — своего друга, поэта и проводника Вергилия, как язычника. (Во времена Вергилия институт Бога еще не существовал.)

Мы, такие материальные, сегодня, как никогда, страдаем от духовной жажды. И уже оценили радость общения по духу. Смотрите, как мы стремительно выносимся к религиозным ценностям добра, очищения. Ирония пусть отступит, а в конце горечи нас встретит чистый дух, обогащенный долгим страданием.

Слово, слог, стиль, язык — душа сюжета (а на первый взгляд — только инструменты для построения его). Хороший стиль согревает процесс чтения, дурной — отталкивает. Борьба за слово, строгая и бережная, — составляющая культуры. Низкий поклон Дмитрию Сергеевичу Лихачеву — хранителю и носителю нашего русского слова! В конце концов, нас с нашими писателями объединяет горестная ностальгия по Руси русичей, Руси изначальной. Жаль, что порхающая бабочка Сирина долетела на родной огонек слишком поздно.

Мне нравится, что вы изменили название журнала. «В мире книг» — читается горизонтально. «Слово» — видится как гордая вертикаль. Его хочется писать сверху вниз.

Спасибо, что Вы нашли время для моих заметок.

Е. В. ТОЛАСОВА

МОСКВА

●

В XX веке, после величайшей трагедии русского народа и других народов, затянутых в Котлован, невозможно стало писать старым языком. В самые глубины русской души, в недра ее, которыми жив кроме прочего и язык, прошло цевье зла слишком глобального, чтобы объяснить его экономически, политически, исторически. Атлантида золотая и серебряная провалилась в тартарары, ее язык стал как бы мертвым; великим, прекрасным в себе, живым, но не выражающим изменений в глубинных пластах народного сознания. Тем не менее писатели, лучшие писатели, оставались и до сих пор остаются верными духу дореволюционного языка.

Другой дух у Маяковского, создавшего свой язык, революционный воляпюк, оторванный от органики внутренней национальной жизни. Этот дух от лукавого (не в поговорку, а по реально-мистической сути, на что указывает в прекрасной работе Ю. Карабчиевский). Только Враг человеческий мог внушить и талантливо оформить ликование по поводу величайшего самоуничтожения, обожествить насилие и ложь, атрофировать чувствительность к боли.

О сером соцреалистическом большинстве, не имевшем таланта и дерзости на такое творчество, а просто беднившем былое сокровище, говорить не стоит.

Был и третий путь: слиться с душой народной, страдать, погибать вместе с ней, дать ей заговорить о своем творчестве, закричать последним, никем не понятым криком Страстотерпца: «Или, Или лама савахфани!» И в то же время сказать «да», принять происходящее как исполняющийся закон. Этот путь начат Блоком в «Двенадцати» и сильнее всего явлен в зрелом творчестве А. Платонова. Это самая непонятая у нас литература. Некому ее понимать. Лучшие держатся за классику, худшие — за ее эпигонов или субъективистский модернизм. Я не могу ничего вразумительного сказать о языке Платонова, но чувствую, что он передает изменения в коллективном бессознательном русского народа, как Шостакович в музыке. Это все не в подъем уму. Я даже думаю, что Блок, Платонов, Шостакович и сами не понимали того, что пишут, работая в час когда

«Густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу».

Из других авторов, чей язык был не субъективным, поверхностным, а формировался глубинным током подземных вод, могу назвать еще Клюева и, как ни странно, Набокова. В наше время это Ю. Кузнецов. Для всех названных авторов характерна мощная облучающая энергия распада. Эта энергия характеризует их язык, язык расщепляющегося, распадающегося мистического тела России.

А. Солженицын из того же ряда. Но если язык Платонова — это язык «во ад сшедшего», то у Александра Исаевича уже можно продолжить: «во ад сшедшего и поправшего силу диаволю». Впервые на уровне органики подлинного глубокого языка можно почувствовать, что энергия распада начинает работать как созидающая, антиэнтропийная. Аналогия этому периоду — восстановление русской речи, русского слова в более совершенном образе и строе после иконо-петровской распадной полосы. И Александр Солженицын здесь как бы Александр Пушкин, т. е. человек, несмотря на весь свой ум и талант ничтожный перед задачей, от решения которой зависит, какими быть русской речи и, стало быть, уму в постсовременности. Не может человек проделать над языком труд Пушкина, труд Солженицына. Это работает сам гений языка, находящий себе подходящих медиумов для выражения. То, что сделал и сделает Солженицын как общественный деятель, политический и исторический ум, велико и принадлежит ему. То, что он сделал и сделает как литератор — много важнее. Это будет служить нам и в будущем. И это сделали все русские люди, более всего мертвые, но и живые тоже. Я не могу свои мысли о распаде и возрождении русского коллективного бессознательного подтвердить примерами. Кроме того, возрождение еще не состоялось, Солженицын лишь делает его возможным.

Второе замечание о языке Солженицына касается того, что общего у него с Достоевским, Толстым, Гоголем, Пушкиным — в преобладании представляемого образа над текстом. Поясню. У Толстого есть детские и народные рассказы совсем без описаний, только действие. Тем не менее представляется все «как живое» с подробностями, о которых в тексте и помину нет. Я давно обратил внимание на это и задался вопросом: как передалась информация? Или просто разбужена строем фраз фантазия и картина у каждого своя. Некое чувство говорит мне: нет, здесь что-то объективное, неизвестно как непрочно закрепленное за этим текстом. Не могу предложить никакого другого объяснения кроме того, что это благодать. Есть тексты с благодатью пусть и не очень «хорошо написанные»: Толстой, Достоевский, Гоголь, проза Пушкина (да, да!). Солженицынские тексты одни из самых благодатных. Но некоторым, в т. ч. и художникам, бывает виден только текст, без Божьей благодати, и тогда Набоков, Бунин, Чехов говорят о Достоевском голую правду, ужасную объективность без Бога. Иногда и весь мир можно так увидеть (Анна Каренина перед смертью), («Очарование ушло» — Тютчев). Так что не будем удивляться и негодовать на возможные суждения о том, что тексты Солженицына в художественном отношении ничтожны. В каких-то частотах это действительно так.

ИЛЬЯ ПАВЛОВ

СЕВЕРОДВИНСК

Ровно год назад (см. «Слово», 1990, № 2) журнал открыл заочную читательскую конференцию по произведениям А. И. Солженицына, предложив именно читателям — а не критикам-профессионалам — присылать свои письма-микрорецензии. Этой публикацией журнал завершает «Год Солженицына» (см. «Слово», №№ 1, 4, 7, 8, 9, 11) и объявляет имена тех, кто за лучшие рецензии отмечен книгой «В круге первом» (М.: Книжная палата, 1990):

Н. М. АНИСОНЯН, филолог, г. Тбилиси;
Н. М. БАСОВА, студентка, г. Киев;
А. В. ВАЛЮЖЕНИЧ, инженер, библиофил, г. Целиноград;
И. Г. ПАВЛОВ, художник-оформитель, г. Северодвинск;
Е. В. ТОЛАСОВА, врач, г. Москва.
Книги высланы адресатам.

ЛИТЕРАТУРА

СТИХИ. ПОВЕСТЬ. РАССКАЗ.

ДАНИИЛ МОРДОВЦЕВ

ВЕЛИКІЙ РАСКОЛ

Смерть княгини Урусовой

Три года томились в боровской земляной тюрьме несчастные жертвы религиозного невежества, или вернее — жертвы безумия века, одного из тех эпидемических безумий, которыми последовательно страдает человечество и будет еще долго страдать в той или другой форме, в силу величайшего из исторических зол — зла неведения, ибо «кто знает — прощает»...

После сожжения Юстины и Иванушки из Москвы пришло повеление — вырыть новую, более глубокую и недоступную ни для людей, ни для божьего света земляную тюрьму и перевести в нее оставшихся трех узниц. Все, что еще уцелело у них, — «малые книжецы», «иконы на малых досках», даже одежду и белье — все отобрали. Старую земляную тюрьму разрушили и сравняли с землей.

Новая тюрьма была ужасна. Ниоткуда не проникал в нее ни воздух, ни луч света, ни звук — глубокая, темная, безмолвная могила! В первые же сутки, как перевели туда узниц, они потеряли возможность узнавать время, различать — день ли над ними, там, над могилой, или ночь, солнце ли светит над землею, или глядит на нее темное небо своими бесчисленными звездами. Сначала они силились разграничить день от ночи, чтоб хоть знать, когда молиться им и когда спать; но это было невозможно: для них настала бесконечная ночь. Можно было бы узнавать о том, когда над ними стоит невидимый для них день, если б им каждодневно приносили пищу: можно было бы спрашивать об этом тюремного сторожа, но он приносил им запас ржаных сухарей и воды на несколько дней и потом исчезал. Только по прошествии многого времени — не дней — они этого не различали — только, повторяем, по прошествии долгого времени они заметили, что иногда им к сухарям прибавляли по яблоку или по огурцу, и когда они спрашивали сторожа, что это значит, он отвечал «ноне праздник у нас на земле — второй Спас», либо «Казанка», или «ноне у нас там воскресенье»...

Что причиняло им невыразимые мучения, — это то, что они не могли видеть лица друг друга: хотелось знать выражение милого лица, посмотреть — не похудело ли оно, не побледнело ли — и ничего, ничего не видать!.. И тогда, как бы для облегчения мучений неизвестности, они руками осязали друг у друга лица...

— Худеешь ты, родная моя, чую я... слышу... ох!

— Нету, миленькая... ты, я чую, сохнешь, с личика спала... жар у тебя... губы пересохли...

Окончание. Начало в №№ 4, 7/1990.

— Нету, не бойся, родная... это так...

Они старались чем-нибудь нарушить могильную тишину, а то страшно, до безумия страшно — хоть бы звук!.. И они говорили между собой, или молились громко... Но тут новое горе: у них отобраны были и четки и лестовки — а как без них уставы исполнять, делать положенное число метаний, поклонов и славословий! И несчастные должны были пообрывать подолы сорочек, чтоб на этих тряпицах завязать по десяти-двадцати узелков и по ним считать поклоны.

— Хоть бы крысы были! — как-то тоскливо, со стоном проговорила раз Акинфеюшка, прислушиваясь к могильной тишине, когда сестры забылись сном.

— Что ты, миленькая? — отозвалась Морозова, открывая глаза во мраке.

— Тихо таково — мертво, хоть бы крысы бегали, как в той тюрьме, а тут и крыс нет!

Морозова вздохнула...

— А скоро, друг мой, еще тише будет.

— Так уж скорей бы!

С первых же дней пребывания в новой тюрьме Урусова стала недомогать. Нежный, хрупкий организм ее не выдержал мучений духа и тела...

— Дюрдя, сынок мой! Видишь... мне глаза выжгло... ох! — бредила она иногда. — Я ничего не вижу, тебя не вижу — забыла твои глазки... Я знала, что небо голубое, лес зелен, а теперь все стало черным...

Иногда ей казалось, что она заблудилась в своей тюрьме. Она ходила вокруг земляных стен, ощупывала их руками и плакала.

— Сестрица, миленькая, куда я иду? Где восток, где запад — я не знаю, я все забыла. Ох, горюшко мое! Ослепла я, забыла все...

Сестра отыскивала ее в темноте, брала за руку, ощупью же доводила до запертой тюремной двери и только этим несколько успокаивала больную.

— Вот, Дунюшка, вот дверь — ощупай сама. Дверь-то, помнишь, выходит на полночь; так вот тут будет восток, а там запад, где солнушко садится.

— А где оно теперь, солнушко — садится или встает?

— Ох, миленькая! сама не вем... Кажись, теперь ночь...

Скоро она так ослабела, что с трудом поднималась с соломы. Она просила, чтобы ее положили головой к востоку...

— Так мне легче... Я буду думать, как солнушко встает, как птички поют, как в лесу листочки шепчутся.

Иногда она начинала тосковать о том, что не слышит церковного звону...

— Ох, хоть бы раз услыхать, как колокола звонят...

Господи!.. А я не слышу... и по мне, по моей душе звонить не будут...

Она до того обессилела, что не могла руки поднять, не в силах была креститься...

— Ох, сестрица, возьми мою руку... правую... перекрести меня...

И Морозова становилась перед нею на колени, брала ее руку, складывала ей истово исхудалые пальцы и делала крестное знамение...

— А метаний я уж не делаю... поклонов творить не могу, — тосковала больная.

— Я за тебя, миленькая, творю метания, бью поклоны по сту и по тысяче, — успокаивала ее Акинфеюшка.

Скоро ее начали посещать видения, грезы... Она все говорила с собой...

— Вот светло стало — я опять вижу... А, это от пожару... Ах, какой пожар!.. Кто это горит?.. Иванушка горит и кланяется... Хорошо Иванушке... светло... И вот там светло... Оленушку с черкашенином венчают, с Брюховецким... Вон и Федосьюшка там, а где ж я?.. себя не вижу... Чу! и звон слышу... вся Москва звонит... Об чем это звонят? — А! вижу... Никон идет в Успенский собор... да какой он сердитой... на кого он сердитует?.. А! на Аввакума... Как играет Аввакумушко-свет с Ванюшкой — велит ему перстики сложить, а он, глупенькой, ручками сороку сказывает: сорока-сорока — на порог скакала.. А где же Ванюшка?.. с Дюрдьем играет в лошадки?.. Ах, Оленушка, Оленушка! бедная она — в черкасской стороне — и мужа у нее убили черкасские люди... А как черкасские люди знамение творят?.. Тремя персты — нет, нет, они не никонцы, не еретики.. Вон и царевну Софьюшку черкашенник учит всяким хитростям... какой черный, точно мурин... Чудно мне это: долго не видела, как солнушко всходит, а ноне вижу, и глядеть на него больно... А кого это пытали в ямской избе, в застенке?.. Федосьюшку да Акинфеюшку?.. Да — и меня вешали на виску и в хомуте пытали, а мне не было больно... А когда ж я ушла из земляной тюрьмы, из Боровска?.. А это тогда... вспомнила... как горели срубы, а на срубах стояли и кланялись нам Иванушка да мать Юстина... Это мы улетели с голубками вместе...

Встали в ее помутившемся рассудке видения прошлого — бессвязные клочки воспоминаний из пережитого и выстраданного... Слушая ее беспорядочный бред, Морозова глухо рыдала, молясь Богу о том, чтобы он возвратил рассудок ее несчастной сестре, чтобы хоть умерла она в памяти...

И несчастная, действительно, приходила иногда в себя, но не на радость: она снова тоскливо спрашивала, где восток, не к западу ли она лежит головой, и что теперь на дворе — день ли, ночь ли, лето или зима уже? Иногда она страстно звала своего мужа, детей, особенно любимца своего Юрья-Дюрдю. И тогда сестра припадала к ней и старалась утешить страдалицу, навести ее мысль на спасительный подвиг, в котором их искушает благой и кроткий Спаситель. В то же время, лаская ее, Морозова старалась осязанием лица и тела бедной сестры убедиться, в какой мере она худеет, тая, как свечка, и пылая огнем...

Морозова чувствовала, что и ее покидают силы. С трудом она творила положенное число метаний, забывала число сделанных поклонов, забывала молитвы... Хоть бы на один короткий час посетила их мать Мелания — силы бы их воротились опять, думалось ей часто. Но уже и всемогущая Мелания не могла проникнуть к ним, хоть она и бродила тайно по Боровску и около тюрьмы, успела подкупить и привести в свое согласие всех стрельцов и караульщиков; одного только она не могла достигнуть — победить подьячего Кузмищева.

Перед самой смертью к Урусовой как будто воротился рассудок, и она сама осознала, что умирает, что минуты ее сочтены.

— Видела я сон, сестрицы мои миленькие, — говорила она перед смертью, — дивен тот сон... Вижу я это— распаялось у меня на руке золотое кольцо и покатилось по полу... А было это в Успенском соборе... Покатилось оно к святым вратам, а я за ним иду... И, как живое, вкатилось оно на ступени, где дьякон евангелие читает, а я за ним... Оно дальше — я за ним... Оно в царские врата — и я окаянная за ним — забыла, что женскому полу возбранено вхождение во святыя святых... Кольцо к алтарю — и я грешная за ним... И что же бы вы думали, сестрицы мои! — в алтаре стоит Аввакумушко-свет в ризах блистания — и благословил меня крестом... На этом я и проснулась...

— Хороший это сон, Дунюшка, — сказала Морозова, — твоя праведная душа пойдет прямо к престолу Господа.

— А коли отец Аввакум уже преставился? — как бы про себя спросила Акинфеюшка.

— Богу-то ведомо: може и отстрадал свое, и ноне в ризах блистания ликовствует со Христом и с блаженным Федюшкой и с моим сынком Ванюшкой.

Скоро Урусова опять впала в беспамятство. Тогда Морозова и Акинфеюшка стали читать по ней отходную, как они читали перед сожжением старицы Юстины.

Несчастная скончалась тихо, под похоронные причитания сестры, и ни Морозова, ни Акинфеюшка не слыхали, как и в какой момент испустила последний вздох та, над которой они читали и пели отходный скорбный канон.

Когда Морозова припала к сестре, чтобы проститься, та была уже безжизненна и холодна. Морозова сначала не поняла, что с сестрой, почему она похолодела; но когда припала к ней, прислушалась к дыханию, к биению сердца — ее охватил ужас: ни дыхания, ни биения сердца уже не было...

Глухо застонала несчастная осиротевшая сестра, прижавшись головой к холодному трупу. Она особенно тосковала о том, что не видит лица умершей, не знает, насколько смерть изменила его.

О, Господи Боже! хоть бы глянуть на нее, хоть разочек посмотреть на мертвый лик ее, на ее глазыньки, что отглядели уже, на уста мертвые — не заговорить уже им больше... Матушка моя, сестрица! Почто ранее меня ушла ко Христу-свету, на кого меня в сиротстве, в темнице темной покинула? Али мы не во дружестве с тобой жили, али не вместе за Христа-света муки терпели!

Но проходил день за днем — так, по крайней мере, казалось им... Начиналось чувствоваться присутствие разлагающегося трупа... И с Морозовой от времени и до времени стало делаться дурно, она падала на солому в изнеможении и думала, что умирает... И ей стали представляться видения из ее прежней жизни, чудные картины прошлого: она слушала кукованье кукушки в батюшкином саду, спрашивала — сколько ей жить, бегала по зеленому лугу за бабочками... И опять этот тенистый пруд с лебедями, и высвисты иволги в зеленой листве, и звуки охотничьего рога за рощей и встреча с княжичем, что пал на литовских полях в бою с Литвою... А там переезд из вотчины в Москву, сватовство Морозова, жизнь при дворе, работы в царицыных мастерских палатах, знакомство с Аввакумом... В ярких, чудных красках вставало перед ней это прошлое — счастье, богатство, честь и слава — и от всего этого она отвернулась, все променяла на иную славу, на славу бессмертия..

Но нелегко дается смертным бессмертие, нелегкою ценою покупают люди вечную славу...

Урусова уже купила ее, Морозова — скоро, скоро купит...

Но вот слышится визг запора у наружных дверей тюрьмы. Взвизгнули на ржавых петлях и внутренние двери. Вошел сторож с обычною пищею и водою. На этот раз он принес заключенным еще по яблочку: на земле, значит, был праздник Воздвиженье честного креста Господня.

— Миленькой! — сказала Морозова принесшему пищу. — Поведай властям, что сестра моя, княгиня Евдокия, скончалася...

— Как скончалась? — удивился сторож.

— Да, скончалася — умре... Похоронить ее надоть.

— Так отпеть, значит бы? Попа позвать?

— Нету, миленькой, нам никонианского попа не надоть.

— Ну, ин как знаете.

Через час после этого в тюрьму вновь отворилась дверь и в нее вошел Кузмищев, освещая путь восковою свечою. За ним шли знакомые уже нам два ката с рваными ноздрями. Они были с заступами и лопатами, а на плече у одного из них лежала еще и рогожа.

Только теперь, в первый раз по заключении в это подземелье, Морозова и Акинфеюшка, прожившие в нем, казалось, несметное число дней и ночей или — вернее — одну бесконечную, страшную и томительную ночь в могиле, — только теперь они увидели эту свою могилу при слабом мерцании восковой свечи. Это был поистине могильный склеп с черными сверху и желтыми, глиняными, земляными снизу стенами, выглаженными заступом и лопатою.

Кузмищев прямо направился к тому месту, где на соломе лежала покойница, и, нагнувшись, осветил мертвое, искаженное страданиями, уже черно-синее лицо. Он невольно отшатнулся назад, вполне убедившись, что «княгиня Овдотья Урусова помре». Страшный рот и глаза ее были открыты и, казалось, грозно глядели в мрачный потолок своей темницы, закрывшей от этих мертвых очей голубое небо. Руки были сложены на груди... Никто, даже родная сестра, не узнал бы в этом обезображенном смертью лице некогда полное жизни, свежести и красоты лицо княгини Урусовой.

И Морозова в первый раз теперь увидела это незнакомое ей лицо... Она вскрикнула и упала на землю. Мужественная Акинфеюшка стала утешать ее...

Кузмищев, между тем, приказал тут же, в западном углу темницы, копать могилу. Работа пошла быстро.

Морозова, придя в себя, стала, сколько умела, отпевать сестру. Ей помогала Акинфеюшка.

Глухо раздавались по подземелью, смешиваясь с ударами заступа и рыданиями, потрясающие душу возглашения: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею»... «иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»... «Со святыми упокой»... «и сотвори ей вечную память»...

Яма готова. Около умершей расстилают рогожу и в последний раз закрывают лицо мертвой.

У Кузмищева дрогнула свеча в руке, когда палачи свалили в яму труп и стали валить в яму землю.. Завалили и ногами утоптали... Кузмищев торопился уходить, точно его гнало что отсюда...

Снова исчез свет из подземелья, снова завизжали запоры у дверей — и все затем смолкло...

Смерть Морозовой

Со смерти Урусовой Морозова таяла с каждым днем. Она уже почти не вставала на молитву: за нее молилась Акинфеюшка. Слух больной так обострился, что она, лежа на соломе, большею частью с закрытыми глазами, потому что все равно ничего не видно было в кромешной тьме подземелья, — своим чутким слухом прислушивалась, как молилась ее «свечечка пред Господом», как она называла теперь Акинфеюшку, и считала ее поклоны.

— Сто да полтораста — полтретьяста, — раздавался иногда ее слабый голос. — Передохни малость, моя свечечка воскоровая.

Но Акинфеюшка не хотела передохнуть, и опять слышался слабый шелест соломы, на которую падали колени молящейся. А Морозова лежала с закрытыми глазами, слушала этот шелест соломы, тяжелое дыхание и иногда слабый хруст уставших членов и шевелила губами.

— Четыреста девяносто девять — пятьсот!.. будет, свечечка!

Акинфеюшка переставала молиться и садилась около больной. Руки и той и другой взаимно тянулись к лицам и взаимно осязали их: руки заменили им глаза во мраке.

— Устала ты, свечечка, притомилась: вон лоб и виски мокры.

— Ничево, сестрица: я молиться гораздо здорова... А вон ты-то, вижу, таешь..

— Так-ту, свечечка, легче будет к Богу лететь, — дымком кадильным...

— О-ох! а я-то с кем буду?

— Не тужи, свечечка: я к тебе стану пташкой прилетывать...

В это время мысли больной почти исключительно витали в прошедшем, и она как бы думала вслух.

— А небо-то, небушко голубое пологом над тобою раскинулось, и конца-краю нету и не бывало... А я лежу, младая девынька, в траве, руки под голову заложила, лежу и думаю, глядючи на небо. А по небу лентою тянутся гуси — на теплые воды летят, высоко-высоко над землею, и я слышу говор их между собою... И сама, кажись, я лечу с ними на теплые воды, в неведомые земли к морям синим, и подо мною грады и веси, реки и озера — «вся царствия вселенныя в черте времянне»... А надо мною пчелки летают-жужжат, козявочки махоньки... И слышно мне, как в отъезжем поле собаки лают — это батюшка охотою тешится... И как же любил меня батюшка! — я была его дрочоное дите, холеное — ветру, кажись, не давал он на меня дохнуть... А как я его любила! — да и не диво: я матушки не запомню... Да, свечечка, то было мое райское житие, когда мы с батюшкой в вотчинах его жили... Там мой и рай кончился.. Там и княжича я спознала, жениха своего, что в Литве сложил свою кудрявую головушку...

Акинфеюшка безмолвно слушала ее, держа за руку и с грустью передумывая также и свое прошлое, свою бродячую жизнь. С особенной яркостью выступали перед ней ее странствия по Малороссии, по этой черкасской сторонке, которая теперь из ее мрачной темницы представлялась ей какой-то волшебной, сказочной страной, и казалось, от самых воспоминаний о ней веяло теплом и светом... «Уж и что это за сторонка! — излюбленный Господом ветроград цветной... Не диво, что в одном Киеве, в Печерах, боле угодников, чем во всем московском государстве», — думалось ей.

— А помнишь, свечечка, как мы с тобой спознались?

— Как не помнить! Аввакумушко свел...

— Аввакумушко, — точно... Что-то он?

— Да... Богу то ведомо...

— А помнишь ту ночь, как мы к Степану Разину ходили?

— Под его окошко тюремное — да.

— И голос помнишь его?

— Помню... «Не шуми ты, мати, зеленая дубровушка»...

— А на Лобном-ту месте, на плахе?

— Да, страшно подумать.

— А я думаю, свечечка... я много об нем думала... У него я научилась терпеть... Только не привел мне Бог дождаться того, чего я искала...

— Чего, сестрица?

— Его смерти — на глазах у всей Москвы.

— Что ты, милая? зачем?

— А то так-ту лучше сгнить, как мы тут гнием — никому не в поучение?.. А то, глядя на нас, и другие бы учились умирать.

Но скоро и эти грустные беседы и воспоминания прошлого все реже и реже становились. Морозова по целым дням лежала безмолвно, и только когда Акинфеюшка начинала плакать на молитве, она силилась утешать ее.

— Не плачь... думай лучше о том, как там все встретимся.

— Меня не берет Бог.

— Проси... толцы двери гроба — отверзутся...

Чувствуя, наконец, что приходят последние ее дни, Морозова воспользовалась однажды появлением в тюрьме сторожа с водою и сухарями, чтобы обратиться к нему с последнею просьбою.

— Миленький, братец, — слабо сказала она, — веруешь ты во Христа?

— Как же, матушка, не верить-ту? — удивленно спросил простодушный сторож.

— А в церкви бывал?

— На мне, чаю, крест — как не бывать!

— А слышал, как на страстях читают про то, как Христа распяли и как Он, светик, скончался?

— Знамо — слыхали.

— А помнишь, там читают, что когда Его, батюшку, сняли со креста, то Иосиф Аримафейский взял тело Христово и плащаницею чистою обвив...

— Таковово, кажись, не слыхивали.

— Ну, вот что, миленькой: я скоро помру, я уж не жилица... Так именем Христа молю тебя: исполни мою последнюю просьбу... Не хочу я идти ко Христу в грязной срачице... Так будь милосерд! Возьми мою сорочку, голубчик, вымой ее в реке... Я за тебя Богу буду молиться.

Сторож исполнил последнюю просьбу умирающей.

Накануне смерти, прислушиваясь к давно знакомым ей звукам — к шуршанью соломы от поклонов Акинфеюшки, она вдруг остановила ее.

— Постой, свечечка моя пред Господом... будет уж... сгасни, потухни, лампада моя... Давай петь отходную по моей душе.

Акинфеюшка перестала молиться. Умирающая начала было читать отходную, но память и язык отказывались служить ей: она часто останавливалась и слушала, как читала Акинфеюшка. Потом опять начинала и опять обрывалась.

— Вот я и отхожу... Упроси, милая, стражей вырыть и мне ямку там...

Акинфеюшка, плача, целовала ее холодеющие руки.

— Да положи так... знаешь... чтобы моя рогожа... близко... с ее бы рогожкою вместе...

В последние часы умирающая бредила тем, что она называла «райским житием» — своею раннею молодостью, далекими вотчинами своего отца, и только на мгновения приходила в себя.

— Небо... все небо кругом... зелень... лебеди кричат... меня ждут... Да, сестрица, не забудь... как отходить стану... сложи персты мои... так сложи... истово... Иволга свистит... а вон кукушка закуковала... куку-куку... сколько мне лет жить... много, много лет... наживусь... счету нет ее кукованью... счету не будет годам моим... все кукует — все кукует...

В ночь с 1-го на 2-е ноября 1675 года и сама она откуковала.

Акинфеюшка исполнила ее завет: в ее руке закоченела рука умершей сложенными истово двумя перстами...

Сожжение Аввакума

Так один за другим сходили со сцены первые деятели великой исторической драмы, идущей на исторической, чисто-народной русской сцене вот уже третье столетие. Много перебывало актеров на этой обширной, почти неизмеримой сцене. С правой стороны из-за великих исторических кулис выходили актеры с чисто русским типом, с великими, шекспировскими характерами, вроде Аввакума, Морозовой и их последователей. С левой же стороны, из-за этих исторических кулис, выступали другого сорта актеры, иногда с таким же русским типом, как князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, Андрей Иваныч Ушаков, Степан Иваныч Шешковский, иногда же и немцы... Левые постоянно сгоняли со сцены правых, вгоняли их в темницы, в могилы; но они, как тень, выходили из могил и являлись на сцене с теми же двумя истово сложенными перстами...

Они выходят на сцену доселе, и их гонят, гонят и все не могут согнать со свету, потому что их дело, — правое дело, дело совести, и если бы на страницах истории могла выступить краска стыда, то страницы, на которых написаны имена актеров левой стороны, казались бы совсем кровавыми...

Возвратимся к самому первому актеру правой стороны, к Аввакуму.

Четырнадцать лет томился он в земляной тюрьме в Пустозерске. Он пережил почти всех своих учеников и учениц — и Федю-юродивого, которого удавили в Мезени, и Морозову с Урусовой, истаявших в Боровском подземелье, и многих других, имен которых не сохранила история. Он, сидя в своем подземелье, все молился да разговаривал — то с вороною, каркавшей у него на кресте землянки, то с воробьем, прилетавшим на его оконце клевать крошки, насыпаемые туда узником, то с мышонком, что погрызывал его сухарики, то, наконец, с пауком, спускавшимся с потолка на звон его цепей, — говорил затем, чтобы не разучиться говорить и Бога славить, — говорил, молился и писал, без конца писал, рассылая свои послания по всей русской земле с помощью уверовавших в него тюремщиков.

Вот и теперь, 1-го апреля 1681 года, он пишет согнувшись в три погибели, и на оконце чирикает воробей, мышонок шуршит соломой, утаскивая к себе сухарик, Аввакумом же для него припасенный; ворона по-прежнему каркает на кресте..

— Во веки веков — аминь! — с силою вздохнул старик, положил перо за ухо и разогнул спину. — Кончил!.. А ты каркай — не каркай, подлая, не будешь есть мово мясца...

Он стал перелистывать лежавшую у него на коленях тетрадь.

— Ну-ко, что я ноне в конце нацарапал? Прочту.

И он стал читать вслух:

— «Егда я еще был попом, с первых времен как подвигу касаться стал, бес меня пуживал еще: изнемогла у меня жена гораздо и приехал к ней отец духовный; аз же из двора пошел по книгу в церковь нощию глубокою, по чему исповедоваться. И егда на паперть пришел, стольник до того стоял, в егда аз пришел, бесовским действом скачет стольник на месте своем. И я, не устрашась, помоляся пред образом, осенил рукою стольник и, пришед, поставил его, и перестал играть. И егда в трапезу вошел, тут иная бесовская игра: мертвец на лавке в трапезе в гробе стоял, и бесовским действием верхняя раскрылась доска и саван шевелиться стал, устрашая меня. Аз же, Богу помолясь, осенил рукою мертвеца, и бысть по-прежнему все, ино ризы и стихари летают с места на место, устрашая меня. Аз же, помоляся и поцеловав престол, рукою ризы благословил и пощупал приступя: а оне по-старому висят. Потом, книгу взяв, из церкви пошел. Таково то ухищрение бесовское к нам! Да полно того говорить!..»

Он помолчал немного, прислушался к отдаленному стуку топоров.

— Чтой-то они там строют? Вот с самово утрея топоры говорят... Уж не сруб ли мне работают?.. Дай-то, Господи!.. Хощу славы сей...

Он задумался. Седая голова его тихо качалась. Нечесанные космы свесились на лицо. Он взял одну прядь.

— Ишь, белы что снег — паче снега убелились... белы... серебро, чистое серебро... Уж я и забыл, каковы они смолоду были... черны, кажись, ни то русы.

Он махнул рукой и опять нагнулся к тетради.

— «Ну старец, моего вяканья ведь много ты слышал. От имени Господа повелеваю ти: напиши и ты рабу тому Христову, как Богородица беса того в руках тех мяла и тебе отдала, и как муравьи-те тебя яли . . . . . . и как бес-от дрова-те сожег и как келья-то обгорела, а в ней цело все, и как ты кричал на небо-то, да иное что вспомнишь во славу Христа и Богородице. Слушай же, что говорю: не станешь писать, я осержусь! Любил слушать у меня: чего соромишься, скажи хотя немножко. Апостоли Павел и Варнава на соборе сказывали же, во Иерусалиме пред всеми елик сотвори Бог знамения и чудеси во языцех с ними, в девиних зачаток тридцать пятой и сорок вторая, и величашеся имя Господа Исуса, мнози же от

веровавших прихождаху исповедающе и сказующе дела своя; да и много того найдется в апостоле и в деяниях. Сказывай, не бойся, лишь совесть крепку держи, не себе славы ищи, говоря, но Христу и Богородице. Пускай раб Христов веселится, чтучи! Как умрем, так он почтет да помянет пред Богом нас, а мы о чтущих и послушающих станем Бога молить, наши они люди, и будут там у Христа, а мы их во веки веков, аминь»*.

— А все стучат топоры... Ну, ин с Богом: стучите, стучите, топорики... Может, мне печечку-ту воздвизаете, каравай в той печке из меня Христу печи будут.

Он перекрестился, свернул тетрадь, взвесил ее на руке.

— А тяжеленька-таки, многонько настрочил... Только светам моим, Федосьюшке да Овдотьюшке, не читать уж мово вяканья — отчитали свое... Телеса их святые в Боровске, в земле темничной почивают, а сами они, светы, ноне лик Христов чтают — ликовствуют... О, светы, светики мои! голубицы белые! как я, старый пес, любил их, беленьких и тельцем, и духом!

Вдруг что-то влетело в оконце и упало к ногам его...

—Коли воробышек? Нет... Что бы это такое было?

Он стал искать в соломе. Руки его ощупали камень, обернутый бумажкой.

— Писание... От кого?.. Благослови Господи!

Он перекрестился и развернул бумажку. Руки его дрожали. На бумажке было что-то нацарапано.

«Смиренная и убогая старица Мелания»...

— Мелания! Владыко всемилостиве! как она сюда попала!

«Смиренная и убогая старица Мелания преподобному Аввакуму, пророку и посланнику Бога живого, столпу непоколебимому православия, солнцу правды, адаманту веры правые, о Христе радоватися. Присне бо час твой. Уготована убо огненная колесница, на ней же ныне вознесешися ко Господу. Аминь.»

Что выражало лицо его — неизреченное ли блаженство или невыразимый ужас, когда он упал этим лицом на солому и не своим голосом выкрикнул: «Да будет воля Твоя!» — это известно только тем, которые умирали за идею...

Через час, из открытой двери подземелья, в котором четырнадцать лет высидел Аввакум, ни разу не видав ни неба, ни земли, вышел стрелец с алебардой, а за ним Аввакум, сопровождаемый другим стрельцом. Узник, которому, казалось, лет под восемьдесят, ступив на землю, поднял голову и несколько минут стоял так, глядя на небо, на беловатые облачка, кучившиеся к полудню, на свою землянку, на темную зелень далекого бора, как бы стараясь что-то припомнить и убедиться, так ли все еще сине и глубоко небо, каким оно было четырнадцать лет назад, так ли светит в этой голубой выси солнце, так ли, как прежде, плавают по небу облачка, зеленеет лес, порхают в воздухе ласточки, стрижи...

Убедившись, что мир божий остался все таким же прекрасным, каким был и четырнадцать лет назад в дни его юности, он как-то не то горько, не то радостно тряхнул головой и, смахнув со щек выкатившиеся из глаз слезы, широко, размашисто перекрестился. Он хотел было двинуться за передним стрельцом дальше, к выходу из ограды, которою обнесена была его тюрьма, как услыхал позади себя звяканье цепей. Оглянувшись, он увидел, как из трех других таких же, как его, землянок выходили тоже узники с стрельцами, и в этих узниках он отчасти узнал, отчасти догадывался, что узнал — так неузнаваемо изменились они в четырнадцать лет! — друга своего, попа Лазаря, дьякона Благовещенского собора Федора и духовника своего, инока Епифания, того самого, которому он сейчас только писал в «житии» своем, как «Богородица беса в руках мяла и ему, Епифанию, отдала» и прочее.

Аввакум радостно всплеснул руками.

— Други мои светы!.. Вместе ко Господу идем!

— Аввакумушко! Протопоп божий!

— Епифанушко, миленький! Федорушко, братец!

— Живы еще! все живы! и помрем вместе!.. Лазарушко! и ты с нами!

Они обнимались и плакали, звеня цепями. Стрельцы, глядя на них, супились и отворачивались, чтобы скрыть слезы.

Звякнула щеколда оградной калитки, калитка распахнулась, 'и в ней показалось красное, прыщеватое лицо «людоеда».

— Эй! лизаться, пустосвяты, вздумали! — закричал Кузмищев. — Еще нацелуетесь с дымом да с полымем... Веди их, стрельцы!

Узников развели и повели гуськом к калитке. Впереди всех шел Аввакум. За тюремной оградой глазам арестантов представился большой сруб, наполненный щепами и уставленный снопами сухого сена, перемешанного с берестой да паклей. Около сруба толпился народ.

Кузмищев, взяв у стоявшего около сруба с зажженными свечами монаха четыре восковые свечечки, роздал их осужденным.

— За мною, други мои, венцы царски ловиты! — воскликнул Аввакум, поднимая вверх свечу и твердо всходя на костер.

Товарищи последовали за ним и стали на костре рядом, взявшись за руки.

Кузмищев достал из-за пазухи бумагу, медленно развернул ее, откашлялся. Но в этот момент Аввакум, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, быстро нагнулся и, подобно старице Юстине в Боровске, в разных местах, сам своею свечею подпалил сено и бересту. Пламя мгновенно охватило костер... В толпе послышались крики ужаса... Все поснимали шапки и крестились...

Подьячий окончательно растерялся...

— Охти мне!.. Ах, изверги!..

Из пламени высунулась вся опаленная чья-то рука с двумя истово сложенными пальцами...

— Православные! вот так креститесь! — раздался из пламени сильный, резкий голос Аввакума. — Коли таким крестом будете молиться — вовек не погибнете, а покинете этот крест — и город ваш песок занесет, и свету конец настанет!

— Аминь! аминь! аминь! — прозвучал в толпе голос, столь знакомый всей Москве.

Из толпы выделился черный низенький клобучок, а из-под клобучка светились зеленоватым светом рысьи глазки матери Мелании.

— Охти мне! Ах, злодеи, воры, аспиды! — метался подьячий с бумагой в руках.

Костер, между тем, трещал и пылал, как одна гигантская свеча, от которой огненный язычище с малыми языками высоко взвивался к небу, обрываясь там, развеваясь и расплываясь в воздухе серою дымкою.

Кругом, казалось, все засумрачилось, потемнело, словно бы на землю разом опустились сумерки. Онемевший от страха народ не смел шевельнуться. Сумрак сгущался все более и более. Костра уже не было — оставалась и перегорала огромная куча огненного угля...

Вдруг как из ведра полил дождь...

— Батюшки! православные! небо плачет! небушко заплакало от эково злодеяния... О-о-ох! — раздался в толпе отчаянный вопль женщины.

Кузмищев встрепенулся, словно его кнутом полоснуло.

— Эй! лови ее, лови! держи воруху! держи злодейку! Но Мелании — это она выкрикнула — и след простыл... «В воду, братцы, канула — сгинула, провалилась...»

Народ сунулся к залитому огнем костру — собирать на память «святые косточки», чтоб разнести их потом по всему московскому государству... Аввакум был прав, говоря о сожигаемых: «Из каждой золинки их, из пепла, аки из золы феникса, изростут миллионы верующих...»

Так и вышло...

* Из «Жития протопопа Аввакума, им самим написанного».

PLANETA

ВСТРЕЧИ В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ.

У Столыпина

Я рад, что мне довелось быть первым литератором из России, с которым пожелал встретиться Аркадий Петрович Столыпин, известный публицист, политический деятель русской эмиграции, сын знаменитого премьер-министра П. А. Столыпина. В присутствии своего друга, известного русского историка Н. Н. Рутченко, Аркадий Петрович предоставил мне право публиковать в России его статьи из различных зарубежных изданий.

Внимательный читатель удивится, как же это — «довелось быть первым литератором из России» — если в июле 1989 года в «Литературной газете» была опубликована обширная беседа А. П. Столыпина с неким корреспондентом «Литературной газеты» Жанной Вронской?

Когда наша бывшая писательская газета первой выходила на важнейшие и острейшие темы, печатала интервью со знаменитыми писателями, художниками, учеными — честь ей была и хвала. Быть и вторым, и третьим, десятым... публикатором, интервьюером, собеседником выдающихся деятелей страны и мира — не зазорно никакому литератору. Так что дело не в престиже...

Аркадий Петрович просил меня поведать хоть вкратце российскому читателю о фальсификации, сотворенной «Литературной газетой» по всем законам бульварной прессы.

Привожу текст письма, опубликованного в журнале «Посев» и сознательно «незамеченного» оскорбившей его советской газетой.

«Уважаемая редакция!

В «Литературной газете» от 12 июля 1989 года напечатано мое интервью, данное Жанне Вронской. В редакционном предисловии к нему утверждается, что Ж. Вронская встретилась со мной «по просьбе ЛГ». В связи с этим должен заявить следующее.

1. Жанна Вронская испросила встречи со мной от имени английской радиостанции Би-Би-Си, а не от имени редакции «Литературной газеты» (на что я вряд ли бы дал согласие).

2. Редакция «ЛГ», искажая факты, пытается обманным путем создать у читателя впечатление о моей готовности сотрудничать с горбачевской «перестройкой».

3. Редакция «ЛГ» несет полную ответственность не только за публикацию лжеинформации, но и за умышленную дискредитацию моих намерений.

Не откажите поместить это мое заявление в вашем журнале.

С искренним приветом

Ваш Аркадий П. Столыпин

Люзарш, 15 августа 1989 г.»

Конечно, гласность по-литгазетовски всегда предполагает искаженный образ как своих сторонников, так и своих оппонентов. И уж никак не намерена была сообщать своим читателям, что Аркадий Петрович Столыпин не только убежденный патриот России, не только противник всяческой русофобии, но и с 1935 года по настоящее время — активный деятель Народно-Трудового Союза, с 1946 года член Совета НТС, долгие годы был председателем Высшего суда НТС, так называемого суда чести и достоинства.

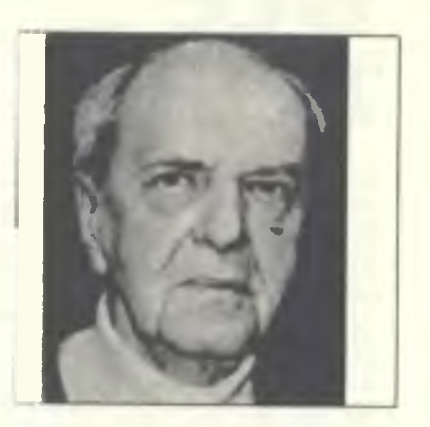
Вот таким он мне и показался при встрече — человеком высшей чести и достоинства, не приемлющим любые компромиссы.

Посмотрите, как твердо и вместе с тем без злорадства и ура-патриотической истерии, с каким пониманием истории России доказывает он ошибочность концепции автора повести «Все течет» В. Гроссмана, не менее убедительны его статьи и по другим социальным, политическим и культурным проблемам.

Это школа публицистики высокой русской культуры, ныне почти потерянной нами всеми. Неужели А. П. Столыпину, автору таких взвешенных, аналитических статей, очередной Игорь Виноградов навесит новейший политический ярлык? А ведь статья о повести В. Гроссмана «Все течет» была опубликована задолго до всех наших «перестроек». Все было сказано лидерами подлинной русской эмиграции по поводу сомнительных творений бесчисленных «плюралистов» в те же самые семидесятые годы, но у нас не знают еще об одной неблагодарной роли третьей волны эмиграции — по развалу многих русских эмигрантских центров, дискредитации в глазах европейцев самого понятия «русская эмиграция». Как пишет Аркадий Петрович Столыпин в книге «На службе России»: «Третья эмиграция — явление сложное и трудноопределимое в количественном и качественном отношении. В принципе и в массе евреи и немцы, легально уезжающие в родные земли, относятся скорее к «иммигрантам», чем к «эмигрантам». И российским эмигрантом следует считать лишь человека, который считает своей родиной Россию. А это далеко не всегда так.

Больше того, часть выехавших, устраиваясь на новых местах, проявила отрицательное отношение не только к существующему режиму в нашей стране, но и к России вообще, к ее истории, культуре, народу, а некоторые из поношения России и русского народа сделали доходную статью для себя, для своего бытоустройства... Знатоки полагают, что КГБ инфильтровал «третью волну» своими агентами, другие считают, что включены природные скандалисты, чтоб нести разлад, а также шкурные и уголовные элементы, чтобы дискредитировать эмиграцию...»

Как жаль, что мы встретились с русской эмиграцией только сегодня, когда от первой послереволюционной ее части остались лишь архивы, когда дети и внуки во множестве своем стали французами, бельгийцами, немцами...



Родился Аркадий Петрович Столыпин в 1903 году под Ковно, так что имеет право стать сегодня гражданином Литвы. В эмиграции с 1920 года. В Риме получил аттестат зрелости. Затем учился во французской военной школе в Сен-Сире. Школу окончить не удалось по состоянию здоровья. До второй мировой войны работал во французских банках, активно занимался журналистикой. После вступления в НТС — политический деятель русской эмиграции, долгое время председатель отдела НТС во Франции. С 1950 по 1969 годы — сотрудник одного из крупнейших мировых информационных агентств — Франс Пресс.

Кроме многочисленных статей в журналах и газетах русского национального направления, он автор книг на русском языке «Монголия между Москвой и Пекином», «Поставщики ГУЛАГа» и мемуарной книги «На службе России» о национально-патриотическом движении Русского Зарубежья, об известных общественных и политических деятелях.

Надписывая мне эту книгу на память о встрече, Аркадий Петрович добавляет, что был бы рад ее выходу в России, «о чем раньше и мечтать не мог». Он мало верит в наших «перестроившихся деятелей», уверен, что возрождение России начнется с новыми людьми. Искренне жалеет об утерянном всеми нами времени, понимает, что ему вряд ли удастся побывать в свободной России, что ж — приедет сын, приедут внуки. Считает, что жизнь свою он без остатка посвятил России, и верит в реальную пользу от его деятельности «на службе России».

Пусть эти первые публикации у себя на родине придут к нему под Париж живой весточкой о начале выздоровления любимой родины! Пусть еще при жизни вернутся в Россию его книги, его патриотическая публицистика! Пусть обретет у нас своего читателя!

С возвращением Вас, дорогой Аркадий Петрович!

Владимир БОНДАРЕНКО

АРКАДИЙ СТОЛЫПИН

Все течет...

«Все течет...» При чтении этого замечательного повествования хотелось бы только поражаться глубине и точности зарисовок. И не только картинам концлагерной жизни или описаниям вымиравшего в годы голода крестьянства. Автор с необычайной прозорливостью указал на Ленина как на источник зла, на создателя тоталитарного строя.

На этом безоговорочном признании достоинств книги хотелось бы поставить точку. Но в книге содержится и другое. В советских условиях многие источники познания нашего исторического прошлого были, разумеется, для Гроссмана недоступны. Он читал, что мог, думал о причинах обрушившейся на Россию небывалой катастрофы — в трагическом одиночестве. Все это вырвалось на страницы его книги бурным и порою противоречивым потоком. Нéчего этому удивляться. Такая же судьба постигла некоторые писания Андрея Амальрика и многих других: спорные исторические предпосылки, еще более спорные исторические выводы...

Стоит ли на этот счет вступать в полемику? Ведь ныне покойного Василия Гроссмана не переубедишь. И все-таки обо всем этом надо говорить. Ведь, быть может, некоторые уточнения и доводы дойдут до тех, которые теперь в России задумываются над прошлым, настоящим и будущим нашей страны.

Гроссман пишет, например, что Россия — «великая раба», с тысячелетней рабской психологией и душой. Такие мысли были свойственны и некоторым нашим интеллигентам прошлого века, великому нытику Некрасову, допускавшему, что наш народ «создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил». Но такие мысли теперь гораздо более чреваты опасными выводами, чем в далекие, патриархальные некрасовские времена. Если Россия — «вечная раба» и ни к чему иному, чем к рабскому состоянию, не приспособлена, то, быть может, и никакой иной строй, чем тоталитарный, в нашей стране невозможен? Тогда вообще есть ли смысл против нынешнего строя бороться?

Эти сомнения еще более усиливаются у рядового читателя, когда автор описывает в поэтической форме (но не изжив в себе влияния советских мифов) условия, в которых Ленин пришел к власти в 1917 году:

«Подобно женихам прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни революционных учений, верований, лидеров партий, пророчеств, программ... Жадио, со страстью и с мольбой вглядывались вожди русского прогресса в лицо невесты.

Великая раба остановила свой ищущий, сомневающийся, оценивающий взгляд на Ленине. Он стал избранником её» (стр. 176).

Если спуститься с поэтических высот к сухим историческим данным, то сказать можно многое: хотя бы то, что предполагаемая «великая раба», при выборах в Учредительное собраиие осенью 1917 года, остановила свой взгляд совсем не на большевиках Ленина, а на правых эсерах, получивших значнтельное большинство голосов; хотя бы то, что крестьянство (которое автором главным образом подразумевается) в своем огромном большинстве совсем не пошло за Лениным в течеиие всех лет гражданской войны и военного коммунизма по крайней мере.

Но это так, мимоходом. Остановимся на главном вопросе, на преслоаутом «тысячелетнем русском рабстве».

Есть народы, действительно прошедшие многовековую «школу» рабства, например, эстонцы, латыши, порабощенные тевтонскими рыцарями и католическими епископами. В течение столетий не оставалось, за исключением нескольких семей свободных крестьян в Курляндии (так называемых «куршских королей»), свободных латышей и эстонцев. Кому удавалось вырваться в город, примкнуть к низшим ремесленным корпорациям и стать свободным, платил за это потерей связи со своим народом, германизировался. Кто к моменту освобождеиия крестьян в «Остзейских» губерниях оставался латышом или эстонцем, были поистине «вековые рабы». Но ни латышей, ни эстонцев никто из досужих вульгаризаторов никогда не приводил в пример народов, якобы обладающих «рабской психологией». В 1918 году оба народа оказались, к тому же, в состоянии образовать свои правовые демократические республики. Оии могут поэтому служить доказательством того, что многовековое рабство, через которое пришлось пройти тому или иному народу, вовсе не создает «народов-рабов». Может быть, наоборот: учит любить свободу.

Но если эстонцы и латыши все без исключения — потомки крепостных рабов, то среди современных русских лишь известная часть происходит от бывших крепостных. Не только высшие и средние слои (дворянство, духовенство, мещанство), но и значительная часть крестьянского населения (Север, Сибирь, казачество) крепостными не были и «рабской психологии» ни от кого унаследовать не могли.

Самый институт рабства в Россию был занесен из Римской империи (Византии), но, по свидетельству В. О. Ключевского («Содействие Церкви успехам русского гражданского права и порядка» в сборнике «Церковь и Россия», Париж, 1969): «древнерусское холопство, первоначально так же однообразное и безусловное (Как в других рабовладельческих обществах тогдашней Европы. — А. С.), постепенно разложилось на многообразные виды ограниченной неволи, и каждый дальнейший вид был юридическим смягчением предыдущего». Ключевский называл это особенностью древнерусского рабовладельческого права, какой «не было заметно в других рабовладельческих обществах Европы».

«Рождение русской государственности, — пишет Гроссман, — было ознаменовано окончательным закрепощением крестьян: упразднен был последний день мужицкой свободы — двадцать шестое ноября — Юрьев день» (стр. 178).

Поскольку речь идет о «рождении русской государственности», выходит так, что «Юрьев день» был упразднен в 862 году с воцарением нашей первой варяжской династии, а не Борисом Годуновым в самом конце XVI века, как это имело место на самом деле. Ведь нельзя же утверждать, что в течение более семисот лет — от Рюрика до Бориса Годунова — вместо русской государственности было лишь розовое облачко? Строилась Русь более семи веков вольным крестьянством совместно с другими сословиями. Это не входит в схему Гроссмана. Но русский народ, с так называемой рабской душой, нашел в себе, например, духовную силу преодолеть и изжить татарское иго, расширить пределы нашего государства далеко за Урал, создать великолепное наше искусство XV и XVI веков.

После отмены «Юрьева дня» стали ли простые русские люди безмолвными, безвольными, покорными рабами? Здесь нам приходится придти на помощь историческим познаниям автора. На Земском соборе 1613 года, выведшем страну из разрухи после Смутного времени и утвердившем на престоле новую династию Романовых, были делегаты от крестьянства, как и от других сословий. Вообще-то Земские соборы, сыгравшие такую большую роль в русской истории XVII века, не походили (как это, быть может, представляется автору) на Верховный Совет СССР, — творческая жизнь в них била ключом.

Два года тому назад в Ленинграде опубликовано исследование Н. Е. Носова «Становление сословно-представительных учреждений в России»*. Во введении автор пишет:

«Эпоха Ивана Грозиого стоит на перепутье. XV-XVI века, открывающие новый период в жизни Западной Европы... переломный этап и в истории России. Именно тогда решался вопрос, по какому пути пойдет Россия: по пути подновления феодализма «изданием» крепостничества или по пути буржуазного развития, пути для того времени более прогрессивиому, а главное менее пагубному для крестьянства. Конечно, Россия в XV-XVI вв. отнюдь не была передовой европейской страной (даухсотлетнее татарское иго сделало свое дело), ио все же в ней как раз в этот период, вплоть до середины XVI в., наблюдается в целом такой интенсивный экономический подъем, который... мог бы явиться началом весьма серьезных сдвигов во всех сферах ее жизни, сдаигов буржуазного, вернее предбуржуазного, свойства... И если в России в результате «ивановой опричнины» и «великой крестьянской порухи» конца XVI в. все-таки победило крепостничество... и самодержавие, то это отнюдь не доказательство их прогрессивности в условиях русской действительности XVI в. и уже тем более не результат «консервативности русского духа»... Но зато это та основная «объективная» причина, которая всегда придавала всем сословно-представительным учреждениям России — а без них даже Иван Грозный не мог обойтись — половинчатый и незавершенный характер, характер придатка самодержавия, а не силы, ему противостоящей».

Так мыслит историк. Гроссман же принадлежит к поколению, которому факты русской истории были известны только в той мере, в какой они были отражены в злобных, полемических и ни в коей мере не научных статьях-пасквилях К. Маркса и прочих «основоположников». И, безусловно, художественная интуиция Гроссмана не всегда может заполнить этот зияющий пробел.

В XVII веке и в первой половине XVIII века государственное тягло, возложенное на крестьян, было тяжелым, но не менее тяжелая повинность лежала и на других сословиях, в частности — на дворянах, ввиду трудностей, связанных с той переломной эпохой: пожизненная воинская повинность для дворян в принципе оправдывала обязательство для крестьян этих дворян кормить, на них работать. Социальная справедливость у нас соблюдалась более, чем во многих западных странах того времени. Петр Великий усилил военное бремя, ложившееся на дворян. В петровское время и в последовавшие за ним царствования почти все рядовые солдаты гвардейских полков были дворянскими сыноаьями, первыми бросались в бой. Так, простым солдатом начал свою воинскую жизнь и великий Суворов.

Рабство пришло вновь. Рабство пришлое, чужеродное, наносное. Голштинский принц, вступивший на престол под именем Петра III, издал 18 февраля 1762 года указ об освобождении дворян — пресловутый «Указ о вольностях дворянских». Дворяне стали свободными, крестьяне остались крепостными. Принцип равномерного распределения повинности, социальная справедливость были нарушены. То, что Гроссман считает своим, свойственным русскому укладу, русской психологии, русской истории, было на самом деле чужим, немецко-голштинской фабрикации. В этом заключался его страшный вред, а также в том, что оно нагрянуло не где-то на заре средневековья, а в просвещеиный XVIII век. Народ ответил на это пугачевщиной.

Новое рабство продлилось ровно сто лет, до 19 февраля 1861 года — дня освобождения крестьян. Но и этот, сравнительно краткий столетний период, прошедший со времени освобождения дворян до освобождения крестьян, оказался болезненно-длительным. Социальная несправедливость породила людей с искалеченной психологией. Гроссман подметил это совершенио верно. Он пишет:

«Сектантская целеустремленность, готовность подавлять живую сегодняшнюю свободу ради свободы измышленной, нарушать житейские принципы морали ради принципов грядущего — давали о себе знать и проявлялись в характере Пестеля, и в характере Бакунина, и Нечаева, и в некоторых высказываниях и поступках народовольцев.

Нет, не только любовь, не одно лишь сострадание вели подобных людей путем революции. Истоки этих характеров лежат далеко, далеко в тысячелетних недрах России» (стр. 166-167).

Забыв иа минуту свою теорию о тысячелетнем русском рабстве, автор указывает в вышеприведенных строках на то, что даже в суровые александровские и николаевские времеиа начала XIX столетия у нас в страие теплилась «живая сегодняшняя свобода», которую фанатики готовы были подавить. Да, так оно и было. Нельзя отрицать и то, что психологически и умственно эти люди были предтечами Ленина. Но с выводами автора об «истоках этих характеров» согласиться трудно. Запоздалое столетнее рабство нашего крестьянства, чуждые иашему историческому пути западные влияния — вот что породило эти характеры. «Тысячелетние недра России» тут ни при чем.

Конец XIX и начало XX века никак не укладываются в схемы Гроссмвна. Как он ни уговаривает русскую историю идти по указанной им дорожке, а она все же упорно предъявляет свои права.

Как ему ни любо «тысячелетнее рабство», но освобождение крестьян он обойти молчанием не может.

«Девятнадцатый век — особый в жизни России», — пишет он.

«В этот век заколебался основной принцип русской жизни — связь прогресса с крепостничеством.

Революционные мыслители России не оценили значения совершившегося в девятнадцатом веке освобождения крестьян. Это событие, как показало последующее столетие, было более революционным, чем событие Великой Октябрьской революции» (стр. 179).

Прааильно: крупнейшее событие нашей истории, восстановление нарушенной в конце XVIII века социальной справедливости, выход России на более широкую государственную дорогу. Событие-то само Гроссман отметил, но что за этим последовало, — ускользнуло из его поля зрения, или просто ему незнакомо. В книге нет и намека на думский период нашей истории, на развитие земств, на бурный рост культурной жизни нашей страиы. Опять тот же лейтмотив о вековом рабстве. Просто складывается впечатление, что чуть ли не в конце царствования Александра Второго в России было восстановлено крепостное право и Великие реформы были упразднены одним росчерком пера.

Ну, если так расценивать события, то и картина получается соответствующая: после Великих реформ русские люди опять стали безмолвными рабами, потом было краткое интермеццо керенщины, а потом Ленин, — хранитель вековой традиции, — свернул опять Россию на привычный рабский путь.

Здорово гладко все это получается! Беда только в том, что на самом деле все обстояло совсем не так. В начале столетия, до революции, русские люди пользовались свободой гораздо больше, чем в наши дни граждане ряда европейских и заокеанских стран. Ленин задушил не свободу времен керенщины — «восьмимесячного младенца, рожденного в стране тысячелетнего рабства», — а русскую свободу без всяких прилагательных. Этого Гроссман не видит, не знает. Рассуждение, которым кончается книга, соответствует этому неведению.

«Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души», — пишет он.

«И в восхищении византийской аскетической чистотой, христианской кротостью русской души живет невольное признание незыблемости русского рабства. Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической

В СССР публикуется впервые.

* Н. Е. Носов. «Ствновление сословио-предстввительных учреждений в России». Аквдемия наук СССР, Ленинградское отделенне. — Л.: Нвука, 1969. 601 с.

чистоты те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры, — они в тысячелетней крепостной несвободе» (стр. 182).

Вот как! Так почему, в таком случае, тоталитарный строй так легко и мощно установился в ряде стран, обладающих богатой самобытной культурой: в гитлеровской Германии, ничего общего не имеющей с русской «тысячелетней крепостной несвободой», в коммунистическом Китае, не имеющем представления о «византийской аскетической чистоте»?

На самом деле Ленин был просто тотальным воплощением зла, чуждым русскому национальному гению, в глубине души ненавидевшим Россию. Если вместо длинных и порою противоречивых исторических экскурсов автор это определил бы в нескольких фразах, то его вклад в дело разоблачения Ленина был бы полноценным.

А так получается довольно сбивчивая картина, дезориентирующая малосведущих, огорчающая ревнителей нашей народной истории, могущая быть взятой на вооружение иностранными недоброжелателями нашей страны, которые любят приписывать возникновение и длительность тоталитарного властвования в России специфическим чертам «русской души».

●

Легко ли быть свободным?

Признаюсь, поначалу я довольно скептически отнесся к словам Вадима Кожинова, рекомендующего читателю эту книгу как «существенно выделяющуюся из общего порядка». Однако, дойдя до последней страницы, тут же, уже с карандашом в руках, принялся перечитывать, делать выписки и пометки, коих накопилось немало. Да, и на сей раз известный критик (с которым, кстати сказать, автор книги не раз спорит) оказался прав: труд молодого доктора наук, которому нет еще и тридцати пяти лет — поистине примечательное явление в современном литературном процессе. Речь не о том, что книга эта вряд ли могла бы увидеть свет даже еще и в прошлом году, — речь в первую очередь о свободной, острой, незашоренной мысли; не об эпатаже, а вот именно о смелости суждений; о точности наблюдений и выводов; а главное — речь о самостоятельной строгой концепции и о богатейшем фактическом, цифровом материале. Все это, в едином сплаве, не только намертво приковывает читательское внимание, но и радует; да, радует тем, что среди ругательных и «разносных» книжек, коих, разрешенных и потому, несмотря на развязность тона, не свободных, теперь великое множество, мы имеем книгу, отличающуюся именно внутренней духовной свободой, которая одна только, помноженная на глубокую эрудицию, и может позволить появиться таким вот оценкам и такому уровню мысли.

Согласившись с автором в том, что «всякое сокращение связано с неизбежной вульгаризацией», не рискну пересказыаать содержание, — да это и невозможно; назову лишь несколько разделов: «Проклятие „русского духа“», «Союзы и союзники», «Русская интеллигенция от Лоханкина до Латыниной», «Напрасные уроки», «О мифах и реальностях». Читающему человеку эти заголовки скажут о многом. Думаю, в наибольшей мере именно эти главы вызовут в ближайшее время еще те споры вокруг книги, — если, конечно, критика наша, занятая теперь Бог весть чем, только не своим кровным делом, не прошляпит и на сей раз. Ибо, во-первых, и сама по себе книга, вся — дискуссионна в лучшем смысле, и во-вторых, насыщена материалом, который не только широкому читателю, но и специалистам открывается впервые, будь то история российского дворянства в цифрах (о, как все, оказывается, было безбожно переврано!); или архисовременные размышления о пределах перестроечной гласности, о перестройке, как именно власти; или — совершенно новый взгляд на трагедию гражданской войны и на «белую гвардию»; или — удивительные в своей логической завершенности (и опять же — с цифрами в руках!) рассуждения о жертвах среди российской интеллигенции за годы Советской власти и о вынужденной эмиграции лучших представителей отечественной культуры.

Да, раздутый некогда «мировой пожар» слишком многое уничтожил, и мы теперь, увы, — погорельцы на углах этого великого пожара. Всем нам, говорит автор, «приходится делать какой-то выбор. О моем свидетельствует эта книжка». Думаю, не одному читателю она, в свою очередь, тоже поможет определиться, обрести свое мнение, стать внутренне более свободным. Да, пожар, да, угли, но жизнь, слава Богу, берет свое, о чем свидетельствует выход в свет и данного труда С. Волкова, предостерегающего от очередной игры с огнем, которая развернулась на наших глазах.

ИВАН ПАНКЕЕВ

Волков С. В. НА УГЛЯХ ВЕЛИКОГО ПОЖАРА. — М.: Моя. гвардия, 1990.

Архивъ русской революцiи

Михаил Пришвин на встрече с рабочими. 1934 год.

М. ПРИШВИН

Не робейте, за нас индейцы!

Все лето, до самой рабочей поры, мы землю делили и столько из-за этого дележа приняли в душу свою злобы, столько смуты вышло и всякой попуты, а добыли всего-навсего по восьминнику!

Как досталось по восьминнику, поняли, что не стоило из-за этого было бездельничать и греха на душу принимать, лучше было бы идти за эсерами, дожидаться Учр. Большого Собрания, не слушать бы Федьку-большевика.

— Большевик виноват!

Нашли виновника, а земли все-таки нет и взять неоткуда, имения все разделены, или намечены к разделу, все пересчитано и, хоть три раза удавись на осинке, больше восьминника на душу не выдавишь.

Помню, выходит на сходке старик наш и вещает народу:

— Добрые люди, я вот что слышал от старых людей:

Продолжение. Начало в № 1/1991.

настанет время и последнюю землю кинете и так лежать она будет голая, и некому будет пахать ее.

Вспомнилось мне деревенское пережитое и эти загадочные слова в Александринском театре при дележе власти, и перевел я слова старика с земли на власть, что настанет время, и бросят никому не нужную власть, и будет она так болтаться из стороны в сторону, пока не возьмет ее проходимец.

Множество признаков всюду равнодушия и цинизма в отношении к этой некогда ненавистной и священной и страшной власти. Вот собралась толпа возле Народного Собрания: едет к театру Верховный Главнокомандующий всех сухопутных и морских сил Российской Республики.

— Ах, вы дураки, дураки, — проталкиваясь через толпу, говорит громко бывалый человек, — лезут на Керенского глазеть, вот добра не видали!

И никто за «добро» не вступается.

А когда началось это Собрание, начались всякие мальчишества. Стул у кого-то из членов Президиума покачнулся. Скобелев поправил ножку стула.

— Видно, что министр труда! — кричат.

И хохочут и радуются; все совершается так же, как и в волостных комитетах, только там делят землю, а тут власть. Какие только люди не выходили на сцену: выходили и от земли, и от городов, и от военных и от фельдшерских и от всяких организаций. Слушал я, слушал и, когда все в голове стало путаться, выхожу покурить. Возвращаюсь минут через двадцать в свое подполье, в оркестр, где сидят журналисты.

— Что вы сделали, что вы пропустили!

— Что я пропустил?

— Декларацию индусов!

— Памирских?

— Какие у нас индусы, от настоящих, из настоящей Индии: что индейцы ждут от нас, только от России, спасения, только на одних нас надеются!

Поговорили, потолковали с журналистами о том, что вот как это все чудно, будто, правда, это не Народное Собрание, а театр: мы землю делим, земли не оказывается, делим власть — власти не оказывается, делить вовсе нечего, а там вот люди за тридевять земель так душевно располагаются на нас. И вспомнилось мне про Индию из недавно пережитого в деревне.

В июне, когда пашут пар, когда* пришло вплотную время к дележу так, что хочешь ждать Учредительного Собрания — жди, не паши, а если не надеешься, то сейчас, только сейчас захватывай — удастся вспахать и посеять озимое, твой будет урожай. Вот в это самое время и принесла нелегкая этого черта рябого Федьку-большевика. Зажег Федька митинг нерасходный на выгоне.

— Берите, — кричит, — землю, боритесь, земной шар создан для борьбы!

А уж какой этот шар: по нашим деревенским знаниям и пониманию, земля вовсе не шар.

— Шар, — отвечают, — ну, ладно, а дальше что?

— Дальше: немедленно планомерно и неоднократно снимайте рабочих у помещиков, делите землю, пашите.

Смущены мужики, потому что на помещичьей земле всюду сидят тоже мелкие арендаторы и немимуемо с ними придется подраться и между собой, а там в этом имении еще винный склад.

— Идите, — кричит, — сейчас, снимайте рабочих, захватывайте, пощупаем их сундуки!

Митинг как пожар разгорается, оратор, будто пьяный, все говорит, и час, и два говорит, сядет отдохнет немного и опять говорит. Скажет: «Побудьте немного без меня», отойдет в сторонку, ляжет, вздремнет и потом опять и опять говорит и все от речей его, словно пьяные.

— Не думайте, — говорит, — что наши враги, — немцы, нет, германцы приятели наши, а враги наши англичане, нам с англичанами воевать нужно, и тогда за нас двинется Индия.

И опять свое:

— Земной шар, товарищи, создан для борьбы, за нас индейцы, не робейте, индейцы с нами, а Индия еще больше России!

До того заговорил, что хорошие степенные наши люди и те ошалели.

— Дружнее, товарищи, не робей, за нас индейцы!

Двинулись в Индию, а там оказалась вовсе не Индия, а просто винный склад: обыкновенная наша «винополия».

Так вот и в Александринском театре, в этом Народном собрании, совсем было мы приуныли от этого раскола нашего, несогласия, дележа, как вдруг выходят индусы и говорят:

— На вас вся наша надежда!

А мы, конечно, сейчас по градам и весям:

— Не робей, ребята, за нас индейцы!

О бесстрашии

Не бойтесь, друзья мои провинциалы, ехать в Петербург, уверяю вас, совершенно не страшно. Чего уж, кажется, страшнее наступления дикой дивизии месяц тому назад, как если подумать об этом где-нибудь в провинции. А на деле вышло очень просто. Газет в этот день, по случаю праздника, не ожидалось и слава Богу! Сижу я, письмо пишу. Наготовил писем, выхожу на улицу опустить. Встречается мне Марья Михайловна с корзинкой.

— Идемте, — говорит, — скорее идемте картошку покупать, я знаю одно место: продают по десять фунтов.

Служит Марья Михайловна в обсерватории и с корзинкой за картошкой вообще не ходит, и о продовольствии мы с ней никогда не говорим, а тут она хочет запасы картошки делать и еще увлекает меня — показалось странно.

— Боже мой, — говорит, — да вы ничего не знаете. Корнилов наступает с дикой дивизией, через день-два мы будем сидеть голодные, у вас нет корзинки, зайдемте ко мне, я дам.

Так я узнал в первый раз об этом страшном наступлении и... пошел за картошкой. Так что страшного ничего не было, только на всю жизнь врезалась в память картошка, и где теперь ни увижу картошку, непременно вспомню корниловское наступление.

С тех пор, как туман, повисла над городом опасность войны гражданской, густо повисла, определенно. Теперь уже открыто в газетах призывают к свержению Правительства и о гражданской войне говорят, как о неизбежном. И все-таки мы живем здесь и не хотим уезжать. Страх войны гражданской есть сложное чувство, не раз мне приходило в голову: «Как могут все эти специалисты по гражданской войне так легко говорить о ней, неужели они совершенно лишены морального чувства? И почему о войне с внешним врагом всегда на первом месте мораль, а о войне гражданской как-то весело, вприпрыжку». Приятель мой, вообще до волосинки моральный человек, говорит:

— Ну, и поколотят сколько-нибудь, при трех миллионах жителей это будет меньше, чем в Лондоне от трамваев.

И еще так:

— Пусть даже самая страшная Варфоломеева ночь, ну, тысяч тридцать, при трех миллионах опять пустяки.

Почему он, до волосинки моральный, о гражданской войне говорит без скорби, а так весело? Потому что он по этой части специалист и рассуждение имеет верное. Он знает, что наша обывательская жизнь есть постоянная война с великими жертвами, но мы привыкли и не замечаем ее. Теперь эта война переходит в сознание, началась борьба партий, которая приводит теперь к войне гражданской. Словом, раньше война была обывательская, а теперь с учетом и с выводом, в общей социологической схеме

---

* Помета автора: конец сделать так: двинулись громить винный склад, а Мих. Иван. доказал, что земля плоская и отговорил.

это считается шагом вперед, и потому приятелю моему, не признающему войны обывательской, сознательная война по душе, и сам он только и ждет того, как бы скорее дошло до него, чтобы его повесили, а идеи его восторжествовали, и на этот конец в его партии заготовлено знамя с изображением чаши, переполненной кровью и надписью: «Пролитая кровь обязывает».

Таков один путь преодоления страха крови, доступный очень немногим избранникам. Массы преодолевают иначе и прямо на опыте: во-первых, не всех же задевает крыло смерти и ловкому всегда можно улизнуть. А если уж и дойдет, то к тому времени так намотаешься от всяких недостатков, от смуты всякой в голове и на рынке, что как дойдет, скажешь: ну и вешайте, хуже не будет, валяйте! и с улыбкой наденешь петлю. С улыбкой шли на гильотину французы. А мы-то, читая историю, думали: «Вот герои!».

В первое время, отправляясь на войну, мы, не военные люди, до того боялись за нервы: «Как, я думал, смотреть буду там на «горы тел», если в обыкновенной жизни видеть не могу без содрогания ушибленного ребенка». Приезжаю на войну, в один только завоеванный город. Встречается знакомый профессор — хирург.

— Господин писатель, — говорит, — для вас любопытный эксперимент!

Едем с профессором в лазарет.

— Пожалуйста, десяточек рук!

Нам дают мертвые руки.

— Теперь, господин писатель, пойдемте, постреляем.

Чудеса и страсти великие и удрал бы, а стыдно удирать: малодушие.

Стрельба в мертвые кисти рук на близком расстоянии, в упор. Газы входят в пулевое маленькое отверстие и разрывают кисть. Фотографическое изображение дает звезду на ладони.

Стрельба на далеком расстоянии дает маленькое отверстие.

Звезда есть доказательство самострела.

По пути на место применения найденного метода исследования профессор мне говорит:

— Я сторонник гуманного отношения к «пальчикам» (так называются самострельщики). Комплекс социальных условий не всякого делает героем. А потому предлагаю не расстреливать их, а по излечении отправлять на передовые позиции в самые опасные места.

Так приезжаем мы на большой вокзал, весь заваленный ранеными: тут сидят, там лежат, стонут и корчатся тысячи раненых. Сначала испытываешь легкое головокружение, как при первой качке на корабле. Но профессор, как огромный чугунный столб, и я как будто держусь за него. Мы не обращаем внимания на тех, кто с разбитой челюстью и болтающимся языком беспрерывно мычит, кто лежит с закрытыми глазами и пальцами одной руки мнет и мнет какую-то бумажку, кто по-детски кричит, кто по-женски визжит. Мы с профессором подходим только к «пальчикам».

— Сестра Алиса, развяжите!

И пока развязывается рука:

— Господин писатель, вы должны быть психологом, этот раненый, по-вашему, герой или пальчик? Вы думаете, герой? Ошибаетесь, у вас глаз не наметался. Это трус!

— Пожалуйте!

На ладони у «пальчика» как на фотографии самострелянная звезда, очерченная кровью и порохом.

— Развяжите этому, сестра Алиса!

И так мы долго, как охотники за пальчиками, ходим «по мукам». Где-то в уголке совершает свое действо священник.

— Ну, господин писатель, теперь вы психолог.

Скоро я совершенно привык и стал среди этой «империалистической» войны жить так же специально, как специально живут теперь деятели войны гражданской.

И у вас всех теперь скоро страха не будет.

Продолжение следует.

Иван Сергеевич Шмелев всегда избегал говорить о своем неизбывном горе — потере единственного сына Сергея Шмелева, для него — Сережи, расстрелянного в Крыму в 1921 году.

«Это мое личное, я не хочу выносить это наружу», — говорил он и до конца нес молчаливо свою тяжкую скорбь о нем.

Немногие знают об этом страшном событии в жизни **Шмелевых**. При них никто и не решался ни вспоминать, ни говорить о происшедшей трагедии.

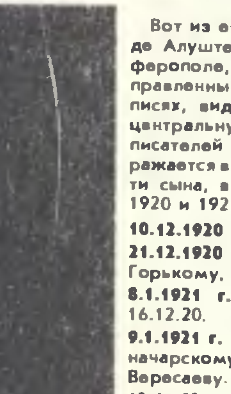
Профессор Николай Карлович Кульман писал:

«Не хочется сейчас говорить о тех страданиях, которые выпали на долю И. С. Шмелева, — скажу только, что чаша этих страданий была наполнена до краев. Что было пережито им в Крыму, мы можем догадываться по **«Солнцу мертвых»**, которое французский критик сравнивал с дантовским Адом по силе изображения. Но ад-то был реальный, земной, а не потусторонний. Самые интимные личные страдания, однако, в этой книге целомудренно скрыты, поэтому и мы не имеем права говорить о них, пусть о них когда-нибудь скажут другие».

Теперь, когда нет на земле Шмелева, я решаюсь сказать об этом страшном и недосказанном. Вначале я приведу выдержки из его записной книжки от ноября 1920 года в Крыму. В кратких записях уже отражается этот страшный период времени. Позже он повторен в **«Солнце мертвых»**.

Трагедия Шмелева

Ю. А. КУТЫРИНА



Вот из его записной книжки, в городе Алуште, затем в Феодосии и Симферополе, после ареста сына. По отправленным письмам, указанным в записях, видно, как он старался через центральную власть и через друзей-писателей спасти сына. Его мука выражается в тяжких предчувствиях смерти сына, в снах. Тогда шли страшные 1920 и 1921 годы.

10.12.1920 г. От Сережи письмо.

21.12.1920 г. Письмо Серафимовичу, Горькому, Луначарскому.

8.1.1921 г. Открытка от Сережи от 16.12.20.

9.1.1921 г. Телеграмма Горькому и Луначарскому и Рабенек. Телеграмма Вересаеву.

12.1.1921 г. Открытка от Вересаева.

19.1.1921 г. Открытка от Сережи от 27 декабря.

20.1.1921 г. Телеграмма Волошину.

22.1.1921 г. Под 21 видел сон. Банки варенья. Сад в черных ягодах. Временами страшное спокойствие?! Отупение?

25.1.1921 г. Снег. Вихрь.

29.1.1921 г. Видел во сне Сережу — он пришел! Я его целовал и еще видел несколько дней спустя: он как будто приехал с дальней дороги. Лежал в

чистом белье, после ванны. (Дата близкая к расстрелу сына Сережи. — Ю. К.)

5.2.1921 г. Выехали в Симферополь. Накануне сон: Сережа перевозил нас на особом аэроплане... высадил нас в Москве у часов Университета. Стрелка показывала без четверти семь вечера.

19.2.1921 г. Выехали в Феодосию. Прибыли 14-го — воскресенье.

22.2.1921 г. Выехали в Симферополь.

24.2.1921 г. Прибыли в Симферополь, среда.

17.3.1921 г. Вернулись из Симферополя.

30.3.1921 г. За молоко — 2 десятка яиц, одна бутылка портвейна, одна бутылка красного вина, 2 куска мыла. Павлин 20 000 рублей...

На этом обрываются заметки в маленькой клеенчатой записной книжке, из которой вырваны (из предосторожности) страницы.

Потом Шмелевы выехали из Крыма в Москву, не зная окончательно судьбы сына и все еще в надежде спасти его.

Как они ехали, видно из слов О. А. Шмелевой, приводимых Верой Николаевной Буниной в ее статье о ней: «Умное Сердце», и так правдиво записанных:

Ехали Шмелевы — «верхом на бревне, положенном на тележные колеса, из Алушты в Феодосию...». Так просто рассказывала О. А. Шмелева. «Только ноги очень мерзли — думала, и не доеду.»

Погибали в дороге Шмелевы и от голода... Их спасла краюха хлеба, вытащенная из-под полы и вынесенная писателю **Шмелеву** таким же «бывшим человеком», который случайно узнал автора «Человека из ресторана» и, когда не было хлеба, в благодарность за его понимание «судьбы» и души человека, поделился с писателем этим куском, быть может, последним.

Так доехали Шмелевы до Москвы, но и в Москве, несмотря на все розыски, ничего узнать о сыне не могли. Надежды почти не оставалось. Нервы и здоровье Ивана Сергеевича так пошатнулись, что на его личную просьбу и хлопоты собратьев-писателей отпустить на кратковременную поправку за границу не последовало обычного отказа, за него поручились, и он с женой выехал 20 ноября 1922 года из Советской России в Берлин. Вот отрывок из его первого письма ко мне после выезда 23.11.22. Он пишет:

«...Мы в Берлине! Неведомо для чего. Бежал от своего горя. Тщетно... Мы с Олей разбиты душой и мыкаемся бесцельно... И даже впервые видимая заграница — не трогает... Мертвой душе свобода не нужна.»

1.12.22 г. «Итак я, может быть, попаду в Париж. Потом увижу Гент, Остенде, Брюгге, затем Италия за один или два месяца. И — Москва! Смерть — в Москве. Может быть, в Крыму. Уеду умирать туда. Туда, да. Там у нас есть маленькая дачка. Там мы расстались с нашим бесценным, нашей радостью, нашей жизнью... — Сережей. — Так я любил его, так, так любил, и так потерял страшно. О, если бы чудо! Чуда, чуда хочу! Кошмар это, что я в Берлине. Зачем? Ночь, за окном дождь, огни плачут... Почему мы здесь и одни, совсем одни, Юля! Одни. Пойми это! Бесцельные, ненужные. И это не сон, не искус, это будто бы жизнь. О, тяжко!..»

13.1.23. — Я получила письмо из Берлина, которое, казалось, вернуло надежду:

«Милая Юлечка! Не знаю, верить или нет? Делали публикацию о Сережечке, получили сведения, что:

Сергей Иванович Шмелев находится в Италии, штабс-капитан. Все это подходящее, но года не указаны. Посылаем туда справку...»

Но все оказалось жуткой эксплуатацией чужого горя и человеческой скорби. Ими внесена была довольно крупная сумма на справки. И вот письмо от Шмелевой:

«Ваня думает выбраться отсюда не раньше весны... Мне же теперь все равно, где не жить, ехать иль не ехать, я теперь уже не живу, двигаюсь так, как автомат. Живу еще маленькой надеждой, которая с каждым днем тает».

Вскоре все надежды рухнули. Все оказалось ложью, выманиванием денег у утопавших в горе людей, цеплявшихся в отчаянии за все, только бы найти сына, только бы его спасти, любой ценой!

За это время Иван Сергеевич получает дружеские, бодрящие письма от **И. А. Бунина**, который зовет его в Париж.

«25 ноября 1922 года. — Дорогие милые, сию минуту получил письмо от вас. Взволновались до растерянности. Спешу сказать два слова: все, все будем счастливы для вас сделать... Нынче же Вам напишу, как следует, а пока только горячо обнимаем Вас. Ваш **Ив. Бунин**».

«25 ноября 1922 г. — Дорогой друг, послал Вам записочку, второпях. Теперь пишу толковое. Не буду говорить о чувствах, это прямо непосильно, без слов обнимаю вас. И к делу. А все дело, конечно, в вопросе — ехать ли Вам в Париж? Отвечу так: боюсь, не смею звать Вас, но помимо того, что ужасно хочу вас видеть, думаю, что Вам бы следовало бы рискнуть немедля выехать сюда... Визу достать в Париж очень трудно, но думаю, что достану все-таки мгновенно. Решайте же, и скорее... Целую, ждем ответа. Ваш **И. Бунин**».

«6 декабря 1922 г. — Дорогой Иван Сергеевич, сейчас пришло письмо от Вас, а я думал, что Вы уже в пути! Уж назвал на 10-е кое-кого из друзей на обед у нас с Вами»...

«Очень благодарю за письма, очень хороши и очень волнуют. Целуем Вас обоих. Всей душой Ваш **И. Бунин**».

Получив наконец визу, Шмелевы 17 января 1923 года приезжают в Париж.

Но через 6 месяцев в Париж приезжает из Москвы и **Н. С. Ангарский** и запрашивает И. С. о его возвращении на родину. И. С. Шмелев из Грасса, где он проводит лето на даче у Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных, пишет мне:

«...У меня к тебе большая просьба... Может быть, Н. С. Ангарский, который за меня поручился... может сообщить что-нибудь важное о моих родных... Узнай от него, как обстоит дело с его поручительством, меня это очень мучает... Я надеюсь, что у него не было особых неприятностей. Я решил остаться свободным писателем, чего в России нельзя получить. Скажите ему, что я по-прежнему признателен ему за все, что видел от него доброго...»

Иван Сергеевич Шмелев решает остаться во Франции...

О страшном конце сына, об убийстве его большевиками он узнает вскоре из случайной встречи со спасшимся от расстрела доктором, о которой он пишет позже в своем письме к защитнику такого же русского юноши **Конради**, — А. Оберу.

ПИСЬМО И. С. ШМЕЛЕВА

Господину Оберу, защитнику русского офицера Конради, как материал для дела.

Сознавая громадное общечеловеческое и политическое значение процесса об убийстве Советского Представителя Воровского русским офицером Конради, считаю долгом совести для выяснения истины представить Вам нижеследующие сведения, проливающие некоторый свет на историю террора, ужаса и мук человеческих, свидетелем и жертвой которых приходилось мне быть в Крыму, в городах Алуште, Феодосии и Симферополе, за время с ноября 1920 по февраль 1922 года. Все сообщенное мною лишь ничтожная часть того страшного, что совершено Советской властью в России. Клятвой могу подтвердить, что все сообщенное мною — правда. Я — известный в России писатель-беллетрист, Иван Шмелев, проживаю в Париже, 12, рю Шевер, Париж 7.

1. — Мой сын, артиллерийский офицер 25 лет, Сергей **Шмелев** — участник Великой войны, затем — офицер Добровольческой Армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом, служил в Армии Врангеля, в Крыму, в городе Алуште, при управлении Коменданта, не принимая участия в боях. При отступлении добровольцев остался в Крыму. Был арестован большевиками и увезен в Феодосию «для некоторых формальностей», как на мои просьбы и протесты ответили чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников, чиновников. Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и расстреляли. Я тогда этого не знал.

На мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, мне отвечали усмешками: «Выслали на Север!» Представители высшей власти давали мне понять, что теперь поздно, что самого «дела» ареста нет. На мою просьбу Высшему Советскому учреждению ВЦИК — Всер. Центр. Исполнит. Комит. — ответа не последовало. На хлопоты в Москве мне дали понять, что лучше не надо «ворошить» дела, — толку все равно не будет.

Так поступили со мной, кого представители центральной власти не могли не знать.

2. — Во всех городах Крыма были расстреляны б е з с у д а все служившие в милиции Крыма и все бывшие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся в политике.

3. — Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до подштанников, босых, голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные одеяла, что подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих послали в шахты.

4. — Всех, кто прибыл в Крым после октября 17 года без разрешения властей, арестовали. Многих расстреляли. Убили московского фабриканта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных, — за то, что они приехали в Крым из Москвы, — бежали.

5. — В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла идти — ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех.

6. — В г. Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата, Дмитрия, лично мне известных. Первый служил при коменданте города. Их обвинили в разбое, без всякого основания, и несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в г. Ялте без суда. Это происходило в ноябре 1921 года.

7. — Расстреляли в декабре 1920 года в Симферополе семерых морских офицеров, не уехавших в Европу и потом явившихся на регистрацию. Их арестовали в Алуште.

8. — Всех бывших офицеров, как принимавших участие, так и не участвовавших в гражданской войне, явившихся на регистрацию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них — инвалидов великой войны и глубоких стариков.

9. — Двенадцать офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии в январе-феврале 1922 года и открыто заявивших, что приехали добровольно с тоски по родным и России и что они желают остаться в России, — расстреляли в Ялте в январе-феврале 1922 года.

10. — По словам доктора, заключенного с моим сыном в Феодосии в подвале Чеки и потом выпущенного, служившего у большевиков и бежавшего от них за границу, за время террора за 2–3 месяца, конец 1920 года и начало 1921 года, в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке, Старом Крыму и проч. местах — было убито без суда и следствия **до ста двадцати тысяч человек — мужчин и женщин, от стариков до детей.** Сведения эти собраны были по материалам — бывших союзов врачей Крыма. По его словам, **официальные данные указывают цифру в 56 тысяч.** Но нужно считать в два раза больше. По Феодосии официальные данные дают 7–8 тысяч расстрелянных, по данным врачей — свыше 13 тысяч.

11. — Террор проводили по Крыму — Председатель Крымского Военно-Революционного Комитета — венгерский коммунист **Бела Кун.** В Феодосии — Начальник Особого Отдела 3-й Стрелковой Дивизии 4-й Армии тов. Зотов и его помощник тов. Островский, известный на юге своей необычайной жестокостью. Он же и расстрелял моего сына.

Свидетельствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких расстрелянных. Было много расстреляно татар. Одного учителя-татарина, б. офицера, забили насмерть шомполами и отдали его тело татарам.

12. — Мне лично не раз заявляли на мои просьбы дать точные сведения, за что расстреляли моего сына, и на мои просьбы выдать тело или хотя бы сказать, где его зарыли, уполномоченный от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии Дзержинского, Реденс, сказал, пожимая плечами: «Чего вы хотите? Тут, в Крыму, была такая каша!..»

13. — Как мне приходилось слышать не раз от официальных лиц, было получено приказание из Москвы — «Подмести Крым железной метлой». И вот — старались уже для «статистики». Так цинично хвалились исполнители. — «Надо дать красивую статистику». И дали.

Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 года по февраль 1922 года. Если бы случайное чудо и властная Международная Комиссия могла бы получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с избытком поглотил бы все преступления и все ужасы избиений, когда-либо бывших на земле.

Я не мог добиться у Советской власти суда над убийцами. Потому-то Советская власть — те же убийцы. И вот я считаю долгом совести явиться свидетелем хотя бы ничтожной части великого избиения России, перед судом свободных граждан Швейцарии. Клянусь, что в моих словах — все истина.

И. С. ШМЕЛЕВ.

Страшная трагедия, случившаяся в Крыму, отраженная в его «Солнце мертвых», отняла у Ивана Сергеевича не только единственного сына, она была причиной и ранней кончины его жены-друга и ангела-хранителя Ольги Александровны Шмелевой. После всего пережитого у нее началась болезнь сердца, которая и свела ее преждевременно в могилу. Она скончалась 22 июня 1936 г.

Привожу стихотворение **И. С. Шмелева**, написанное на ее могилке:

НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ ОЛЕЧКЕ

Крест голубцом, и у Креста береза.
И другом присланная роза*.
Могилка, — мягкая, как и душа ея.
Вся — высшая любовь. По ней печаль моя...
Самоотверженно она меня хранила.
И мой нелегкий труд России подарила.

Ив. ШМЕЛЕВ.

Все пережитое О. А. и И. С. Шмелевыми, там, в Крыму, где погиб во имя Белой Идеи их единственный сын, выражено писателем в «Солнце мертвых», — но в этом страшном документе целомудренно скрыто его личное.

Вот что пишут о нем современники, — и это только краткие отрывки:

«Велика власть таланта, но еще сильнее, глубже и неотразимей трагизм и правда потрясенной и страстно любящей души... — Видимые и невидимые слезы, боль мученичества, неисцелимая скорбь... — Никому больше не дано такого дара слышать и угадывать чужое страдание, как ему...»

Несчастной татарке (в «Солнце мертвых») принесли тело ее сына, и на горной глухой дороге она целовала его в мертвые глаза. Седой татарин, возница, утирая слезы, сказал ей последнее утешительное слово: «Не плачь, горькая женщина! Лучше своя земля».

«Солнце мертвых» — книга **Иова** — ..трагическая и страшная... Это грандиозное зрелище погибания неумолимого... все вянет и подыхает — и человек, и зверь, и трава. Грядет красный ужас. В каменной тишине рассвета глядят «замученные глаза» — распятый рай»... — Н. ПИЛЬСКИЙ.

«Солнце мертвых» — книга ужаса и скорби по погибающим ценностям человеческого духа. Для современного мира она звучит призывом: одумайтесь, пока не поздно; поймите, что вся ваша культура и цивилизация на краю бездонной пропасти». — Н. К. КУЛЬМАН.

«Солнце мертвых» останется в художественной сокровищнице русской культуры, среди тех кровью и слезами написанных человеческих документов, какие грядущим поколениям расскажут о водворении ада на русской земле — Апокалипсис Русской Истории». — Ю. АЙХЕНВАЛЬД.

«Страшная книга, — как у Шмелева хватило сил написать эту книгу. Ибо более страшной книги не написано на русском языке». — АМФИТЕАТРОВ.

«Только очень крупный художник мог связать в страшный космический смысл все ужасы революции с интимными трагическими переживаниями, выйти из пределов личного горя и ужаса...» — Вл. ЛАДЫЖЕНСКИЙ.

Томас Манн писал, что лишь по этому произведению русского писателя постиг он **суть** русской трагедии, понял «лик революции».

Герхард Гауптман пишет: «Немецкой литературе вышла новая драгоценная книга «Солнце мертвых».

Сельма Лагерлёф: «Вы создали из событий этих страшных дней большое художественное впечатление... Скорблю о том, что все, что вы описываете, произошло в нашей Европе и в наши дни».

«О чем книга Ив. Серг. Шмелева? О смерти русского человека и русской земли, о смерти русских трав и зверей. Русских садов и русского неба. О смерти **русского солнца.** О смерти всей вселенной — когда умерла Россия, о мертвом солнце мертвых». — Ив. ЛУКАШ.

И только умолчал Шмелев в этой книге о своей личной трагедии — убиении его единственного сына Сережи, там же, в Крыму, под солнцем мертвых. Нигде, никогда не писал Иван Сергеевич об этом своем личном неизживаемом горе, которое прошло через всю его жизнь, через все его творчество.

И вот остались **«сны о сыне»**, которые я беру из записей Шмелева в книжке с вырванными страницами:

СНЫ О СЫНЕ СЕРЕЖЕ

Париж. Днем. Понедельник. 27.III — 9 апр. 23 г.

Видел во сне: старая пожилая рус-

* Роза, присланная проф. Ив. Александровичем **Ильиным** из Берлина, осень 1936 г.

ская женщина, похожая на служившую у д-ра Коноплева. Будто комната с накрытым столом, гости. И вот, женщина с лицом, как бы взволнованно-напряженным, таящим в себе что-то, что она сейчас торжественно-радостно сообщит. Я жду в волнении. И она говорит с тем же взволнованным и бледным лицом:

— А ведь ваш сын, ваш Сережа — жив!

— Жив?! — Я сдерживаюсь, как бы от радости — и боли, что это окажется ложью. Зову — Оля!

Кажется, пришла Оля. Женщина говорит:

— Мне сообщили, в письме написано, — служит — ? — или находится на гауптвахте!

Далее не помню. Она была в чистом ситцевом платье — светло-голубого цвета.

А лицо бледное, очень мертвенно бледное.

Днем 25.IV.23.

Видел сон: я сильно подавлен — во сне это. И вот я вижу — в какой-то комнате — молодой человек, очень похожий на Сережечку, но бородка юности чуть рыжевата.

Всматриваюсь — он! Сережа! И я кричу, бросаюсь к нему, целую. Кричу, стараясь и себя убедить: «Оля! Ведь это же он!» Он с нами, а мы этого точно не видим: это же Сережечка, с нами, а мы этому до сих пор не придавали значения, не ценили! — И он как-то мило, смущенно дает себя ласкать, — что сказал он, не помню. Костюм его как будто сероватый гимназический.

Сказал как будто что-то: ну, вот, папа... видишь...

17-го мая 1923 г.

Видел Сережечку... где-то в большой комнате у столба.

Он... лицо немного болезненное. Ему необходимо идти куда-то, куда-то его требуют.

Он смотрит на меня, как бы прося глазами, но как всегда, скромный, деликатно говорит, чуть слышна просьба:

— Ну, папочка, ведь у меня 39 градусов одна десятая.

Повторил два раза. Я его, кажется, целую или с великой жалостью держу за плечи.

Он, кажется, в ночной сорочке. Я смотрю — шейка голая, желтоватая, и с левой стороны от меня, на шейке немного загорелой, — желтоватой, — мазок кровяной. И его глаза, милые, кроткие глаза...

Сон: под пятницу, — на 27 мая — 14 — 1927:

Как будто я во Франции, но где — не знаю. Кто-то — не вижу — внушает мне: надо пойти в комнату или переднюю... там кто-то пришел. Вхожу. Комната пустая, высокая, как будто арка, но не круглая, а как бывает в вестибюле — квадратные колонны — простенки. И прилавок, или барьер, как в раздевальнях. Стоит в драповом не новом пальто — молодой человек. Я вижу его спину, голову остриженную, или вернее, подстриженную. Бледная щека. Он обертывается и говорит как будто: «Я приехал» — или мне кажется, что он это говорит своим лицом. Я чувствую, что обрел — великую радость... что это он, Сережечка.

Я вглядываюсь, радостный, в его лицо — ведь он должен был измениться. — Он ли? Он, я узнаю его глаза, овал лица, — чуть изменился! — но это он, он... Лицо бледное-бледное, чуть желтоватое — видно, много перенес страданий! — Я беру его за плечи, прижимаюсь к нему и говорю — думаю! Теперь ты с нами, всегда, ты должен жить покойно, у меня есть все возможности, будешь отдыхать, жить... Он немного грустный, лицо как будто одутловато чуть. Радость во мне трепещет, я его обнимаю, а он молчит, а может быть, что-то говорит — как будто, что — это же не я, я... — и — конец...

* * *

Какое страшное горе пришло к нам, как страдали Шмелевы, — так мучились и миллионы русских людей.

Приведя **«Солнце мертвых»** — эту трагедию русского народа и **«сны о сыне»** — эти живые документы страшной муки, пережитой дядей Ваней — Иваном Сергеевичем Шмелевым и его женой, и страданий, не покидавших его до самого конца, — я хотела приоткрыть русскому читателю эту личную драму писателя, о которой сам он при жизни не мог никогда говорить — **так она была велика.**

ИВАН ШМЕЛЕВ

В Виноградной Балке

Виноградная Балка... Овраг? Яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы — золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно — море. И — виноград зреет.

Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма. Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены — мои хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут — яблоки, виноград, груши...

Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: поела цветы «мохнатая оленка». Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих: они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.

Грецкий орех, красавец... Он выходит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка — поровну всем... Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое... А ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать...

Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое...

Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной Балки, ото всего закрыться. Только — лозы... Рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья,— прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто! Откосы, один — тенистый, солнцем еще не взятый; другой — золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.

Взглянешь назад — синее окно, море! Круто падает балка, и в тесном ее порыве — синяя чаша моря: пей глазами!

Хорошо так сидеть, не думать...

Пустынным криком кричит павлин:

— Э-оу-а-ааааа...

Нельзя не думать: настежь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах — кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:

— Хле-а-ба-аааа... са-мый-са-аааа в пуговичку-ууу... са-а-мый-са-аааа...

Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.

— Ах, Вòводичка... какой ты... Я же тебе сказала...

Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке — бьются.

— Са-а-мый-са-ааааа...

— Я же тебе сказала... Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем...

— Хочу са-а-ла-аааа...

— Ну, что ты из меня ду-шу тянешь!.. Ля-ля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..

Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:

— А-а... сала тебе?! сала? Я тебе такого сала..! Ухи тебе насалить?

— Ля-ля, оставь его... И потом, нельзя говорить... у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: насалить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься...

По-французски! У смерти... — и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка... Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж... А теперь в Париже...

Странно... когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, и вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке, и — о Париже! Не исчез ли и он из жизни?..

Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже... Так далеко отсюда! Она... в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку... Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед «Венерой» и «Нотр-Дам»...! Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль! Боится, что отнимут у нее какой-то коврик... Каждую ночь дрожит — вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чушь какая!

Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, — у Мопассана было... — и высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля?! гремит и сейчас в огнях?!! и люди весело и свободно ходят по улицам?!.. Париж... — а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж... — а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих и животные постигают ужас!..

На каком это свете деется? На белом свете?!!..

Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города — великих! Стоите ли вы еще? Смотрите ваши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных, — в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах... и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человечьих — пирам веселье, человечьи кости — игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи — работы северных мастеров, «русский» волос — на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты — на портсигары, раки святых угодников — на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечьей крови... ч у ж о й крови.

Цела Европа? Не видно из Виноградной Балки. Как там — с... «правами человека»? В Великих Книгах — все ли страницы целы?..

О, Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны — нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его — нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает за край земли, ловит все голоса земные... Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.

Не слышит. Гремят золотые трубы...

— Хле-э-ба-ааааа...

А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами и на полках лежат свободные караваи, лежат до вечера... Да есть ли?!..

— Сил моих нету, Го-споди... Ляля, да возьми от меня Вòводю! Няня сейчас придет... Ну, дай ему грушку погрызть, что ли... И когда только эта мука кончится!..

Кончится! Она только еще подходит. Вон — «Безрукий», слесарь из Сухой Балки, вчера съел рыженькую собачку Минца... А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного... А у нее, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье... хрустальное ожерелье — из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это — солнце обманывает, блеском, — еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, «бархатный» сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями... Всегда будет празднично-голубое море, с серебряными путями.

Умеет смеяться солнце!

А вот скоро ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи, от черного Бабугана натянет ливни, — тогда...

А теперь... — яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате... золотится чауш, розовая шасла, мускат душистый... как смородина черная — мускат черный, александрийский... На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного хлеба!..

Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были — погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин, — день за днем добивают мои запасы.

Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда... — как это давно было! — у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал: пей глазами!

И я ее пил... сквозь слезы.

МАРТ-СЕНТЯБРЬ 1923 г.
ПАРИЖ — ГРАСС.

Продолжение в следующем номере.

Главы из «Солнца мертвых». В СССР публикуются впервые.

Сам себе предок

Последняя фотография И. Д. Сытина. Публикуется впервые.

Исполнилось 140 лет со дня рождения русского самородка Ивана Дмитриевича Сытина. Начав трудовой путь с единственным достоянием — нравственным здоровьем и исконно крестьянской любовью к труду, он, благодаря неиссякаемой энергии, сметке и неизбывной любви к книге, создал огромное по размаху и значению книжное дело, которое накануне первой мировой войны давало стране четверть всей книжной продукции. Недаром писатель В. И. Немирович-Данченко назвал Сытина «сам себе предок».

Имя этого «удивительного капиталиста» до сей поры памятно и уважаемо в народе за бескорыстное служение идее просветительства и глубокую порядочность. Сытинские издания русских классиков, лучших произведений зарубежной литературы, букварей и других учебников, библиотечек для самообразования, лубков, детских книг, календарей позволили приобщить множество людей к знанию и культуре. Следует вспомнить и о том, что Сытин впервые в нашей стране предпринял выпуск Народной, Детской и Военной энциклопедий. Известный русский педагог и писатель В. Вахтеров справедливо отмечал: «Книги его дешевы, портативны, и потому они легко могли проникнуть туда, где нет ни лекций, ни лабораторий, ни музеев, ни университетов... Он осуществляет такую грандиозную мечту, как издать и распространить в широких народных массах сотни миллионов экземпляров хороших книг, провести их в самые глухие углы нашей родины, сделать их по дешевизне доступными неимущему рабочему и бедному крестьянину...»

Эти неоспоримые заслуги Сытина позволили Леониду Андрееву с пафосом произнести: «Приветствуем его безошибочное чувство жизни, приведшее его на тот единственный путь, а конце которого — возрождение России». И сегодня, в год юбилея выдающегося издателя-просветителя, особенно многозначительны и уместны сказанные им слова: «Каждый день моей жизни был настоящим торжеством, великолепным духовным праздником. Это потому, что наша интеллигенция, наши писатели, наши художники, с которыми я работал, всегда готовы идти навстречу народу... И вот теперь... я взываю к обществу: сделаем такое дело, которое должно оплачиваться не деньгами, а любовью... Я бы умер счастливым, если бы осуществилось это великое, не сытинское, а общественное дело, которое ждет всех нас...»

Наш журнал, отдавая дань уважения подвижнику земли русской, продолжает начатую в прошлом году серию публикаций материалов сытинского архива. В этом деле мы в известной мере видим свой долг в восстановлении истины. Ведь даже то, что уже вошло в издания воспоминаний Сытина «Жизнь для книги» (1962 и 1978 гг.), включает далеко не все страницы, предназначенные автором для публикации, часто произвольно сокращено ретивыми редакторами или же просто искажено по смыслу. Так, например, на главе из воспоминаний Сытина, которую мы предлагаем здесь вниманию читателей, чей-то, видимо, «руководящей» рукой, начертано: «Никакого отношения к издательской деятельности не имеет. Включать не следует»...

ИВАН СЫТИН

Последняя ставка

Временное правительство уже заседало, и «первенец революции» А. Ф. Керенский уже захлебывался в бурном потоке собственных речей.

Переворот совершился, самодержавие пало без сопротивления, как падает жертвенное животное, приведенное к алтарю. Слово «революция» еще писалось с большой буквы. На митингах, как на уличных кострах, еще вспыхивали словесные огни и речи произносились еще с «подъемом». Но в народе, но в армии, но в обществе уже чувствовалось разочарование и растерянность, и перед измученной страной во весь рост вставал грозный вопрос:

— Неужели вот этот бритый молодой человек, этот «первенец революции», столь охрипший от тысячи речей, поднимет на свои плечи Россию? Неужели все сделает он, счастливый присяжный поверенный: и войну закончит, и русский хаос победит, и даст народу мир и хлеб?

И ни у кого не было уверенности, что все это сделает охрипший молодой человек. А время было грозное, жуткое, страшное.

С фронта, как зловещие тучи, нескончаемой грядой ползли панические известия, одно другого безотраднее. На улицах, у хлебных лавок, стояли нескончаемые хвосты, и жутко было смотреть на эти серые, землистые и злые лица женщин. Цены росли с фантастической быстротой, и покупная сила денег с такой же быстротой падала. Фунт картошки уже продавался по 1 рублю, уже нельзя было достать хлеба, масла, мяса. Начались грабежи. Слово «буржуй» уже сделалось бранным, и слово «товарищ» сделалось модным. Ночное движение по улицам стало положительно опасно. Прохожих раздевали почти донага. Снимали шубы, пиджаки, даже штаны. Часто били. В Петербурге, на трескучем морозе, раздели революционного министра г. Пешехонова. Участилась бессмысленная и немотивированная стрельба на улицах, точно винтовки и револьверы сами собой стреляли с наступлением темноты. Старые, привычные устои жизни повалились, как карточные домики, и серый, злой, нелепый хаос пришел на смену порядку. Трамваи еще ходили, но уже трудно было пробраться в вагон сквозь толпу распущенных солдат. На железной дороге уже ездили на крышах. Водопровод, телефон, электричество уже работали с перебоями. С каждым днем хвосты у лавок росли и лица женщин делались все злее и зловещее. Приближалось царство мешочников, и вместе с тем росла тревога за исход войны. В каждом сердце невольно теснилась одна и та же жуткая мысль:

— А ну, как солдат уйдет из окопов. А ну, как вся наша «действующая армия», диким табуном в 15 миллионов человек, бросит фронт и хлынет а Москву. Ведь ничего не останется, ведь сотрут с лица земли.

Так и тянулись эти серые зловещие дни. Никакого просвета нигде не чувствовалось, и все наши надежды догорали, как потухающая свеча. Подходили к концу «судьбой отсчитанные дни»... Но неужели пропало все? Неужели все наши упования мы возлагали всегда только на начальство и теперь, когда начальство ушло, мы, как слепые щенята, располземся в разные стороны? Неужели мы, коренные москвичи, не избавим от голода наш родной город? Мысль о том, что Москве можно еще помочь, преследовала меня неотступно. Мне казалось, что купцы, деловые люди, умевшие создать миллионы, теперь поймут, что завтра же эти миллионы превратятся в черепки от разбитых горшков.

Ведь это не только жестоко, думалось мне, но и глупо, просто глупо сидеть на золотых мешках среди бушующего голодного моря. Разве не ясно, что мешки пойдут на дно со всеми, кто на них сидит. Народу надо бросить хоть какой-нибудь спасательный круг. Люди богатые должны идти на жертвы, на самые большие жертвы и не ждать же нам, пока охрипший молодой человек спасет Россию словами. Эта мысль, должно быть, приходила в голову многим. Осенила она и меня, и я поделился своими соображениями с моим другом Н. А. Второвым. Второв был одним из самых богатых людей в Москве и был известен как человек большого ума, огромной выдержки и незлого сердца. Это был настоящий европеец среди московского купечества и даже по внешнему своему облику (он был очень красив) сильно выделялся из толпы. В кабинете, за чайком, я начал этот мучительный для меня и такой волнующий разговор.

— А что, Николай Александрович, дорогой, время-то надвигается серьезное. Совсем строгое время... Тебе не кажется, что мы с тобой можем на плаху лечь? Дело-то близится к развязке, и если будем сложа руки сидеть, так того и гляди туловище наше с тобой на голову короче станет.

— Да, время строгое. Давай же думать, что еще можно сделать в этом сумасшедшем доме. Ждать ведь некогда.

— А что же делать. Становись на стол, Николай Александрович, ты человек большой, сильный, замени Москве Минина. Больше ведь и некому. Я так и думаю, что время настанет жертвенное. Довольно на деньгах сидеть. Надо отдать все, что имеем, даже последнее. А пока что соберем общественный капитал в Москве. Миллионов триста ведь соберем. И пошлем артель, человек 100, по России: пусть скупят все, что необходимо для питания народа, ведь чиновники ни купить, ни продать не умеют. А мы купцы, так нам и книга в руки. Подвезем продовольствие к Москве и продавать будем дешево: по своей ли цене, или ниже своей, как придется, но только это и прекратит ропот в народе. Сытое брюхо к революции глухо.

Второв слушал меня, внимательно склонив на бок свое красивое, умное лицо.

— Что и говорить, ты прав, Иван Дмитриевич... Дело это безотлагательное.

— Когда же начинать?

— Да как можно скорее. Нам с тобой надо собрать самых близких людей. Ты возьми своих пять человек, я своих пять, всего, значит, будет 12... Соберемся и обсудим.

— Ладно. А где собраться?

— Да хоть у меня дней через пять; надо со всеми поговорить предварительно, всем объяснить дело, чтобы каждый пришел на собрание с готовым мнением и мог определить свою сумму взноса.

Второв говорил с такой отзывчивостью, что меня это даже растрогало.

— Ну, милый мой, брат мой названный, давай помо-

лимся, и с Господом Богом за работу. Ведь дело это решит вопрос жизни и смерти...

На другой день я стал сколачивать свою «пятерку» и первое имя, которое пришло мне в голову, было, конечно, Морозовых. Варвара Алексеевна Морозова была едва ли не самой богатой женщиной в Москве. Ей принадлежала знаменитая Тверская мануфактура, и на фабриках ее было около сорока тысяч рабочих. А так как Варвара Алексеевна сверх того была очень умна, очень отзывчива и по родственным связям своим примыкала к высшему слою московской интеллигенции (она была замужем за проф. Соболевским, одним из владельцев «Русских Ведомостей»), — то я почти не сомневался в успехе. Старая, лет 85-ти, но еще бодрая и сильная женщина, с остатками большой красоты на лице, Морозова встретила меня очень сочувственно. Без лишних слов я объяснил ей, в чем дело, и поставил вопрос прямо:

— Желаете или не желаете принять участие в этом деле?

— А в какой сумме?

— От вас, Варвара Алексеевна, желательно бы получить миллионов 15.

— А ты сколько дашь?

— Я дам все, что у меня есть, — шесть миллионов.

— Хорошо. Я согласна. Ступай к Ване (старший сын Морозовой, директор фабрики) и скажи ему, что я согласна и благословляю это дело. Пусть подпишется на 15 миллионов.

Я знал, что слово матери было законом для Морозова и что никаких возражений не последует. И действительно, едва я объяснил сыну, в чем дело, как он сказал:

— Воля мамаши будет исполнена в точности. Назначьте день, когда вам доставить деньги.

Но зато совсем иначе встретил меня второй член нашей пятерки, директор торгового банка. Угрюмо потупившись, он выслушал меня и угрюмо пробурчал:

— Это глупости... Дело это общественное, и начинать его надо в общественном порядке. Частная благотворительность меня не интересует. Вот если соберется городская дума, да поднимет вопрос в общем порядке...

— А вы сами разве не имеете собственного мнения? Ведь нам нужно только знать: согласны ли вы участвовать или нет.

— В частном деле я участвовать не буду... Только в общественном, только в общественном...

Не без чувства раздражения вышел я от этого сухого, угрюмого человека. Понимает он или не понимает, что говорит? Отдает или не отдает он себе отчет в том, что творится вокруг него? Какие же громы должны еще загреметь, чтобы этот засохший банкир перекрестился!

Третий член «пятерки», богатый сукоищик, встретил и выслушал меня не без некоторого замешательства.

— Конечно, это нужно, я понимаю, ио я должен посоветоваться раньше с женой и с сыном — профессором... Тогда и сумму определю...

Я не вытерпел:

— А ты, когда становишься на молитву перед образом, тоже у жены и сына спрашиваешь? Или ты не понимаешь, что дело это важнее молитвы? Ну, что ж, спросись у жены, если нельзя тебе без этого. И с сыном поговори. Революция подождет...

Нет, эти люди еще не все поняли. Еще нет ясного сознания, какая гора на них надвигается и чем угрожает. Хорошо еще, что у него мамаши нет, а то и с мамашей побежал бы совет держать: тушить ли пожар или сложа руки сидеть. Несколько утешил меня четвертый член нашей «пятерки», очень богатый, но очень скромный и милый молодой человек. В первый раз я его не застал и только объяснил его жене, что пришел, мол, остричь ее мужа на пять миллионов рублей. Этого было, однако, довольно, чтобы молодой человек сам прибежал ко мне с выражением своего искреннего сочувствия делу.

— Начинайте, Иван Дмитриевич. Давно пора, дай Бог удачи. Я с большой радостью... Дело это спасительное.

Пятый член моеи «пятерки» энтузиазма не проявил, но сказал, что готов дать нужные деньги.

— Что ж, начинайте... Если надо, я подпишусь...

Итоги, таким образом, если и не были блестящи, то все-таки кое-что обещали. Несколько десятков миллионов чувствовалось в перспективе, и нужно было только согреть общество, чтобы добрый пример нашел подражателей.

Главное, если так называемые «столпы» купечества пробьют лед общего равнодушия и общей инертности. Лиха беда начать.

С большим нетерпением ждал я первого собрания у Второва, чтобы сделать, так сказать, смотр купеческой рати. Но к удивлению и огорчению моему, Второв по телефону попросил перенести заседание с четверга на субботу.

— Мне нездоровится. У меня грипп... Не у тебя ли я его и захватил, ты тоже ведь был болен.

Странно прозвучала в моих ушах эта просьба. Такой умный человек, а не понимает, как смешон его грипп в сравнении с тем, что надвигается.

Тем не менее заседание пришлось отложить, и оно состоялось только в субботу. Кроме купцоа и фабрикантов (в большинстве мануфактуристов) пришли и люди другой среды и другой складки: проф. князь Трубецкой, бывший министр Кривошеин и пр. Все, конечно, знали, зачем пришли, и сызнова объяснять дело не было никакой надобности. Поэтому я поставил перед собранием вопрос ребром:

— Ну, так как же, господа, готов ли ваш ответ или нет?

Я видел, что мой вопрос далеко не встречает того сочувствия, на которое я был вправе рассчитывать. Передо мной сидели люди хмурые, неприветливые, почти мрачные. На лицах их застыла озабоченность, брови сдвинулись, а в глазах читалась и растерянность, и злобность. Даже на лице Второва я не заметил ничего, кроме опущенной завесы. Он молчал, лукаво поглядывал на свою пятерку и, видимо, не ждал от нее единодушия.

И действительно, едва я поставил прямо вопрос, как посыпались возражения.

— Как можно, господа, этакое дело решать точно по команде: раз, два, три и готово. Надо собрать городскую думу, выбрать комитет...

— Да ведь и не так уже это спешно...

— Отчего бы не отложить вопрос хоть на неделю, может быть, ничего и не останется...

Кривошеин и говорил, и вел себя, как чиновник. Он был уклончив, нерешителен и предлагал перенести дело на обсуждение городской думы:

— Я согласен, что откладывать вопрос на целую неделю нельзя. Но почему не отложить хоть на два дня.

Второв, однако, настаивал, чтобы участники собрания определили теперь же хоть сумму взносов, чтобы было вперед известно, с чем идти в думу.

— Что твоя группа, Сытин, определила? Сколько подписано?

— 36 миллионов.

— Ну, я еще 15 миллионов дам.

Второв назвал только свою цифру, только свое личное пожертвование. Но что собиралась подписать его «пятерка», было неизвестно.

Никаких цифр его группа не называла, и все ссылались только на городскую думу и требовали отложить решение вопроса. Я опять оглядел лица всего собрания и ни в одних глазах не прочел живого, деятельного сочувствия и смелого решения, и невольно вспомнились мне слова евангелия: легче верблюду пролезть в игольное ухо, чем богатому войти в царство небесное. Даже простой животный страх, даже надвигающаяся, грозная, несомненная опасность не могли заставить этих людей добровольно, по своей охоте, развязать тугую мошну.

Ох, как сильна над людьми темная власть золота!

С стесненным сердцем вышел я из собрания, и Кривошеин, который ехал со мной в одном автомобиле, жаловался на косность московского купечества. Теперь уж он как будто забыл, что и сам тормозит вопрос, и все повторял:

— Как это жалко, что наши купцы и фабриканты живут еще а 17 веке. Какая отсталость, какое непонимание событий...

Я, однако, не терял надежды, что дело «образуется»: пусть туго, пусть с оттяжками, но на нашей стороне два такие столпа, как Морозова и Второв, подписавшие вдвоем 30 миллионов...

Но судьба судила иначе.

На другой день после заседания Второв был убит. Случайная, нелепая пуля оборвала эту цветущую жизнь. Мальчик, которого называли внебрачным сыном Второва, застрелил отца и застрелился сам... И что всего удивительнее, что эта трагедия разыгралась на денежной почве. Как говорили в Москве, мальчику от Второва отпускалось по 300 рублей в месяц на прожитье. Но он требовал, чтобы ежемесячная пенсия была заменена выдачей сразу 20 тысяч рублей. Второа отказал, и загремели выстрелы. Я не знал этой печальной истории во всей подробности, но денежная подкладка трагедии кажется мне непонятной и прямо загадочной. Для такого богача, как Второв, 20 тысяч рублей были такими же пустяками, как и 20 копеек. Человек только накануне подписал 15 миллионов на благотворительные дела и заплатил жизнью за 20 тысяч.

Весть об убийстве Второва на один день удивила Москву. Но тогда, вообще, так много убивали и жизнь человеческая ценилась так дешево, что уж на другой день москвичи с философским спокойствием говорили:

— Жил-был богатый фабрикант Второв...

Но для нашего дела эта смерть была роковым ударом. Обе наши «пятерки» точно ждали повода, чтобы не вынимать кошелька и уйти от жертвы. По существу смерть Второва, конечно, не меняла дела. События, как грозовая туча, надвигались неумолимо, но московский купец-миллионер так и не пролез в игольное ухо денежной жертвы...

А скоро туча подошла вплотную, и все смешалось в кровавом хаосе. Пробил последний час старой России, и равенство в нищете пришло на смену прежнему неравенству.

Почти в одно время с моей неудачной попыткой разбудить московскую буржуазию такая же попытка была предпринята и в Петербурге и с тем же печальным результатом. Об этой петербургской попытке мало кто знает, и потому, может быть, уместно будет, по долгу мемуариста, вспомнить здесь и ее.

Автором этой попытки был неудачный министр внутренних дел Протопопов. Этот маленький, неуравновешенный, очень болтливый и суетливый человек, кажется, не на шутку вообразил себя государственным мужем, призванным спасать отечество.

Будучи в Москве, Протопопов завез мне карточки, и потому, приехавши по делам в Петербург, я счел долгом вежливости сделать ему визит.

Я приехал к министру в воскресенье, в 2 часа дня и в приемной встретил всю финансовую и купеческую знать Петербурга, общим числом до 20-ти человек. Все они только что вышли от министра, и так как многих я знал, то поинтересовался спросить:

— Что это у вас здесь за собрание нечестивых?

— А ты запоздал. Ну, ступай, ступай к его превосходительству... Кофейком тебя еще, пожалуй, напоят, а завтрака не дадут.

— Да в чем дело-то? По какому случаю собрание?

— А вот завтра приходи в сельскохозяйственный клуб, там услышишь... Завтра все узнаешь, о чем его превосходительство говорить изволил.

В тоне голоса моих собеседников я уловил нескрываемую иронию, которая, очевидно, относилась к новому министру. Но что подало повод к этой иронии, я не узнал, так как меня позвали к Протопопову.

— Что это у вас, ваше превосходительство, за зверинец сегодня собрался? По какому случаю?

Суетливый, словоохотливый и недалекий министр сразу выложил передо мной все свои «государственные» тайны.

— Да, батюшка Иван Дмитриевич, пришла беда. Мы погибаем... Погибаем... Я пригласил этих тузов, чтобы войти с ними в контакт и общими силами помочь России... Я говорил им: «Господа, вот вам государственный банк и все ресурсы, которыми располагает государство. Берите все, что еще осталось у России, и прибавьте все, что есть у вас. Катастрофа надвигается... Она вот здесь, у порога. Мы ее чувствуем, и мы не в силах справиться... Все зависит от вас, господа... Надо спасать родину... Общими силами... Все ваши силы и все наши силы... Впрочем, у нас ничего нет... Нет людей...» И я говорил и подчеркивал: «Господа! Нам нужны сильные люди, нам нужна ваша денежная помощь, а главное — ваше умение вести дела...»

Я слушал эту нервную, прыгающую речь министра, так сказать, с душевным прискорбием. То, что он говорил, совсем не было глупо. Как купец родом, министр хотел опереться на купечество. Но в его устах это звучало почти как глупость — так мало доверия вызывала вся его нелепая, развинченная фигура. Совершенно ясно было, что власть потеряла голову, что все шатается и что чиноаники захлебнулись в хаосе. Вся эта министерская машина, старая и ржавая, еще могла двигаться по ровному месту и при тихой погоде. Но в бурю она никуда не годилась, и жалко было смотреть на этого растерявшегося, такого маленького и такого слабенького человека. Невеселые мысли теснились в моем сердце, когда я лицом к лицу увидел этого «представителя власти»...

А министр между тем все продолжал тараторить, спотыкаясь, захлебываясь и спеша:

— Я говорю, что мы не в силах... Просто не в силах. Война, голод, безденежье... Ведь средства государства не безграничны... Спасать Россию надо общими силами. Люди власти и люди капитала должны соединиться в общем усилии...

— А они, ваше превосходительство, что же сказали вам наши люди капитала?

— Они завтра будут обсуждать вопрос... И я надеюсь, что как умные люди, они поймут, все поймут. Мы погибаем. Мы действительно стоим на краю бездны...

Министр говорил без конца. Но и без слов было ясно, что он действительно стоит на краю бездны и погибает. Заинтересованный предстоящим ответом петербургской финансовой знати, я на другой день пошел в клуб, чтобы послушать речи. Но речей, в сущности, не было... Собрались крупнейшие помещики, банковские воротилы и богатые купцы и в простой беседе (без всякого председателя) стали поливать бедного министра насмешками и нескрываемым презрением.

— Купчишка прогорелый. В чиновники выскочил. Тоже людей зовет, речи держит: «И приходите, господа, помогать правительству»... Очень нам нужно помогать такой балаболке... Нет, брат, на чужой каравай рта не разевай...

— И с чего взял, что мы к нему с нашим капиталом разлетимся? Нашел тоже дураков!.. Нет, ваше купеческое превосходительство, вы уж сами как-нибудь ковыряйтесь и не лезьте, куда вас не просят!..

— На погорелое место кому же охота свои деньги швырять? Там все погорело, все сгнило. Копейки не дадим.

Это собрание финансовой знати отличалось тем, что никакого разделения голосов на нем не было. Все говорили как один, и общее мнение было формулировать очень кратко:

— Ни копейки!

Не скрою, мне было очень горько слушать эти речи самых богатых людей а России. Я понимал, что жалкая фигура министра никому не внушает доверия и что насмешки, которые сыпались на этого маленького человека, не были лишены оснований. Но я не понимал, каким образом эта маленькая фигурка министра могла заслонить перед петербургскими капиталистами Россию. За спиной этого фигляра в мундирчике стояла ведь вся страна, стояло отечество... Как же можно было не видеть, куда мы летим, и как можно было отмахнуться от своего долга перед страной этой презрительной резолюцией:

— Ни копейки!

Воистину, кого Бог хочет покарать — лишает разума!

А. ТУРКУЛ

Герои Белой России

Суховей

Нас погрузили в вагоны, потом на пароход. В безветреннее утро мы подошли к станице Мечетинской. В двух станицах, Мечетинской и Егорлыкской, стояло тогда все, что осталось от русской армии: Добровольческая армия, только что вышедшая из испытания Кубанского похода. Это был конец мая 1918 года.

Запыленные, рота за ротой, подчеркнуто стройно, чтобы показать себя корниловским добровольцам, входили мы в станицу. Генерал Алексеев пропустил нас церемониальным маршем. Мы все с молодым любопытством смотрели на этого маленького, сухонького генерала в крохотной кубанке.

Старичок в отблескивающих очках, со слабым голосом, недавно начальник штаба самой большой армии в мире, поведший теперь за собою куда-то в степь четыре тысячи добровольцев, был для нас живым олицетворением России, армии, седых русских орлов, как бы снова вылетающих из казацких степей.

Генерал Алексеев снял кубанку и поклонился нашим рядам.

— Спасибо вам, рыцари духа, пришедшие издалека, чтобы влить в нас новые силы...

Я помню, как говорил генерал Алексеев, что к началу смуты в русской армии было до четырехсот тысяч офицеров. Самые русские пространства могли помешать им всем придти на его призыв. Но если придет только десятая часть, только сорок тысяч, уже это создаст превосходную новую армию, в которую вольется тысяч шестьдесят солдат.

— А стотысячной русской армии вполне достаточно, чтобы спасти Россию, — сказал генерал Алексеев со слабой улыбкой, и его очки блеснули.

Мы еще раз прошли церемониальным маршем. Он стоял с кубанкой в руке, слегка склонивши седую голову. Точно задумался. Рядом с ним стоял генерал Деникин; наши старые офицеры знали, что на большой войне он командовал славной Железной 4-й стрелковой дивизией.

Добровольцы, участники Кубанского похода, смотрели на нас с откровенным удивлением, пожалуй даже с недоверием: откуда-де такие явились, щеголи, по-юнкерски печатают шаг, одеты как один в защитный цвет, в ладных гимнастерках, хорошие сапоги.

Сами участники Кубанского похода были одеты, надо сказать, весьма пестро, что называется, по-партизански. В степях им негде было достать обмундирования, а мы в нашем походе шли по богатому югу, где были мастерские и склады.

Мы стали в станице Егорлыкской. Там, на самой последней неделе мая, меня вызвали в штаб к полковнику Жебраку. Я проверил, крепко ли держатся пуговицы на гимнастерке, хорошо ли оттянут пояс, и отправился в штаб.

— Господин полковник, по вашему приказанию прибыл.

— Здравствуйте, капитан, — озабоченно сказал Жебрак. — Вот что: хутор Грязнушкин занят большевиками. Главное командование приказало мне восстановить положение. Вместо казачьей бригады я решил послать туда вашу роту. Вы знаете почему?

— Никак нет.

— Вторая рота лучшая в полку.

— Рад стараться.

— Имейте в виду, что офицерская рота может отступать и наступать, но никогда не забывайте, что и то и другое она может делать только по приказанию.

— Слушаю. Разрешите идти?

— Да. Я буду у вас к началу атаки. До моего приезда не атакуйте... И вот что еще, Антон Васильевич... В Японскую войну наш батальон, сибирские стрелки, атаковал как-то китайское кладбище. Мы ворвались туда на штыках, но среди могил нашли около ста японских тел и ни одного раненого. Японцы поняли, что им нас не осилить, и чтобы не сдаваться, все до одного покончили с собой. Это были самураи. Такой должна быть и офицерская рота.

— Разрешите идти?

Жебрак встал, подошел ко мне — он был куда ниже меня — и молча пожал мне руку.

Я вышел на тихую станичную улицу. Кажется, предстоял первый настоящий бой в гражданской войне. Я почувствовал ту особую сухую ясность, какая всегда бывает перед боем.

Мои триста штыков бесшумно и быстро подошли к хутору Грязнушкину. Хутор лежал в низине. Это было для нас удобно: нас не заметили. Но вот там зашевелились, затрещал ружейный огонь. Я рассыпал роту в цепь, скомандовал:

— Цепь, вперед!

Цепь кинулась с коротким «ура». Застучали пулеметы. С хутора поднялась беспорядочная стрельба, вой. Но мы уже ворвались. Грязнушкин был захвачен почти мгновенно. Один взвод и бронеавтомобиль «Верный» преследовали красных. Мы заняли холмы впереди хутора. Нам досталось триста пленных: ободранные, грязные товарищи, бледные от страха, в расстегнутых шинелях, потные после боя.

В атаке был убит поручик Куров, который так беззаботно танцевал на недавнем балу, так приятно смеялся и пел. Он лежал на боку, прижавшись щекой к земле; его висок был черен от крови. Это была наша первая потеря в боях Добровольческой армии.

На хутор пришли наши кубанцы. Я собрал роту. Люди еще порывисто дышали, смеялись, громко говорили, возбужденные атакой. Было за полдень, солнце припекало. Мне доложили, что едет командир полка.

— Смирно, равнение направо, господа офицеры!

Полковник Жебрак уже шел перед рядами, лицо хмурое. Я отрапортовал ему об успешной атаке.

— Но почему вы не исполнили моего приказания?

— Господин полковник?

— Я приказал вам ждать моего приезда, без меня не начинать боя...

Он повысил голос. Он, что называется, распекал меня перед строем. Я ответил:

— Господин полковник, начальником здесь был я, обстановка же была такова, что я не мог ждать вашего приезда.

Командир пощипывал ус. Потом лицо его просветлело, и он сказал просто:

— Конечно, вы правы, капитан. Простите меня. Я погорячился.

В тот же день от хутора Грязнушкин мы вернулись в станицу Егорлыкскую, на старые квартиры, а через несколько дней выступили оттуда во второй Кубанский поход.

Мы стали пробиваться от станицы к станице. Бои разгорались. Как будто степной пожар все чаще прорывался языками огня, чтобы слиться в одно громадное пожарище. Гражданская война росла. Покудавшие, темные от загара, с пытливыми глазами, всегда настороженные, всегда с ясной головой, мы шли порывисто дыша, от боя к бою, в огне. Между нами уже запросто ходила смерть, наша постоянная гостья.

В самом конце мая мы атаковали село Торговое. Под огнем красных два наших батальона лежали под селом в цепи. Огонь был бешеный, а солнце немилосердно жгло нам затылки. Дали сигнал готовиться к атаке. Вдруг мы увидели, что к нам в цепь скачут с тыла три всадника.

Огонь стал жаднее, красные били по всадникам. С веселым изумлением мы узнали полковника Жебрака на крутозадом сером жеребце. Его укороченная нога не касалась стремени, с ним скакало два ординарца. Командир дал шпоры и вынесся вперед, за цепи. Он круто повернул к нам коня. Два батальона смотрели на него с радостным восхищением.

— Господа офицеры! — бодро крикнул Жебрак. — За мной, в атаку! Ура! — и поскакал с ординарцами вперед.

Все поднялись; три всадника вспыхивали на солнце. Мы захватили село Торговое с удара.

Все эти ночи и дни, все бои, когда мы шли в огонь во весь рост, все эти лица в поту и в грязи, сиплое «ура», тяжелое дыхание, кровь на высохшей траве, стоны раненых — все это вспоминается мне теперь вместе с порывами сухого и жаркого ветра из степи; его зовут, кажется, суховеем.

Я помню, как в бою, под Великокняжеской, когда я подводил мою роту к железнодорожному мосту, в окне сторожевой будки блеснул шейный орден Святого Георгия. Я понял, что там главнокомандующий, так как ордена Св. Георгия третьей степени тогда в Добровольческой армии, кроме генерала Деникина, не было ни у кого. Я скомандовал роте:

— Смирно! Равнение направо

В том бою под Великокняжеской был убит мой боевой товарищ, мой друг, командир четвертой Донской сотни, офицер гвардейской казачьей бригады есаул Фролов. Ловкий, поджарый, как будто весь литой, он был знаменитым джигитом, с красивым молодечеством, с веселым удальством, какого, кроме казаков, нет, кажется, ни у кого на свете.

Мы заняли Великокняжескую, Николаевскую, Песчанокопскую, подошли к Белой Глине, и под Белой Глиной натолкнулись на всю 39-ю советскую дивизию, подвезенную с Кавказа. Ночью полковник Жебрак сам повел в атаку второй и третий батальоны. Цепи попали под пулеметную батарею красных. Это было во втором часу ночи. Наш первый батальон был в резерве. Мы прислушивались к бою. Ночь кипела от огня. Ночью же мы узнали, что полковник Жебрак убит со всеми чинами его штаба.

На рассвете поднялся в атаку наш первый батальон. Едва светало, еще ходил туман. Командир пулеметного взвода второй роты поручик Мелентий Димитраш заметил в утренней мгле цепи большевиков. Я тоже видел их тени и перебежку в тумане. Красные собирались нас атаковать.

Димитраш — он почему-то был без фуражки, я помню, как ветер трепал его рыжеватые волосы, помню, как сухо светились его зеленоватые рысьи глаза — вышел с пулеметом перед нашей цепью. Он сам сел за пулемет и открыл огонь. Через несколько мгновений цепи красных легли. Димитраш, с его отчаянным, дерзким хладнокровием, был удивительным стрелком-пулеметчиком. Он срезал цепи красных.

Корниловцы уже наступали во фланг Белой Глины. Мы тоже пошли вперед. 39-я советская дрогнула. Мы ворвались в Белую Глину, захватили несколько тысяч пленных, груды пулеметов. Над серой толпой пленных, над всеми нами, дрожал румяный утренний пар. Поднималась заря. Багряная, яркая.

Потери нашего полка были огромны. В ночной атаке второй и третий батальоны потеряли больше четырехсот человек. Семьдесят человек было убито в атаке с Жебраком, многие, тяжело раненные, умирали в селе Торговом, куда их привезли. Редко кто был ранен одной пулей — у каждого три-четыре ужасных пулевых раны. Это были те, кто ночью наткнулся на пулеметную батарею красных.

В поле, где только что промчался бой, на целине, заросшей жесткой травой, утром мы искали тело нашего командира, полковника Жебрака. Мы нашли его среди тел девяти офицеров его верного штаба.

Командира едва можно было признать. Его лицо, почерневшее, в запекшейся крови, было размозжено прикладом. Он лежал голый. Грудь и ноги были обуглены. Наш командир был, очевидно, тяжело ранен в атаке. Красные захватили его еще живым, били прикладами, пытали, жгли на огне. Его запытали. Его сожгли живым. Так же запытали красные и многих других наших бойцов.

В тот глухой предгрозовой день, когда полк принял маленький и спокойный, с ясными глазами, полковник Витковский, мы хоронили нашего командира. Грозные похороны, давящий день. Нам всем как будто не хватало дыхания. Над степью курился туман, блистало жаркое марево. Далеко грохотал гром.

В белых, наскоро сбитых гробах двигался перед строем полка наш командир и семьдесят его офицеров. Телеги скрипели. Над мокрыми лошадьми вился прозрачный пар. Оркестр глухо и тягостно брякал «Коль славен». Мы стояли на караул. В степи ворочался глухой гром. Необычайно суровым показался нам наш егерский марш, когда мы тронулись с похорон.

В тот же день, тут же на жестком поле, пленные красноармейцы были рассчитаны в первый солдатский батальон бригады.

Ночью ударила гроза, сухая, без дождя, с вихрями пыли. Я помню, как мы смотрели на узоры молнии, падающие по черной туче, и как наши лица то мгновенно озарялись, то гасли. Эта грозовая ночь была знамением нашей судьбы, судьбы белых бойцов, вышедших в бой против всей тьмы с ее темными грозами.

Если бы не вера в Дроздовского и в вождя белого дела генерала Деникина, если бы не понимание, что мы бьемся за человеческую Россию против всей бесчеловечной тьмы, мы распались бы в ту зловещую ночь под Белой Глиной и не встали бы никогда.

Но мы встали. И через пять суток, ожесточенные, шли в новый бой на станицу Тихорецкую, куда откатилась 39-я советская. В голове шел первый солдатский батальон, наш белый батальон, только что сформированный из захваченных красных. Среди них не было старых солдат, но одни заводские парни, чернорабочие, бывшие красногвардейцы. Любопытно, что все они радовались плену и уверяли, что советчина со всей комиссарской сволочью им осточертела, что они поняли, где правда.

Вчерашние красногвардейцы первые атаковали Тихорецкую. Атака была бурная, бесстрашная. Они точно красовались перед нами. В Тихорецкой первый солдатский батальон опрокинул красных, переколол всех, кто сопротивлялся. Солдаты батальона сами расстреляли захваченных ими комиссаров.

Дроздовский благодарил их за блестящую атаку. Тогда же солдатский батальон был переименован в Первый пехотный Солдатский полк. Позже полку было передано знамя 83-го пехотного Самурского полка, и он стал именоваться Самурским. Много славного и много тяжкого вынесли самурцы на своих плечах в гражданской войне. Бой под Армавиром, под Ставрополем,когда ими командовал израненный и доблестный полковник Шаберт, бои в Каменноугольном районе, все другие доблестные дела самурцев не забудутся в истории гражданской войны.

В ту ночь под Белой Глиной как бы открывалась наша судьба, но по-иному открылась судьба белых в бою под Тихорецкой, когда цепи вчерашних красных сами шли на красных в штыки, сами уничтожали комиссаров. Так еще и совершится.

Наша маленькая армия от боя к бою пробивалась вперед. В армии было всего три бригады. В первой бригаде наше сердце, корниловцы, с Первым конным Офицерским полком, который после смерти генерала Алексеева стал именоваться Алексеевским. Во второй бригаде — марковцы

Продолжение. Начало в № 1/1991.

с Первым Офицерским полком, в третьей бригаде — дроздовцы со Вторым Офицерским полком, Вторым конным Офицерским полком и самурцами. С бригадами были казачьи пластунские батальоны, а все конные казачьи части были в бригаде генерала Эрдели.

Под Кореневкой Сорокин со своей армией вышел к нам в тыл. Он едва не перерезал Добровольческую армию пополам. Вспоминаю в бою под Кореневкой командира третьего взвода, поручика Вербицкого, светловолосого, сероглазого, со свежим лицом. Я был у его взвода, на левом фланге. Конница Сорокина во мгле пыли понеслась на взвод. Вербицкий стал командовать металлическим резким голосом:

— По кавалерии, пальба взводом...

Конница Сорокина идет на карьере; уже слышен сухой топот.

— Остановить! — внезапно командует Вербицкий, и я слышу его окрик:

— Поручик Петров, два наряда не в очередь...

Оказывается, поручик Петров, по прозвищу Медведь, своей поспешностью испортил стройность ружейного приема. А конница в нескольких ста шагах. Снова с ледяным хладнокровием команда Вербицкого:

— По кавалерии, пальба...

Кавалерию отбили. В тяжелых боях мы разметали Сорокина. В том бою под Кореневкой, 16-го июля, я был впервые ранен в гражданской войне. После трех немецких пуль, русская пуля угодила мне в кость ноги. Рана была тяжелая.

Ночью был ранен командир первого батальона, и нас обоих отправили в околоток, оттуда в лазарет. Нас уговаривали ехать в Ростов, но мы, как и каждый дроздовец, стремились в свою Землю Обетованную, в Новочеркасск, о котором хранили светлую и благодарную память. Мы туда и тронулись, хотя все лазареты были там переполнены и недоставало врачей. У меня были сильные боли, потом как будто полегчало.

Все эти ночи и дни, атаки и гром над степью, и наши лица, обожженные солнцем и жалящей пылью, и наше сиплое «ура» — все это вспоминается мне теперь с порывами жаркого степного суховея.

Смерть Дроздовского

Командир первого батальона и я добрались до Новочеркасска. Прежде всего мы решили навестить наших майских хозяек, институток. Оба на костылях, мы подъехали на извозчике к скромному подъезду девичьего института. Мы везли с собою огромную корзину пирожных, за которую отдали все, что у нас было.

На подъезде швейцар, старый солдат с седыми баками и в медалях, нам сказал:

— Извините, господа офицеры, но у нас приемные дни только по средам и воскресеньям.

Мы и забыли, что фронт от Новочеркасска откатился, что в институте идут самые мирные занятия. Сказали швейцару, чтобы передал записку начальнице:

— Не приказано принимать никаких записок, — ответил швейцар. А извозчик уже вносит а приемную корзину с пирожными. На верхней площадке показалась дежурная пепиньерка в сером платье. Она сбежала ниже, узнала нас, от изумления присела на ступеньку, раздувши платье воздушным шаром, потом умчалась обратно.

Мы стояли в прихожей слегка удивленные такой встречей. Тут на институтской лестнице показалось шествие, не только кричащее, но и визжащее, во главе с инспектрисой. Все что-то радостно кричали, хлопали в ладоши, прыгали вокруг нас. Мы твердо стояли на костылях во всем этом гаме.

Начальница института встретила нас как своих сыновей. Она едва скрывала слезы. Занятия были прерваны. Корзину торжественно внесли в столовую, и детвора в мгновение ока прикончила пирожные.

Я стал довольно беспечно путешествовать на костылях по всему Новочеркасску, хотя моя нога ныла все упорнее. Рана воспалилась. Мне хотелось вернуться к тому чувству мирного отдыха, которое все мы здесь испытали, хотелось забыть недавние бои, недавние смерти.

Вскоре к нам приехал Мелентий Димитраш. Через несколько дней после меня он был ранен в голову. Его рысий глаз дерзко и весело сверкал из-под повязки. Я всей душой был рад приезду боевого товарища. Приехала на свидание и моя мать, которую я не видел так долго. Она стала совершенно седой.

Мать привезла кучу денег, по тогдашним временам целое состояние, и мы, три мушкетера, беспечно зажили в Новочеркасске. Свободных коек в госпиталях не было. Мы лечились и жили в «Петербургской гостинице».

Однажды утром в мою дверь постучали. Вошел адъютант Дроздовского, подполковник Николай Федорович Кулаковский. Он привез мне от Дроздовского два письма. Одно — «предписание капитану Туркулу немедленно с получением сего выбыть в Ростов для лечения а хирургическую клинику профессора Напалкова», другое — частное письмо от Михаила Гордеевича, а котором он указывал, что мое присутствие в полку до крайности необходимо, и дружески, но крепко журил меня за то, что дурно лечу ногу.

Я просил Кулаковского повременить хотя бы день. Отказ, притом с металлическим польским акцентом. Тогда я предложил вместе позавтракать. Согласие, но все равно в тот же день я простился с матерью и в казенном автомобиле, по предписанию, выехал с Кулаковским в Ростов. Оба мои сожителя по гостинице тогда же вернулись в полк.

Помню, как Николай Федорович шутил, что конвоирует меня под профессорский арест. Помню его лицо, освещенное мелькающим солнцем, как он щурился от ветра. Необычен конец этого офицера: в 1932 году он был по ошибке застрелен в Болгарии македонцами. Убийцы приняли Кулаковского за другого.

Профессор Напалков, грубый с виду хирург, большой друг Дроздовского, принялся за меня в клинике неумолимо. Меня раздели и уложили. Все мои вещи были заперты в шкаф, а ключ от шкафа пасмурный профессор унес с собой. Так, запертым в клинике, мне пришлось пролежать три месяца, и если бы не профессорский арест и не строгое лечение, ногу мне, вероятно, отхватили бы.

Только к концу декабря 1918 года я мог снова ходить, правда, одна нога в сапоге, другая еще в валенке. Я отчаянно скучал в ростовской клинике. Профессор обещал меня выписать, я стал собираться в полк, но узнал, что в Ростов везут Дроздовского. Михаил Гордеевич был ранен 31-го октября 1918 года под Ставрополем, у Иоанно-Марьинского монастыря. Рана пустяшная, в ногу. Капитан Тер-Азарьев, снимавший вместе с другими офицерами Дроздовского с коня, рассказывал, что рана не вызывала ни у кого тревоги: просто попарапало пулей. Все так и думали, что Дроздовский вскоре вернется к командованию.

Но рана загноилась. В Екатеринодаре он перенес несколько операций, после которых ему стало хуже. Он очень страдал и сам просил перевезти его в Ростов к профессору Напалкову. В Ростове было более пятидесяти раненых дроздовцев. Я собрал всех, кто мог ходить, и мы поехали на вокзал.

Дроздовского привезли в синем вагоне Кубанского атамана. Я вошел в купе и не узнал Михаила Гордеевича. На койке полулежал скелет — так он исхудал и пожелтел. Его голова была коротко острижена, и потому что запали щеки и заострился нос, вокруг его рта и ввалившихся глаз показалось теперь что-то горестное, орлиное.

Я наклонился над ним. Он едва улыбнулся, приподнял исхудавшую руку. Он узнал меня.

— Боли, — прошептал он. — Только не в двери. Заденут... у меня нестерпимые боли.

Тогда я приказал разобрать стенку вагона. Железнодорожные мастера работали почти без шума, с поразительной ловкостью. На руках мы вынесли Дроздовского на платформу. Подали лазаретные носилки. Мы понесли нашего командира по улицам. Раненые несли раненого.

Весть, что несут Дроздовского, мгновенно разнеслась по городу. За нами все гуще, все чернее стала стекаться толпа. На Садовой улице показалась в пешем строю Гвардейская казачья бригада, лейб-казаки в красных и лейб-атаманцы в синих бескозырках. Мы приближались к ним. Враз выблеснули шашки, замерли чуть дрожа: казаки выстроились вдоль тротуара. Казачья гвардия отдавала честь нашему командиру.

Тысячными толпами Ростов двигался за нами, торжественный и безмолвный. Иногда я наклонялся к желтоватому лицу Михаила Гордеевича. Он был в полузабытье, но узнавал меня.

— Вы здесь?

— Так точно.

— Не бросайте меня...

— Слушаю.

Он снова впадал в забытье. Когда мы внесли его в клинику, он пришел в себя, прошептал:

— Прошу, чтобы около меня были мои офицеры.

Раненые дроздовцы, для которых были поставлены у дверей два кресла, несли с того дня бессменное дежурство у его палаты.

Михаила Гордеевича оперировали при мне. Я помню белые халаты, блестящие профессорские очки, кровь на белом и, среди белого, орлиное, желтоватое лицо Дроздовского. Я помню его бормотанье:

— Что вы мучаете меня... Дайте мне умереть...

— Если не пойдет выше, он останется жив, — сказал мне после операции профессор Напалков.

Дроздовскому как будто стало легче. Он пришел в себя. Тонкая улыбка едва сквозила на измученном лице, он мог слегка пожать мне руку своей горячей рукой.

— Поезжайте в полк, — сказал он едва слышно. — Поздравьте всех с Новым Годом. Как только нога заживет, я вернусь. Напалков сказал: ничего, с протезом можно и верхом. Поезжайте. Немедленно. Я вернусь...

Одна нога в сапоге, другая в валенке, я немедленно и поехал в полк. Это было в самом конце декабря. Полк стоял в Каменноугольном районе, в Никитовке-Горловке. Я приехал голодный, иззябший: еще на ростовском вокзале у меня вытащили последние деньги, и я ехал без копейки. Немедленно.

А 1-го января 1919 года, в самую стужу, в сивый день с ледяным ветром, в полк пришла телеграмма, что генерал Дроздовский скончался. Он к нам не вернулся. Во главе депутации, с офицерской ротой, я снова выехал в Ростов. Весь город со своим гарнизоном участвовал в перенесении тела генерала Дроздовского в поезд. Михаила Гордеевича, которому еще не было сорока лет, похоронили в Екатеринодаре. Позже, когда мы отходили на Новороссийск, мы ворвались в Екатеринодар, уже занятый красными, и с боя взяли тело нашего вождя.

Разные слухи ходили о смерти генерала Дроздовского. Его рана была легкая, неопасная. Вначале не было никаких признаков заражения. Обнаружилось заражение после того, как в Екатеринодаре Дроздовского стал лечить один врач, потом скрывшийся. Но верно и то, что тогда в Екатеринодаре, говорят, почти не было антисептических средств, даже иода.

После смерти Дроздовского Второй офицерский полк, в котором я имел честь командовать второй ротой, получил шефство и стал именоваться Вторым офицерским генерала Дроздовского полком.

Так стали мы дроздовцами навсегда.

Дроздовцев, как и всех наших боевых товарищей, создала наша боевая, наша солдатская вера в командиров и вождей русского освобождения. В Дроздовского мы верили не меньше чем в Бога. Вера в него была таким же само собою понятным, само собою разумеющимся чувством, как совесть, долг или боевое братство. Раз Дроздовский сказал — так и надо и никак иначе быть не может. Приказ Дроздовского был для нас ни в чем неоспоримой, несомненной правдой.

Наш командир был живым средоточием нашей веры в совершенную правду нашей борьбы за Россию. Правда нашего дела остается для нас всех и теперь такой само собой понятной, само собой разумеющейся, как дыхание, как сама жизнь.

Шестьсот пятьдесят дроздовских боев за три года гражданской войны, более пятнадцати тысяч дроздовцев, павших за русское освобождение, так же и как бои и жертвы всех наших боевых товарищей, были осуществлением в подвиге и в крови святой для нас правды.

Не будь в нас веры в правоту нашего боевого дела, мы не могли бы теперь жить. Служба истинного солдата продолжается везде и всегда. Она бессрочна, и сегодня мы так же готовы к борьбе за правду и за свободу России, как и в девятнадцатом году. Полнота веры в наше дело преображала каждого из нас. Она нас возвышала, очищала. Все пополнения, приходившие к нам, захватывало этим вдохновением.

Мы каждый день отдавали кровь и жизнь. Потому-то мы могли простить жестокую жебраковскую дисциплину, даже грубость командира, но никогда и никому не прощали шаткости в огне. Когда офицерская рота шла в атаку, командиру не надо было оборачиваться смотреть как идут. Никто не отстанет, не ляжет. Все идут вперед, и раз цепь вперед, командиры всегда впереди: там командир полка, там командир батальона.

Атаки стали нашей стихией. Всем хорошо известно, что такие стихийные атаки дроздовцев, без выстрела, во весь рост, сметали противника в повальную панику.

Наши командиры несли страшный долг. Как Дроздовский, они были обрекающими на смерть и обреченными. Всегда, даже в мелочах жизни, они были живым примером, живым вдохновением, олицетворением долга, правды и чести.

Потому-то и были возможны такие, например, случаи: ко мне, когда я уже командовал полком, после боя пришел один ротный командир, превосходный офицер, храбрец, георгиевский кавалер:

— Господин полковник, — сказал он, — отрешите меня от роты.

— Но почему?

— Господин полковник, я лег в атаке. Подойти к роте больше не могу. Стыдно.

Когда шла в бой офицерская рота, когда я чувствовал, как пытливо смотрят на меня двести пар глаз, я понимал один немой вопрос:

— А каков-то ты будешь в огне?

В огне падают все слова, мишура, декорация. В огне остается истинный человек, в мужественной силе его веры и правды. В огне остается последняя и вечная истина, какая только есть на свете, божественная истина о человеческом духе, попирающем самую смерть.

Таким истинным человеком был Дроздовский.

Жизнь его была живым примером, сосредоточением нашего общего вдохновения, и в бою Дроздовский был всегда там, где, как говорится, просто нечем дышать.

Как часто его просили уйти из огня; роты, лежащие в цепи, кричали ему:

— Господин полковник, просим вас уйти назад...

Помню я, как и под Торговой Дроздовский в жестоком огне пошел во весь рост по цепи моей роты. По нему заготали пулеметы красных. Люди, почерневшие от земли, с лицами, залитыми грязью и потом, поднимали из цепи головы и молча провожали Дроздовского глазами. Потом стали кричать. Дроздовского просили уйти. Он шел, как будто не слыша.

Понятно, что никто не думал о себе. Все думали о Дроздовском. Я подошел к нему и сказал, что рота просит его уйти из огня.

— Так что же вы хотите? — Дроздовский обернул ко мне тонкое лицо.

Он был бледен. По его впалой щеке струился пот. Стекла пенсне запотели, он сбросил пенсне и потер его о френч. Он все делал медленно. Без пенсне его серые, запавшие глаза стали строгими и огромными.

— Что же вы хотите? — повторил он жестко. — Чтобы я показал себя перед офицерской ротой трусом? Пускай все пулеметы бьют. Я отсюда не уйду.

До атаки еще оставалось время. Под огнем я медленно шел с ним вдоль цепи, и незаметно для него мы дошли до железнодорожной насыпи и сели в пыльную траву. В эту минуту показался Жебрак. Атака на Торговую началась. Дроздовский встал снова. Его пенсне сверкнуло снопами лучей.

И всегда я буду видеть Дроздовского именно так, во весь рост среди наших цепей, в жесткой, выжженной солнцем траве, над которой кипит, несется пулевая пыль

Смерть Дроздовского? Нет, солдаты не умирают. Дроздовский жив в каждом его живом бойце.

Пурга

После похорон нашего командира я вернулся в полк, стоявший в Каменноугольном районе. Я получил в командование первый офицерский батальон. После смерти Дроздовского у всех в полку было чувство подавленной горечи. Ни песен, ни смеха. Как будто все постарели. Начинался жестокий девятнадцатый год.

В глухой зимний день я работал один до позднего времени в штабе батальона. Вдруг слышу знакомый голос:

— Ваше высокоблагородие, разрешите войти.

Я и глазам не поверил: входит, по уставу, ефрейтор Курицын; подтянут, рыжие волосы расчесаны, усы нафабрены, но, кажется, слегка пьян.

Ефрейтор Курицын, мой вестовой с большой войны, остался, как я уже рассказывал, в Тирасполе у моей матери. Теперь мой «верный Ричард», Иван Филимонович, приехал служить со мной «как допрежде, на Карпатах» и покидать меня больше не желал. Он привез мне вести о матушке и все домашние новости.

Из переданных писем я узнал о конце моего брата Николая. Нечто лермонтовское, романтическое было для меня всегда в фигуре и в жизни моего младшего брата. Сибирский стрелок, бесстрашный офицер, георгиевский кавалер, он в 1917 году лечился в Ялте после ранения в грудь. Это было его третье ранение в большой войне.

В Ялте — узнал я из писем — во время восстания против большевиков Николай командовал восставшими татарами. Он был ранен на улице, у гостиницы «Россия». Женщина, которую мой брат любил, подобрала его там и укрыла на своей даче. Она отвезла его в госпиталь, стала ходить за ним сиделкой.

Тогда-то пришел в Ялту крейсер «Алмаз» с матросами. В Ялте начались окаянные убийства офицеров. Матросская чернь ворвалась в тот лазарет, где лежал брат. Толпа глумилась над ранеными, их пристреливали на койках. Николай и четверо офицеров его палаты, все тяжело раненные, забаррикадировались и открыли огонь из револьверов.

Чернь изрешетила палату обстрелом. Все защитники были убиты. «Великая бескровная» ворвалась. В дыму, в крови озверевшие матросы бросились на сестер и на сиделок, бывших в палате. Чернь надругалась и над той, которую любил мой брат.

За этими письмами я думал о моей матери и о невесте Николая. В дни глубокой горечи и раздумий я понял, что все матери и невесты замучены в России и что подняли мы борьбу не за одну свободную русскую жизнь, но и за самого человека.

В те горькие дни не раз утешал меня, вольно или невольно, мой ефрейтор Курицын, который принес с собою воздух покинутого дома, воспоминания о матери, о брате. До глубокой ночи толковали мы с ним о наших далеких, о наших человеческих временах. Курицын, впрочем, вскоре по старой привычке начал, что называется, зашибать, и иногда до того, что просто не стоял на ногах.

За такие солдатские грехи мне приходилось отправлять почтенного Ивана Филимоновича под винтовку. Он стоит под винтовкой, а сам горько плачет. Конечно, я с Иваном Филимоновичем довольно скоро мирился.

У Курицына была непоколебимая солдатская вера в мою счастливую звезду. Если я шел в бой, то, по его разумению, непременно будет победа. Позже, когда мы заняли Бахмут, остановились мы там на пивоваренном заводе. Я был в бою, а Курицын без помехи глушил на заводе пиво. К Бахмуту прорвались большевики. В городе заметались, вот-вот поднимется паника, Курицын же продолжал спокойно осушать бочонок: кони у него расседланы и вещи не собраны

Бахмутцы кинулись к нему с расспросами.

— Будьте благонадежны, — покручивая рыжие усы, успокаивал всех этот новый Бахус. — Уж я вам говорю, что ничего не случится, когда Сам в бой поехал.

Иван Филимонович, как и солдаты, называл меня Самим.

Действительно, большевиков мы благополучно расшибли, и к часу ночи я вернулся на завод. Там все было освещено. В зале нас ждала толпа гостей и обильный праздничный ужин. В толпе штатских я заметил Курицына. Он был нагружен окончательно.

— Ты, братец, пьян, — сказал я, проходя.

— Никак нет, господин полковник.

Он пошатнулся, но встал по уставу. От его рыжих волос выпитое пиво, казалось, валило паром.

— Да ты посмотри на себя в зеркало...

Мне пришлось пообещать отправить Ивана Филимоновича утром под винтовку часа на три, но за него вступились все — хозяева и гости. Они-то и рассказали, как один Курицын, окруженный пивными бочками, своим невозмутимым спокойствием остановил бахмутскую панику.

Ефрейтор Курицын как обещался верно служить, так и служил до конца. В Каменноугольном районе Ивана Филимоновича свалил сыпняк. Ослабевшее сердце не выдержало, и верный ефрейтор отдал Богу солдатскую душу.

В зимних боях мы измотались. Потери доходили до того, что роты с двухсот штыков докатывались до двадцати пяти. Бывало и так, что наши измотанные взводы, по семи человек, отбивали в потемках целые толпы красных. Все ожесточели. Все знали, что в плен нас не берут, что нам нет пощады. В плену нас расстреливали поголовно. Если мы не успевали унести раненых, они пристреливали себя сами.

26-го января 1919 года, в самой мгле метели, вторая рота моего батальона, поручика Мелентия Димитраша, сбилась с дороги и оказалась у красных в тылу. С тяжелыми потерями люди пробились назад. Димитраша с ними не было.

— Где командир роты? — спросил я.

Лица иззябших людей, как и шинели, были покрыты инеем. Среди них были раненые. От стужи кровь почернела, затянулась льдом. Все были окутаны морозным паром. Они угрюмо молчали.

— Где командир роты?

Фельдфебель, штабс-капитан Лебедев, выступил вперед и хмуро сказал:

— Он не захотел уходить.

Тогда стали застуженными голосами рассказывать, как Димитраш был ранен, тяжело, кажется в живот. Красные наседали; рота была окружена. Димитраша подняли. Первой пыталась нести его доброволица Букеева, дочь офицера, сражавшаяся в наших рядах. В пурге выли красные, они стреляли со всех сторон по сбившейся роте. Тогда Димитраш приказал его оставить, приказал опустить его у пулемета. Над ним столпились, не уходили.

— Исполнять мои приказания! — крикнул Димитраш и стукнул ладонью по мерзлой земле. — Я остаюсь. Я буду прикрывать отступление. Извольте отходить.

Рота заворчала, люди не подчинялись. Зеленоватые глаза Димитраша разгорелись:

— Исполнять мои приказания!

Тогда мало-помалу рота потянулась в снеговой туман. За ними лязгал пулемет Димитраша. Цепи, полуслепые от снега, пробивались в пурге. Все дальше, все глуше такал и лязгал пулемет Димитраша.

Цепь пробилась. Я помню, как принесли доброволицу Букееву, суровую, строгую девушку, нашу соратницу.

В бою она отморозила себе обе ноги. Позже она застрелилась в Крыму, в немецкой колонии Молочная.

Туда, где оставался с пулеметом раненый Димитраш, была послана резервная рота. Пулемет Димитраша уже смолк. Все молчало в темном поле. Среди тел, покрытых инеем и заледеневшей кровью, мы едва отыскали Димитраша. Он был исколот штыками, истерзан. Я узнал его тело только по обледеневшим рыжеватым усам и подбородку. Верхняя часть головы, до челюсти, была сорвана. Мы так и не нашли ее в темном поле, где курилась метель.

Вместе с поручиком Димитрашем смертью храбрых пали в том бою капитан Китари, капитан Бажанов, поручик Вербицкий и другие, тридцать один человек. Капитан Китари, старший офицер второй роты, чернявый, малорослый, с усами, запущенными книзу, мешковатый, даже небрежный с виду, — забота обо всех и обо всем, такой хлопотун, что мы его прозвали «квочкой», — был настоящей российской пехотой.

Или поручик Вербицкий, командир третьего взвода, с ясными глазами, со свежим румянцем, офицер замечательного хладнокровия и самообладания. Это он в бою под Кореневкой, когда на его взвод обрушилась конница Сорокина, с божественным спокойствием отставил команду для стрельбы, чтобы дать два наряда не в очередь поручику Петрову, «Медведю», поторопившемуся с ружейным приемом. Вербицкий любил говорить, что солдатская служба продолжается всегда и везде, что она бессрочна. Так он уже провидел тогда нашу теперешнюю солдатскую судьбу.

Малишич, немного увалень, Бажанов, как и все тридцать один, как хромоногий Жебрак, как все другие семьдесят семь Белой Глины и все семидежды семьдесят семь, павшие смертью храбрых на полях чести: их жизнь не отошла волной на тихом отливе, не иссякла.

Они не умерли, они убиты. Это иное. В самой полноте жизни и деятельности, во всей полноте человеческого дыхания, они были как бы сорваны не досказавши слова, не докончивши живого движения. В смерти в бою смерти нет.

Вербицкий, обещавший так много, или мой брат, как и тысячи и десятки тысяч всех их, не доведших до конца живого движения, не досказавших живого слова, живой мысли, все они, честно павшие, доблестные, ради кого и о ком я только и рассказываю, все они в нас еще живы.

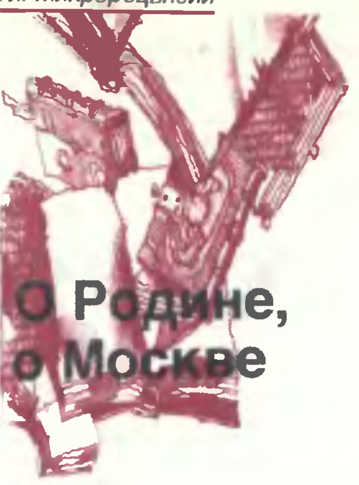
Именно в этом тайна воинского братства, отдавания крови, жизни за других. Они знали, что каждый из боевых собратьев всегда встанет им на смену, что всегда они будут живы, неиссякаемы в живых. И никто из нас, бессрочных солдат, никогда не должен забывать, что они, наши честно павшие, наши доблестные, повелевают всей нашей жизнью и теперь и навсегда.

Перекличка наших мертвецов с каждым днем становилась все длиннее. Уже в Каменноугольном районе, в пурге, поглощавшей все, не только наше далекое довоенное прошлое, но и недавняя стоянка в Новочеркасске казались нам видением иного мира, которому как будто никогда не вернуться. Но мы понимали, что деремся за Россию, что деремся за самую душу нашего народа, и что драться надо. Мы уже тогда понимали, какими казнями, каким мучительством и душегубством обернется окаянный коммунизм для нашего обманутого народа. Мы точно уже тогда предвидели Соловки и архангельские лагеря для рабов, волжский голод, террор, разорение, колхозную каторгу, все бесчеловеческие советские злодеяния над русским народом. Пусть он сам еще шел против нас за большевистским отрепьем, но мы дрались за его душу и за его свободу.

И верили, как верим и теперь, что русский народ поймет все, так же, как поняли мы, и пойдет тогда с нами против советчины. Эта вера и была всегда тем «мерцанием солнечных лучей», о котором писал в своем походном дневнике генерал Дроздовский.

А бои все ширились, разрастались. Гражданская война все жесточела.

Продолжение в следующем номере.



О Родине, о Москве

В последние годы становятся доступны широкому кругу читателей произведения многих авторов Русского Зарубежья. Но до сих пор мы знали литературу русской Франции, русской Германии, русской Югославии. Теперь нам предстоит еще узнать литературу русского Китая, центром которого был Харбин. К числу крупнейших харбинских поэтов принадлежит Арсений Иванович Митропольский (Арсений Несмелов) (1889—1945). Офицер первой мировой войны и белого движения, проведя около 20 лет своей жизни в Харбине, он умер на родине в пересыльной тюрьме, близ Владивостока, оставив пронзительные строки о Родине, о Москве.

Составители книги, занимающиеся сбором материалов об Арсении Несмелове со второй половины 1960-х годов, включили в нее большинство стихотворений этого автора, как вошедших в изданные им сборники, так и публиковавшиеся только в периодических изданиях. Во втором разделе помещены поэмы «Восстание» о событиях октября—ноября 1917 года в Москве, когда «неожиданно подломились ноги у тебя, огромная страна», «Протопопица» о праведной жизни протопопа Аввакума и его жены, посвященная 100-летнему юбилею событий 1825 года поэма «Декабристы» и другие произведения. Отдельную подборку составляют избранные рассказы писателя.

Отношение к творчеству Арсения Несмелова, вынужденного на чужбине в течение долгих лет зарабатывать на жизнь литературным и журналистским трудом, печатаясь в эмигрантских и советских изданиях, может быть различно. И все же первое наиболее полное собрание произведений этого автора, вышедшее не за границей, что характерно для большинства русских эмигрантов, а в России, заслуживает пристального внимания не только литературоведов, но и всех, кого интересуют забытые страницы русской литературы и истории.

М. СКОРОХОДОВ

Арсений Несмелов: БЕЗ МОСКВЫ, БЕЗ РОССИИ. Стихотворения. Поэмы. Рассказы. Сост. Е. В. Витковский, А. В. Ревоненко. — М., Московский рабочий, 1990 (Московский Париес).

МИХАИЛ ШТЕЙН

Род вождя

Билет по истории

Взяться за перо меня заставило интервью Ольги Дмитриевны Ульяновой «И вновь о Ленине...», опубликованное а «Аргументах и фактах» (№ 16, 1990 г.), где затронут вопрос о происхождении рода Ульяновых. Некоторые положения этого интервью требуют весьма существенных дополнений и уточнений. И прежде всего, необходимо вспомнить а этой связи известный труд М. С. Шагинян «Семья Ульяновых» (часть I, «Рождение сына»).

В тридцатые годы, собирая материалы для своей книги, М. С. Шагинян много времени провела в исторических архивах Пензы, Ульяновска и Астрахани. По ее мнению, в астраханском архиве хранились некоторые документы Калмыцкой автономной республики. Они, пишет М. С. Шагинян в своем очерке «Как я работала над «Семьей Ульяновых», «открывались работниками прямо при мне. К сожалению, этот архив, видимо, сильно пострадал во время Отечественной войны и после нее, так что многие документы, виденные, переписанные и переснятые мной в тридцатых годах, утеряны. Во всяком случае, новые работники архива запрашивали меня недавно о фотографиях могильного памятника брата Ильи Николаевича, Василия Николаевича, и его отца». Полагаю, что в соответствии с действующей (не знаю, право, с какого года) инструкцией эти документы могли попасть в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС как имеющие отношение к В. И. Ленину. При этом в описи архивного дела ставится штампик «выбыло» без указания куда и когда. Так что читающий опись может подумать, что дело исчезло бесследно. С такими вещами мне приходилось сталкиваться самому.

Свою работу, как вспоминает М. С. Шагинян, она писала в тесном контакте с Надеждой Константиновной Крупской и Дмитрием Ильичом Ульяновым. «Оба они были моими консультантами и рецензентами, а Дмитрий Ильич по выходе книги моей из печати даже подарил мне в Горках свою рукопись воспоминаний о детстве Ленина. Когда я закончила первую часть работы вчерне, она была послана мною на отзыв Надежде Константиновне. Отзыв ее и предложенные ею поправки стали для меня компасом в моей работе и определили ее судьбу».

Дорого обошлось М. С. Шагинян написание первой части «Семьи Ульяновых», носившей в 1938 году название «Билет по истории». Пострадала за доброжелательные советы и положительный отзыв на нее и Надежда Константиновна Крупская. По инициативе И. В. Сталина Политбюро ЦК ВКП(б) 5 августа 1938 года принимает постановление «О романе Мариэтты Шагинян «Билет по истории», часть I „Семья Ульяновых“». В результате, роман М. С. Шагинян надолго исчезает из поля зрения читателей. Постановление осудило и «поведение Крупской, которая, получив рукопись романа Шагинян, не только не воспрепятствовала появлению романа в свет, но, наоборот, всячески поощряла Шагинян по различным сторонам жизни Ульяновых и тем самым несла полную ответственность за эту книжку». Далее в постановлении ЦК ВКП(б) говорилось: «Считать поведение Крупской тем более недопустимым и бестактным, что т. Крупская сделала все это без ведома и согласия ЦК ВКП(б), за спиной ЦК ВКП(б), превращая тем самым общепринятое дело составления произведений о Ленине в частное и семейное дело и выступая в роли монополиста и истолкователя общественной и личной жизни и работы Ленина и его семьи, на что ЦК никому и никогда никаких прав не давал».

Что же вызвало такой гнев И. В. Сталина? Его вызвало опубликование сведений о том, что в жилах В. И. Ленина течет калмыцкая кровь. Добавим, что дед Ленина А. Д. Бланк в этом издании «Билета по истории» указан как малоросс. В 1957 году в новом варианте «Семьи Ульяновых» М. С. Шагинян опускает упоминание о национальности А. Д. Бланка, вновь глухо вернувшись к этому вопросу в издании «Семьи Ульяновых» 1969 года.

Как рассказывала автору этих строк М. С. Шагинян, Н. К. Крупская, которая тяжело переживала несправедливые обвинения постановления, а свою очередь ее успокаивала. Только 11 октября 1956 года ЦК КПСС своим постановлением «О порядке изданий произведений о В. И. Ленине» отменил постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 августа 1938 года «как ошибочное и в корне неправильное».

Статья и генеалогическая схема опубликованы в газете ленинградских писателей «Литератор» (1990, № 38) под заголовком «Генеалогия рода Ульяновых».

Астраханские предки

В произведениях М. С. Шагинян достаточно полно и объективно дана генеалогия рода В. И. Ленина. Рассказано, что бабушка В. И. Ленина с отцовской стороны Анна Алексеевна Смирнова «вышла из уважаемого калмыцкого рода». К сожалению, подробностей о происхождении Анны Алексеевны Смирновой, в замужестве Ульяновой, ни в романе М. С. Шагинян, ни в работах Ж. А. Трофимова, ни, наконец, в книге А. С. Маркова «Ульяновы в Астрахани», где весьма детально описано происхождение ее супруга Николая Васильевича Ульянова (Ульянина, Ульянинова) на основе материалов, выявленных в 60-е годы, нет.

Вывод о том, что Николай Васильевич Ульянов, видимо, также имеет в своих жилах калмыцкую кровь, можно сделать на основании документов, приведенных М. С. Шагинян в очерке «Предки Ленина (Наброски к биографии)». Там она полностью дает текст приказа № 698 от 21 апреля 1825 года, хранящегося в Астраханском историческом архиве. В этом приказе имеются следующие строки: «Отчужденную от рабства, проживавшую у астраханского купца Михайлы Моисеева дворовую девку Александру Ульянову причислить по ее желанию в астраханское мещанство...» Спустя месяц, 14 мая 1825 года, в другом приказе № 902 говорится о том, что указом Астраханского губернского правления принято решение «причисленную в здешнее мещанство дворовую девку Александру Ульянову» отдать старосте Смирнову...

Рассматривая оба эти приказа, М. С. Шагинян пишет, что интереснейшее явление «рабства», существовавшее в России до 8 октября 1825 года, распространялось на малолетних детей калмыков и киргизов, которые могли быть проданы в рабство своими родителями купцам. «Рабство ограничивалось тем, что достигший двадцатилетнего возраста «отчуждался от рабства». Александра Ульянова стала свободной от рабства в марте 1825 года, то есть за семь месяцев до вступления в действие закона. И свободной она стала благодаря ходатайству о ее преждевременном освобождении Алексея Смирнова. «Трудно предположить, — пишет далее М. С. Шагинян, — что Александра Ульянова и Николай Васильевич Ульянов, не только однофамильцы, но и одинаково тесно связанные с семьей старосты Алексея Смирнова, — были чужими людьми друг другу». И далее: «В Астрахани коренных русских фамилий было мало. Очень многие произошли в ней от пришельцев, от крещеных калмыков и татар и откупивших себя на волю оброчных крестьян». Так что мы видим — происхождение отца Ленина Ильи Николаевича Ульянова уходит корнями в калмыцкий народ. Если бы это было не так, то М. С. Шагинян внесла бы поправки в текст книги «Рождение сына» и очерк «Предки Ленина», как она это сделала, когда изменения коснулись деда В. И. Ленина с материнской стороны, Александра Дмитриевича Бланка. Но об этом позже.

Шведская ветвь

В интервью «АиФ» есть фраза, что Мария Александровна «тоже русская, хотя бытует мнение о шведской ветви. Однако документально это не подтверждено». Так ли это на самом деле? Как раз эта линия разработана в третьей главе «Воспоминания одного детства» части I «Рождение сына» романа «Семья Ульяновых» достаточно подробно и очень убедительно. Пользовалась же М. С. Шагинян при написании этой главы записками старшей сестры Марии Александровны Ульяновой Анны Александровны Веретенниковой, которая хорошо знала историю своих шведско-немецких предков. Именно благодаря роману М. С. Шагинян мне удалось установить местонахождение домов, в которых жили предки В. И. Ленина с материнской стороны в Петербурге и принадлежавшие им.

К сожалению, записки А. А. Веретенниковой, которыми широко пользовалась при написании «Семьи Ульяновых» М. С. Шагинян, до сих пор не опубликованы и хранятся в сейфах ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Однако, рассказывая о шведских предках В. И. Ленина, вероятно, сегодня можно обойтись и без публикации записок А. А. Веретенниковой. Дело в том, что шведские исследователи жизни В. И. Ленина провели большую работу по установлению генеалогии его рода, так как он — потомок шведов, выехавших в Россию. В 1970 году в Швеции вышла книга Уно Виллерса «Ленин в Стокгольме» на русском и шведском языках. Именно в этой книге дана генеалогия шведской ветви рода В. И. Ленина. Отмечу вместе с тем, что Уно Виллерс при составлении таблицы допустил некоторые неточности. Поэтому внесем поправки, опираясь на печатные и архивные источники.

В первом томе С.-Петербургского некрополя указано, что Анна Беатта Гросшопф (прабабушка В. И. Ленина) родилась 19 февраля 1773 года, а умерла 23 февраля 1847 года. Уно Виллерс дату ее рождения не указывает. Похоронена Анна Беатта Гросшопф, или, как ее все звали, Анна Карловна, на Смоленском Евангелическом кладбище. Ее могила, как и могилы других родственников — предков В. И. Ленина, не сохранилась. Уничтожены после революции. Мои попытки найти их в 1965 году не увенчались успехом. Юган Готтлиб Гросшопф (прадед В. И. Ленина) — это не кто иной, как Иван (или Иоган) Федорович Гросшопф, умерший в 1820-е годы. Долгое время он работал консулентом Государственной Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел. Уно Виллерс пишет, что И. Ф. Гросшопф — купец. Но это неверно. В ЦГИА СССР имеется его послужной список, из которого видно, что он происходит «из иностранных купеческих детей». Это же личное дело гласит, что И. Ф. Гросшопф «в службу вступил в должность публичного нотариуса в Государственную Юстиц-коллегию Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел» 24 июля 1795 года и всю свою жизнь, как мы знаем из архивных источников, прослужил в этом учреждении, дослужившись до консулента. К своим служебным обязанностям он относился добросовестно, и поэтому на вопрос: «К продолжению статской службы способен ли? К повышению чина достоин или нет?» — следовал категорический ответ, подписанный Президентом Юстиц-коллегии бароном Андреем Корфом, отцом однокашника А. С. Пушкина по лицею, Модеста Корфа: «Способен и достоин». Из этого же послужного списка видно, что на момент его заполнения (вероятно, 1806 год) в семье И. Ф. Гросшопфа было восемь детей. По национальности, как пишет М. С. Шагинян в своем романе «Семья Ульяновых», И. Ф. Гросшопф был немцем. К сожалению, его генеалогия не разработана, поэтому сегодня трудно сказать, жили ли его предки, как жили предки его жены, в нашем городе, или он был первым представителем своего рода в России и в Петербурге.

Александр Дмитриевич Бланк не был доктором медицины, как пишет в своей книге Уно Виллерс (это ученая степень), а был штаб-лекарем, медико-хирургом и акушером. Последняя его должность перед уходом на пенсию — доктор Златоустовской оружейной фабрики.

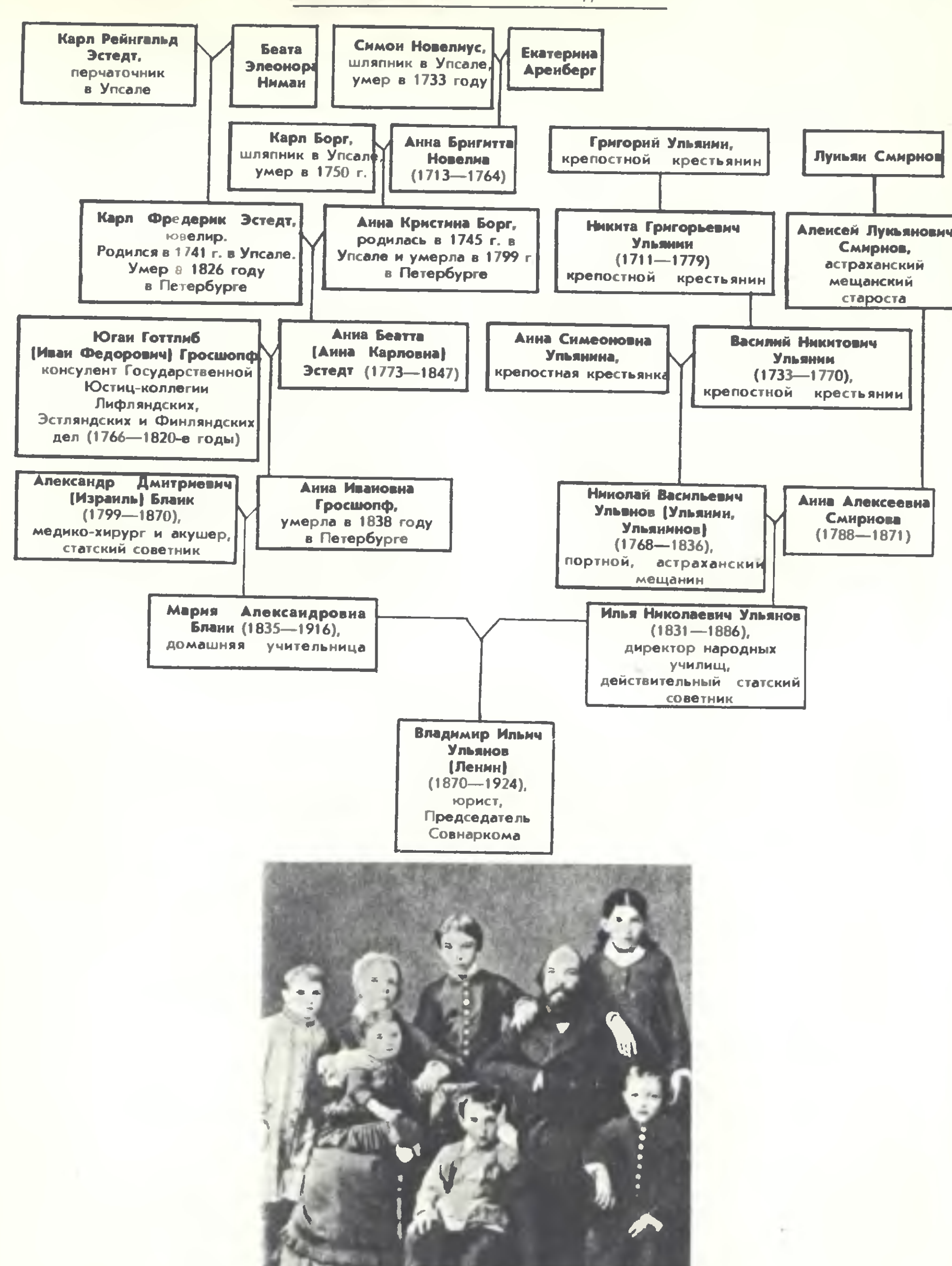
В схеме, составленной Уно Виллерсом, указывается, что А. Д. Бланк родился а 1802 году, а умер в 1873 году. Документы Государственного исторического архива Татарской АССР свидетельствуют о том, что Александр Дмитриевич Бланк умер 17(29) июля 1870 года, спустя три месяца после рождения у его любимой дочери Марии Александровны сына Владимира. Видел А. Д. Бланк своего новорожденного внука или нет — неизвестно. Но, учитывая, что после родов Мария Александровна болела, Александр Дмитриевич не мог не навестить дочь. Такой уж был у него характер. Детей и внуков он очень любил. Необходимо отметить также, что в метрической книге села Черемышева, на кладбище которого похоронен А. Д. Бланк, указано, что статскому советнику Александру Дмитриевичу Бланку был 71 год. Бесспорно, метрическая книга более точный документ. Поэтому в составленной мною схеме генеалогии рода В. И. Ленина я указываю дату рождения А. Д. Бланка — 1799 год.

Илья Николаевич Ульянов работал не директором школы, как пишет Уно Виллерс, а директором народных училищ Симбирской губернии. Его чин не действительный советник, такого чина в России не было, а действительный статский советник. После окончания Казанского университета он был удостоен звания кандидата математических наук.

Перед тем как привести свою таблицу, Уно Виллерс пишет: «Пожалуй, нельзя с уверенностью сказать, знал ли Ленин подробно об этом генеалогическом фоне. Однако точно известно, что его мать Мария Александровна, с которой он однажды встречался в Стокгольме, хорошо знала о своем шведском происхождении». Откуда такие сведения у Уно Виллерса, не берусь сказать, но думаю, что В. И. Ленин, как и другие члены семьи Ульяновых, хорошо знал о своем шведском генеалогическом древе, а Мария Александровна, судя по всему, свободно владела шведским языком, научившись ему от своей тети Екатерины Ивановны Гросшопф (в замужестве Эссен). Косвенно знание Марией Александровной шведского языка подтверждается следующим фактом. Хорошо известно, что Ольга Ильинична Ульянова одно время хотела поступить учиться в Гельсингфорсский университет. Но так как там преподавание велось на шведском языке, то она в течение года им овладела. Нет сомнений, что в этом активно помогала ей мать — Мария Александровна Ульянова, с которой Ольга Ильинична, бесспорно, практиковалась в разговорной речи, а также с ее помощью училась шведской грамоте.

Находки в ленинградских архивах

Документы о происхождении Александра Дмитриевича Бланка были выявлены независимо друг от друга а конце 1964 года А. Г. Петровым и мною 3 февраля 1965 года, и тогда же об их наличии было сообщено М. С. Шагинян. Но до сих пор они не опубликованы. Глухой намек о



происхождении А. Д. Бланка М. С. Шагинян сделала на основании этих документов. Вот что она пишет в третьей главе «Воспоминания одного детства» части I «Рождение сына» романа «Семья Ульяновых»: «...Александр Дмитриевич Бланк был родом из местечка Староконстантинова Волынской губернии. Окончив Житомирское поветовое училище, он приехал с братом в Петербург, поступил в Петербургскую Медико-хирургическую академию и закончил ее в звании лекаря...» Все так, все правильно. Еще раз внимательно вчитаемся в эти строки. Местечко Староконстантинов...

Двадцать пять лет назад М. С. Шагинян не могла написать правды, никто бы не пропустил. Время было не то. Вот и пришлось прибегнуть к маскироаке. Хорошо, что цензоры не поняли, а может, сделали вид, что не поняли того, что сказала словами «местечко» М. С. Шагинян. Да, вместе с братом А. Д. Бланк приехал в Петербург поступать в Медико-хирургическую академию. Но на их пути стеной встали законы Российской империи, запрещавшие принимать евреев в государственные учебные заведения. Это и заставило недогматически воспитанных братьев Бланк перейти в православие. В деле «О присоединении к нашей церкви Житомирского поветового училища студентов Дмитрия и Александра Бланковых из еврейского закона», хранившемся до марта 1965 года в Центральном государственном историческом архиве Ленинграда, имеется их собственноручное заяаление по этому вопросу. Вот его текст: «Поселясь ныне на жительство в С.-Петербурге и имея всегдашнее обращение с христианами, Греко-российскую религию исповедающими, мы желаем ныне принять оную. А посему, Ваше преосвященство, покорнейше просим о посвящении нас священным крещением учинить Самсониевской церкви священнику Федору Барсову предписание... К сему прошению Абель Бланк руку приложил. К сему прошению Израиль Бланк руку приложил». Крещение было учинено в Самсониевском соборе в июле 1820 года. Восприемниками Израиля Бланка стали граф Александр Апраксин и жена сенатора Дмитрия Осиповича Баранова — Варвара Александровна. Восприемником его брата Абеля стал сенатор Д. О. Баранов и жена действительного статского советника Елизавета Шварц. В честь своих восприемников братья Бланк взяли имена Александр и Дмитрий, а Александр взял отчество Дмитриевич, в честь восприемника своего брата — известного общественного деятеля, поэта и шахматиста.

Вторичное упоминание о том, что братья Бланки из евреев, имеется в материалах о поступлении их в Медико-хирургическую академию. До марта 1965 года эти материалы также хранились в Ленинграде, в Центральном государственном историческом архиве СССР. Затем дело «выбыло». В нем, наряду с заяалением о зачислении в академию, находились аттестаты, полученные братьями Бланк в Житомирском поветовом училище, и свидетельство о крещении, выданное им священником церкви преподобного Самсония Федором Барсовым. Отдельно братья Бланк дали обязательство строго соблюдать все требования, которые накладывало на них принятие православия. С этого момента, по законам Российской империи, они считались православными и никто не мог ущемлять их права. Путь для получения высшего образования братьям Бланк был открыт. В июле 1820 года они были зачислены в медико-хирургическую академию волонтерами и успешно окончили ее в 1824 году.

Не ставя своей задачей описать весь служебный путь А. Д. Бланка, хочу отметить, что он был очень талантливым человеком, и поэтому в его анкете на вопрос: «К продолжению статской службы способен ли? К повышению чина достоин или нет?» — следовал ответ: «Способен и достоин». А. Д. Бланк был одним из пионеров бальнеологии в России и основал первую водолечебницу для рабочих Урала.

Узнав, что открыты новые данные, М. С. Шагинян, как и всякий добросовестный исследователь, начала думать об их публикации. Она писала мне 7 мая 1965 года:

«Генеалогия отца Марии Александровны точно выяснена благодаря находке в архиве нужных документов. Находку сделал ленинградец Александр Григорьевич Петров... Об этом мною было доложено в Институт марксизма-ленинизма. «Семья Ульяновых» (1-я часть, где говорится о родословных отца и матери) будет переиздаваться, вероятно, в будущем году, и я надеюсь получить разрешение на публикацию этих новых данных

Сердечный привет
М. Шагинян.

P. S. Я смотрю на понятие национальность абсолютно как Вы, т. е. не придаю ему ни малейшего значения, кроме фактического и исторического. Но напоминаю Вам, что моя книга «Семья Ульяновых» была изъята на 22 года, а я за нее порядком пострадала из-за того, что открыла калмыцкое прошлое в роде отца и этим воспользовались фашистские немецкие газеты в 37-м году.

М. Ш.»

Однако надежды М. С. Шагинян выпустить книгу с необходимыми испраалениями и дополнениями не спешили сбыться. 28 марта 1966 года она пишет:

«Дорогой тов. Штейн лежу больная и запустила свою корреспонденцию. Вы спрашиваете, когда переиздадут «Семью Ульяновых». Мне запретили упомянуть в новом издании о новых данных, открытых в архиве, в генеалогии матери Ленина, а я запретила печатать «Семью Ульяновых» без этих данных. «Роман-газета» вынуждена была в силу моего отказа выпустить «Первую Всероссийскую» (вторую часть трилогии) без «Семьи Ульяновых». Больше я ничего не смогла сделать, и мне тошно от такого непонятного для меня запрета. Это не только отвратительно, но и политически глупо. Пришлите фотографии, буду Вам очень благодарна. Если Вы сможете повидать Петрова, скажите ему, что я была просто ошеломлена, узнав, будто работников архива постигла какая-то неприятность. Если это их может утешить, пусть сообщит им, что и мне самой не легче. Я никак не думала, что все так обернется.

Сердечный привет
М. Шагинян».

Когда в ИМЛ узнали, что в ленинградских архивах найдены документы о еврейском происхождении А. Д. Бланка, разразился страшный скандал. Посыпались выговоры, некоторых поснимали с работы. Все архивные дела, которые могли хоть как-то раскрыть тайну о еврейском происхождении А. Д. Бланка, были изъяты и увезены в ИМЛ. Как рассказали мне сотрудники архива, страницы дел были перенумерованы, в некоторых случаях переписаны листы использования. В этом убедился я сам, когда увидел спустя много лет опись одного из дел, хранящихся в Центральном историческом архиве СССР, которую читал в далеком 1965 году, и не обнаружил на «Листе использования» своей фамилии и подписи, хотя она стояла вслед за фамилией А. Г. Петрова. По-иному поступили с делом о крещении А. Д. Бланка в Центральном историческом архиве Ленинграда. Там и «Лист использования» изъяли, но зато вместо выдранных страниц дела ответственный хранитель фондов Куликова аложила лист с рукописным текстом, который гласит, что «согласно устному распоряжению заведующего архивным отделом исполкома Ленгорсовета Виноградова В. П. подлинник листов 326—329 ед. хр. 632, опись 17, фонд 19 изъяты (без копирования) и направлены через архивный отдел в Главное архивное упраaление при СМ СССР». Благодаря этому мы имеем сегодня доказательство, как изымались документы, неугодные власть имущим.

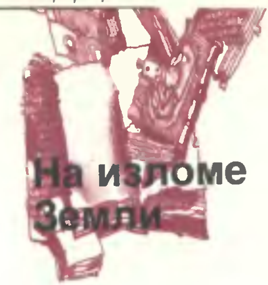
Вскоре после прочтения материалов об А. Д. Бланке меня вызвали в Ленинградский обком КПСС и порекомендовали не совать нос куда не просят. Ответственный работник обкома заявил мне: «Мы вам не позволим по-

зорить Ленина!» От подобной фразы я опешил. Но тут же сообразил, что мой собеседник великолепно понимает оскорбительный смысл сказанных слов, а также и то, что жаловаться мне некуда. Никто не поверит, а меня обвинят в клевете и в чем угодно другом. Сила на его стороне. «А что, быть евреем это позор?» — спросил я своего собеседника. «Вам этого не понять», — последовал незамедлительный ответ. «А как же тогда с Марксом, ведь он тоже еврей?» — вновь задал я вопрос. «К сожалению», — ответствовал мой собеседник. И тут, наконец, спохватившись, что хватил лишнего, добавил: «Я вам рекомендую лучше заняться поисками героев войны, а мы со своей стороны посоветуем руководству архивов документы, касающиеся предков Ленина, вам не давать». На этом мы и простились. Работу пришлось прервать. Впрочем звонок в отношении меня был не только в архивы, но и на мою работу, о чем я случайно узнал спустя много лет. При этом были высказаны соответстаующие рекомендации. Но больше меня не трогали... Сравнительно недавно я рассказал об этом разговоре одному человеку, который оказался однокурсником моего обкомовского собеседника. Выслушав меня, он задал неожиданный вопрос: «А вы знаете, кем по национальности являлась бабушка вашего собеседника?» «Нет»,— ответил я. «Еврейкой», — последовал неожиданный ответ. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. В жизни бывают парадоксальные ситуации. Но тогда, в 1965 году, мне было не до смеха. Не до смеха было и М. С. Шагинян.

В своем письме от 24 октября 1967 года она написала мне, что считает своей заслугой получение фотокопий документов о происхождении А. Д. Бланка и сохранение этих материалов для будущих историков, особо подчеркнув: «...кроме всего прочего, приняла на себя удар за это, до сих пор он, этот удар, чувствуется в моей литер(атурной) судьбе, но я надеюсь — люди поймут, какую подлую и глупую позицию по отношению к исторической истине они заняли, не соответствующую ни коммунизму, ни научной честности». При личной встрече М. С. Шагинян сказала мне, что ее за эту находку не наградили орденом к юбилею. Но это все лирика. Однако знать ее нужно. Главная же цель данной статьи — дать ответ на вопрос: кто же по национальности Владимир Ильич Ульянов (Ленин)? И я уверенно отвечаю: «Русский. Русский по культуре, русский по языку, русский по воспитанию, потомственный русский дворянин по происхождению (Илья Николаевич Ульянов, будучи действительным статским советником, имел на получение потомственного дворянства все права)». Генеалогия рода В. И. Ульянова (Ленина) только убеждает нас, что понятие национальности в паспорте, знаменитый пятый пункт — анахронизм. Его нет ни в одной стране мира, кроме нас и, пожалуй, ЮАР. А во всех цивилизованных странах мира интересоваться национальностью человека считается просто бестактностью. Поэтому пункт о национальности в анкетах необходимо отменить. И заменить его, если уже так хочется знать подобный анахронизм, вопросом: «Какой язык считаете родным?»

Такова правда о генеалогии рода В. И. Ульянова (Ленина). Сегодня настала пора гласности. И, думается, пора опубликовать его генеалогию. Ликвидировать еще одно «белое пятно» в истории. И еще было бы неплохо переиздать часть 1-ю «Рождение сына» романа «Семья Ульяновых» в том виде, в каком ее хотела видеть М. С. Шагинян, без всяких купюр.

●



На изломе Земли

Неравнодушному читателю, мучительно размышляющему об истоках всех наших бед, уверен, по душе придется книга очерков С. Жукова «Земли живой излом».

Земля — священное слово в языке всех народов во все времена, отношение к ней — один из важнейших критериев гуманизма. Как же могло случиться, что исторический центр, колыбель русского народа и русской государственности все больше превращается в обезлюдевшую, безжизненную «Зону». Как могло произойти, что «некоторые деревни оказались как бы подпольно существующими, ибо, выполняя план-развёрстку, начальство отметило их за несуществующие, но кто-то в деревне отказался все же покинуть родные гнезда — ложились даже под трактор, когда, захлестнув халупу, ее намеревались сдернуть с фундамента...»

На ком же этот неоплаченный грех, кто виновен в разрушительной трагедии земли и народа?

Автор показывает, как высокомерно и безответственно ведет по сути вненациональная бюрократия войну против собственного народа. Как верно служат ей придворные ученые, с лакейской готовностью высокоумно обосновывающие любое последующее надругательство над умирающей природой Русского Севера. И как страшно признать им дело рук своих. «... они отрицали все напрочь — мертвые от гербицидов зоны в костромских лесах и кислотные туманы вокруг ТЭЦ, простреливающих насквозь предметы из капрона к вящему удивлению простодушных хозяек. Никто из них, как оказалось, якобы и не слышал о реках, ставших сточными канавами, о миллионах кубометров затопленного леса на трассе Волго-Балта». Не признают они своего греха перед нами, перед Землей. Они перестраиваются, готовят новые эксперименты, и вот уже некоторые из них «состоят» в прорабах перестройки, носят высокий депутатский знак на лацкане пиджака.

Судьба Земли — наша судьба. Она не может за себя заступиться, она не может себя защитить. Но эрозия Земли порождает эрозию в человеческих душах. Разрушаются семьи, подрубаются корни...

«Право на землю означает право на свои истоки, право на свою национальность» — основная мысль автора.

С. БОГОМОЛОВ

Жуков С. Г. ЗЕМЛИ ЖИВОЙ ИЗЛОМ. Кн. очерков. — М.: Мол. гвардия, 1989.

МИХАИЛ ВОСТРЫШЕВ

Заговор против отца

I

Петр Алексеевич фон-дер Пален родился в Курляндии. Во время переворота 1762 года он был капралом Конной гвардии, принявшей участие в свержении Петра III. Участвовал в шведской войне 1788 года, за которую награжден чином генерал-майора, Георгием третьей степени и Анненской лентой.

В 1796 году Петр Алексеевич был назначен курляндским генерал-губернатором, но вскоре за почести, оказанные в Риге высланному Павлом из Петербурга Платону Зубову, уволен в отставку.

В 1798 году из отставки произведен в генералы от кавалерии, назначен вторым петербургским генерал-губернатором, заменив сверх меры ретивого Николая Архарова.

Увлекающийся Павел обрушил на Палена поток милостей и доверия: пожаловал орденом святого Андрея Первозванного, возвел в графское достоинство, назначил на должности первоприсутствующего в коллегии иностранных дел и главного директора почт, одаривал землями и мужиками.

Граф Пален осторожно шутил при дворе, никогда никого не порицал и не защищал, в делах был энергичен, всем казался неопасным служакой и неуклонно двигался к новым чинам и высшей власти.

У Петра Алексеевича совсем не было врагов! Власть его была почти столь же безгранична, как Павла, его звали Ливонским визирем, но Павел, заняв трон, нажил себе огромное число врагов среди высшего дворянства. Пален же числился в друзьях и у Павла, и у Кутайсова, и у цесаревича Александра Павловича, и у императрицы Марии Федоровны.

Многих располагало к нему открытое добродушное лицо, честность, благотворительность. Граф был ровно дружелюбен со всеми придворными, превосходно скрывая от них свои мысли и чувства, всегда оставаясь непроницаемым для чужого взора. Если же Петру Алексеевичу пеняли на строгость и подчас идиотизм его приказов, он грустно вздыхал и разводил руками: не моя, мол, воля; прикидывался простачком, которым все вертят как хотят, хотя чаще было наоборот.

Граф не забыл и не простил Павлу ничего — ни своей унизительной отставки, ни императорского превосходства, ни пренебрежения дворянским сословием в угоду *подлому* люду. Петр Алексеевич жаждал полноты власти, он хотел стоять над троном, как советник, превосходящий умом государя, а ему отвели место полицмейстера, которым по настроению помыкает безумный монарх. И Пален с умыслом приводил в исполнение с превеликой точностью все жестокие и необдуманные распоряжения Павла, отданные в минуты гнева.

Другой заботой Петра Алексеевича было распускать слухи: что Павел собирается жениться на княгине Гагариной, что старших сыновей он решил заточить в темницу, а Марию Федоровну постричь в монастырь, что наследником он уже тайком назначил не то младенца Михаила, не то племянника Евгения Вюртембергского, что Семеновский полк, за любовь к Александру Павловичу, скоро будет разослан по сибирским гарнизонам. И что было замечательно, Пален никогда не пускал *пустой* слух, выбирал лишь тот, к которому доверчивые и боязливые за себя придворные могли подтянуть несколько достоверных улик. Услышав от графа новость, они на следующий день убеждались, что император посетил княгиню Гагарину, что грубо разговаривал с женою и старшими сыновьями и ласкал племянника, что обругал на вахт-параде Семеновский полк.

Наконец, выждав, как поступал и Кутайсов, подходящую минуту, Пален завел с императором разговор о давно задуманном:

— Вашему величеству угодно было наказать исключением из армии весьма значительное количество офицеров. Среди них много и таких, что исправились и хотели бы доказать вам свою преданность, если бы им выпало счастье вернуться в армию.

— Ты прав, я был жесток со многими. Так говоришь, они просятся вновь на службу? — Павлу было приятно услышать, что опальные военные не сердятся на него. — Что ж, я их всех прощаю и разрешаю тотчас принять в армию.

Первого ноября 1800 года, по наущению Палена, Павел издал манифест, которым разрешил *всем* уволенным и исключенным вновь вступить в службу, но *при условии* лично явиться в Петербург.

Со всех губерний потащились пешком или *на долгих* оскорбленные и обнищавшие офицеры, с умилением вспоминавшие веселые времена Екатерины, когда они имели верное жалование лишь за то, что получили в день своего рождения звание дворянина. Столица с началом нового года наполнилась полуголодными, недовольными военными.

Конечно, манифест принес и много хорошего. Вновь в Сенате появился Державин, вернулся из ссылки Нелединский, офицеры с боевыми шрамами и Георгиевскими крестами вновь понадобились Отечеству. Но... Вернулись Зубовы. Платон и Валерьян, при содействии Палена, были назначены шефами кадетских корпусов, Николай — обер-шталмейстером. Прибыл из своих литовских поместий расчетливый граф Беннигсен.

Павел радовался всепрощению, хотя предчувствие беды все туже сковывало его разум. Первого февраля 1801 года он внезапно переселился из ненадежного Зимнего дворца в новowыстроенный Михайловский замок.

«В бывшем на этом месте Летнем дворце я родился, здесь хочу и умереть», — объяснил император поспешный переезд.

«Государь может теперь чувствовать себя в полной безопасности», — рассуждали одни. И правда, вокруг Михайловского замка был сооружен бруствер, водяной ров, одетый гранитом, проникнуть внутрь можно было лишь по четырем мостам, которые с сигналом вечерней зари поднимались, и ночью по неотложным делам придворные ходили по небольшому мостику, бдительно охраняемому. На главной гауптвахте внутри замка всегда дежурила рота со знаменем. В бельэтаже был выставлен внутренний караул. Гарнизонная служба в замке отправлялась, как в осажденной крепости.

«Разве стены спасут, если люди начнут?» — туманно выражались другие. И правда, недовольные Павлом офицеры стали устраивать в домах неподалеку от Михайловского замка маленькие *рауты*. Слухи, что государь дерется палкой, ссылает целые полки в Сибирь и, больной разумом, задумал превратить Россию в большую прусскую казарму, становились все настойчивее. Ближайшие друзья Павла — графы Ростопчин и Аракчеев — были сосланы им в далекие деревни. Третий, преданнейший друг, граф Кутайсов сдружился с князем Зубовым после того, как Платон пообещал взять в жены его дочь.

Измена витала по Петербургу, на слуху у всех было зловещее слово ц а р е у б и й с т в о.

Пален с легкой улыбочкой сострадания передавал *лучшим людям* России, начиная с великого князя Александра Павловича и кончая офицерами караула, фразу, которую будто бы теперь постоянно бормочет император: «Скоро меня вынудят приказать отрубить дорогие мне головы».

Граф Пален, любивший римскую историю, назначил переворот в мартовские иды, с четверга на пятницу середины месяца. Пусть мир знает, что возмездие настигло тирана в день убийства Цезаря, и этот день пусть станет символом свободы и гражданского мужества для потомков россиян.

Многие рассказывают также, что какой-то гадатель предсказал Цезарю, что в тот день месяца марта, который римляне называют идами, ему следует остерегаться большой опасности. Когда наступил этот день, Цезарь, отправляясь в сенат, поздоровался с предсказателем и шутя сказал ему: «А ведь мартовские

Окончание. Начало в №№ 1, 2, 12/1990.

иды наступили!», на что тот спокойно ответил: «Да, наступили, но не прошли!»

...При входе Цезаря сенат поднялся с мест в знак уважения. Заговорщики же, возглавляемые Брутом, разделились на две части: одни стали позади кресла Цезаря, другие вышли навстречу, чтобы вместе с Туллием Комвром просить за его изгнанного брата; с этими просьбами заговорщики провожали Цезаря до самого кресла. Цезарь, сев в кресло, отклонил их просьбы, а когда заговорщики приступили к нему с просьбами еще более настойчивыми, выразил каждому из них свое неудовольствие. Тут Туллий схватил обеими руками тогу Цезаря и начал стаскивать ее с шеи, что было знаком к нападению. Каска первым нанес удар мечом в затылок; рана эта, однако, была неглубока и несмертельна. Каска, по-видимому, вначале был смущен дерзновенностью своего ужасного поступка. Цезарь, повернувшись, схватил и задержал меч. Почти одновременно оба закричали: раненый Цезарь по-латыни — «Негодяй, Каска, что ты делаешь?», а Каска по-гречески, обращаясь к брату, — «Брат, помоги!». Непосвященные в заговор сенаторы, пораженные страхом, не смели ни бежать, ни защищать Цезаря, ни даже кричать. Все заговорщики, готовые к убийству, с обнаженными мечами окружили Цезаря: куда бы он ни обращал взор, он, подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары мечей, направленные ему в лицо и в глаза, так как было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят жертвенной крови. Поэтому и Брут нанес Цезарю удар в пах. Некоторые писатели рассказывают, что, отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидев Брута с обнаженным мечом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары.

2

Одиннадцатого марта, за три дня до мартовских ид, Пален явился к императору с обычным утренним рапортом.

— Граф, вы были в Петербурге в 1762 году?

— Да, ваше величество.

— Вы помните заговор, лишивший моего отца жизни?

— Но я был молод, ваше величество, и ничего не подозревал.

— А сейчас? — Павел шагнул к Палену и вскинул голову, чтобы не упустить из виду глаз собеседника.

Пален не отвел спокойного взгляда:

— Что сейчас?

— Сейчас тоже не подозреваете?

— Ваше величество, будьте со мной откровенны: вы что-то знаете? — Пален выказал на лице легкое беспокойство. — Мне тоже есть, что вам сказать.

Павел поверил в искренность Палена, ибо на собственном опыте убеждался не раз, сколь невозможно искусное притворство, когда перед тобой лишь приоткрывают завесу тайны. А собственный опыт император ценил превыше всего. Но, на всякий случай, продолжал сверлить взглядом своего подданного:

— Скоро повторится 1762 год.

— Как скоро, ваше величество?

— Думаю, через три дня.

— Не беспокойтесь, ваше величество, через четыре

— Откуда такая уверенность?

— Я сам состою в заговоре.

— Вы тоже хотите Александра в цари? — грустно спросил Павел.

— Нет, я состою в заговоре, чтобы ни один преступник не вырвался из западни и не смог избежать возмездия. Чтобы впредь никто в России не помышлял посягать на священную жизнь монарха.

— Кто же они?

— Их немало, ваше величество. Потерпите до завтра, когда мышеловка захлопнется. Я знаю вас, что вы сможете сдержать себя и как ни в чем не бывало пройти сегодня мимо заговорщиков, если будете знать их имена. А они проникли и во дворец. Если спугнуть их сегодня, все пропадет — они сумеют выкрутиться.

— Что ж, делай, как считаешь нужным. Но скажи одно: неужто и мои дети?.. Нет, не говори ничего! Я дотерплю до завтра... — Павел жалобно улыбнулся. — И все же боюсь, что повторю судьбу отца.

Пален взялся горячо возражать, загибая пальцы:

— Вам нечего опасаться: он был немец — вы русский, он не был коронован — вы наш законный государь, он презирал православие — вы почитаете его, он...

— Не смей! — закричал Павел. — Это мой отец!

— Простите, ваше величество.

— Но почему они хотят моей смерти? Почему не скажут открыто, чем неугодно мое царствование? — почти с мольбой вопрошал Павел. — Я же никому, даже врагам, не желаю зла. Я лишь хочу славы России. Неужто я так уж плох?

— Им хочется власти. Вспомните историю: заговоры, как правило, создавались ничтожными людишками в корыстных целях.

— Может быть... Может быть... Что ж, завтра — так завтра... Спасибо, ты у меня остался единственный друг.

Павел прижался к плечу Палена, словно мальчишка к отцу, — государь был на голову ниже рослого графа.

— И все же, ваше величество, осторожность не помешает.

— Да-да, я выполню все, что ты скажешь.

— Прикажите на несколько дней заколотить дверь из вашей спальни в покои императрицы.

— Как ни странно, но я уже распорядился об этом неделю назад. И до нынешнего утра все стеснялся за свой поступок, хотел сделать по-прежнему. Теперь подожду.

— И еще... Сегодня возле вашего кабинета в ночь назначен караул от Конно-гвардейского полка, того самого, что сверг вашего батюшку. Я опасаюсь за благонадежность некоторых из офицеров.

— Я сделаю все, как вы желаете. Но помните, граф, — з а в т р а. Я буду ждать с нетерпением. Надеюсь, все уладится без крови?

— Ваша воля — закон, государь.

После беседы с Паленом Павел был на вахт-параде, но никто не подвергся его гневу, не получил взыскания. До полудня император был грустен, рассеян. Двор, как и в предыдущие дни, запертый в мрачном и сыром Михайловском дворце, влачил скучное и однообразное существование.

После обеда Павел уехал кататься по Петербургу, вернулся домой в пятом часу в отличном расположении духа и нежно взял под руку супругу.

— Мой ангел, я привез безделку, но смею думать, она доставит тебе удовольствие.

— Как и все, что вы делаете, ваше величество, — радостно вспыхнула императрица, уже более недели чувствовавшая на себе гнев мужа.

Павел достал из кармана и преподнес ей чулки.

— Их связали и просили передать вам воспитанницы вашего Смольного института.

Мария Федоровна прижала подарок к груди — нет, она никогда больше не будет обижаться на мужа, он вспыльчив, но и отходчив, он взвалил на себя тяжкое бремя власти, и ее обязанность, по мере сил, облегчать его ношу.

Они поцеловали друг друга, и умиротворенный Павел пошел в комнату к младшим детям, до ужина пел и танцевал с ними, загадывал загадки и одаривал сладостями.

Ужин был накрыт на девятнадцать кувертов. Кроме Павла и Марии Федоровны, за столом сидели великие князья Александр и Константин с женами, великая княжна Мария Павловна, статс-дама графиня Пален, фрейлина графиня Пален, камер-фрейлина Протасова, генерал от инфантерии Кутузов, фрейлина Кутузова 2-ая, обер-камергер граф Строганов, обер-гофмаршал Нарышкин, обер-камергер граф Шереметьев, шталмейстер Муханов, сенатор князь Юсупов, статс-дама Ренне, статс-дама графиня Ливен.

Около ног Павла, сколько он его не отгонял, вертелся и выл любимый маленький шпиц.

Чтобы рассеять всеобщее уныние — к мрачности Михайловского замка никак не могли привыкнуть — Павел попытался шутить:

— Сегодня мне зеркала в кабинет повесили. В какое ни посмотрю, все у меня лицо кривое.

— Надо сменить, — посоветовал князь Юсупов.

— Зеркало или меня? — улыбнулся Павел.

Великий князь Александр Павлович чихнул.

Император тотчас вскочил и склонился в почтительном поклоне:

— Да благословит вас бог, ваше высочество.

Александр Павлович не знал: в шутку это отец или всерьез, и, на всякий случай, застыдился, опустив красивые глаза.

Беседы не получалось, никому не хотелось попасть впросак, как князь Юсупов. Наконец ужин кончился. Все встали с мест и приготовились, как обычно, пройти в соседнюю комнату, где прощались с императором. Но Павел остановил гостей:

— Чему быть, того не миновать! Спокойной ночи, господа.

Император, не дожидаясь напутственных слов от придворных, развернулся и вышел. За ним припустился только шпиц.

3

Николай Александрович Саблуков в 1792 году вернулся в Россию из долгого путешествия по загранице и поступил в Конно-гвардейский полк, в котором дослужился при Павле до полковника. Одиннадцатого марта 1801 года эскадрон, которым он командовал, должен был выставить караул в Михайловском замке: двадцать четыре рядовых, три унтер-офицера и трубач. Дежурным по караулу назначался корнет Андреевский, который должен был неотлучно находиться в комнате перед кабинетом Павла, служившим императору и спальней.

В десять утра Саблуков вывел караул на плац-парад. Адъютант полка Ушаков сообщил ему, что по приказу шефа полка великого князя Константина Павловича Саблуков назначается, кроме того, и дежурным по полку. Николай Александрович удивился: зачем совмещать две столь ответственные должности? Удивился он и тому, что ни одного из великих князей не было на разводе. Но приказ есть приказ, и Саблуков, расставив караулы в Михайловском замке, вынужден был, вместо того чтобы лично наблюдать за соблюдением правил охраны священной особы государя, вернуться в казармы.

В восемь часов вечера, уже как дежурный по полку, Саблуков вновь появился в Михайловском замке, разыскал Константина Павловича — тот взволнованно о чем-то беседовал с испуганным Александром Павловичем, и оба великих князя сробели, когда перед ними предстал Саблуков. Но узнав, что полковник явился с обычным делом — передать рапорты от дежурных офицеров всех пяти эскадронов Константину Павловичу, успокоились.

Не успел Саблуков заехать домой после рапорта шефу полка, как за ним прискакал фельдъегерь:

— Его величество желает, чтобы вы немедленно прибыли во дворец.

По шаткому мостику, единственной ночной дороге в Михайловский замок, Саблуков вновь прибыл во дворец и остался дожидаться императора.

В 22 часа 16 минут часовой крикнул: «Вон!», караул Конно-гвардейского полка повыскакивал из своей комнатенки и выстроился.

Появился император, подошел близко к солдатам и сурово произнес:

— Вы — якобинцы. Сводить караул!

— По отделениям направо! Марш! — скомандовал удивленный сверх всякой меры Саблуков. Сконфуженный корнет Андреевский вывел караул.

— Ваш полк, как неблагонадежный, я решил разослать по провинции, — милостиво ответил Павел на застывший в глазах Саблукова немой вопрос. — Но вас лично я знаю, как честного дворянина, поэтому облегчу судьбу вашего эскадрона. Готовьтесь со своими солдатами завтра в четыре утра в полной походной форме и с поклажей отправиться в Царское Село.

— Ваше величество, но как же вы без охраны?

— Не бойтесь, я знаю, что делаю. Переодену двух своих лакеев гусарами, они ничем не хуже ваших. К тому же через две комнаты стоит караул от гренадерского батальона Преображенского полка. У меня есть все основания полагать, что они надежнее конногвардейцев. Идите спать, полковник, вам с восходом трогаться в путь.

Саблуков вышел. Оставался час до полуночи.

4

Пален после доверительного разговора с императором понял: надо действовать незамедлительно — завтра будет поздно. Он послал курьера к заставе — задержать до утра следующего дня возвращающегося в Петербург после опалы графа Аракчеева. Аракчеев был беззаветно предан Павлу, и не должен был находиться в столице в эту ночь. Кроме того, надо было нейтрализовать близких к Павлу военных, вроде коменданта Михайловского замка генерала Котлубицкого. Пален, действуя от имени Павла, арестовал их.

Теперь надо было расставить по замку своих людей. Дежурным в ночь генерал-адъютантом Пален поставил одного из главных деятелей заговора — Уварова. Караулом от Преображенского полка командовал тоже участник заговора — автор острой политической сатиры на Павла поручик Марин.

Люди подбирались злые, сановитые, обиженные: трое Зубовых, Беннигсен, Вяземский из Смоленского полка, Скарятин из Измайловского, Аргамаков из Преображенского, Татарин из Кавалергардского, Яшвиль из артиллерии... Все они были предупреждены в течение дня.

Вечером Пален съездил ко двору и узнал, что великий князь Александр Павлович на ужине держался хорошо, ничем не выдал заговор. Из остальных, приглашенных к столу, ни один не был посвящен в задуманное предприятие.

Что ж, можно и начинать. Из Михайловского замка граф Пален направился на квартиру генерал-лейтенанта Талызина. Здесь уже собрались около шестидесяти заговорщиков. На столе, на диванах, повсюду было разбросано оружие. Офицеры, все как один в парадных мундирах, пили шампанское, курили, хорохорились друг перед другом, собравшись в кружки.

— Помню, как по аглицкому парку в Царском Селе во фрак при покойной государыне хаживали, в карты поигрывали, за дамами по аллеям бегали, — вздыхал пожилой генерал.

— Караула почти нигде не было, — соглашался граф Толстой. — Государыня знала, что ее любили. Поутру идет одна, на голове кругленькая шляпка, а в голове думы о нас. И думы добрые — разве среди птиц и зелени злое на ум придет? Нынче же государь запрется в каменном склепе, вокруг солдаты оружием лязгают — ну, разве тут что-нибудь хорошее в голову придет?

— Пруссаки для него люди, а мы — ничто! — послышался более грозный голос, кажется, князя Волконского, адъютанта Александра Павловича.

— Упал, вальсируя с Гагариной, и запретил вальс, — желчно рассмеялся штабс-капитан барон Розен. — Я всегда дрожал, как бы она со мной не решила пококетничать — ведь в Сибирь не она, я угожу.

— А мне прислал фельдъегеря передать: «Вы — дурак»! — дрожа от злобы, выкрикнул поручик Савельев.

И посыпались возгласы со всех сторон:

— Живем, как на каторге.

— Гоняет нас, как лакеев.

— На вахт-парад идешь, как на эшафот.

— Его рассудок давно болен

— Да он душевнобольной.

Встал Платон Зубов, осушил бокал и, стараясь всех перекричать, выпалил:

— Россия в бедствии. Наш шут обезумел от власти, он угрожает каждому из нас, каждый из нас завтра может очутиться в Сибири! Доколе терпеть?! Покойная Екатерина не раз говорила мне, что ее законный наследник — Александр Павлович.

Беннигсен из угла, где невозмутимо стоял, скрестив руки на груди, категорично заверил:

— Самовластие губит трон. Нужно заставить Павла отречься.

И вновь заголосили со всех сторон:

— Регентство, и в регенты Марию Федоровну.

— Нет, она заодно с ним рёхнутая. Александра Павловича в регенты. Он по-старому будет править.

— Господа! Вы говорите чушь! Павел регентства не потерпит. Да и Александр слаб характером

— Государь только и делал, что перед солдатом и мужиком угодничал. Они теперь в его друзьях ходят и только и ждут, когда нас всех перевешать.

— Придем и скажем: хотим видеть на троне Александра Павловича.

— Всех удавить, — вдруг холодно заявил полковник Бибиков.

На миг офицеры затихли, но вскоре очнулись, и каждый, боясь, что сосед заподозрит его в робости, на свой лад затянул

— Республика!

— Свобода!

— Великая Екатерина!

Пален понял — настал его час. Он подошел к столу, тянувшемуся через всю длину залы, и жестом пригласил за собой офицеров.

Когда его волю исполнили, Пален обвел взглядом всех, как бы запоминая и считая их, дабы пути назад не было. Все притихли.

— Я только что от великого князя Александра Павловича, — сообщил Пален. — Он удручен нынешним положением России и согласен занять престол. Великий князь благодарит всех, кто верит в него. Все готово. Пора идти. Со всех концов Петербурга к дворцу направляются преданные наследнику войска. Разделимся на две колонны, одна пойдет за князем Зубовым, вторая — за мной. Все ясно?

Сникшие вмиг офицеры молча наливали и глотали вино — для храбрости.

— А что делать, если император начнет сопротивляться? — робко спросил поручик Полторацкий.

— Когда хотят сделать яичницу, надо разбить яйца. — Пален насмешливо посмотрел на малодушного поручика. — Манифест составлен. Нас ждут.

— Идемте, господа! — Беннигсен наконец-то оторвался от своего угла. — И не забывайте прицепить свои шпаги

Кое-как разобравшись на две колонны, полупьяные офицеры двинулись двумя дорогами к Михайловскому замку. Была полночь.

За князем Зубовым шло сначала человек сорок. В пути им повстречалось несколько знакомых, пристраивавшихся в хвост колонны. По мосту в замок пропустили всех, спросив лишь пароль. Пароль был: «Пален».

Во главе с князем Зубовым офицеры поспешили вверх по лестнице. Вторая колонна как в воду канула. Стали блуждать по коридорам, никто толком не знал расположения покоев в

новом дворце. Платон все больше дрожал от страха и повернул бы назад, если бы рядом не вышагивал хладнокровный Беннигсен. Многие заговорщики заметно поотстали, а то и вовсе скрылись. Вдруг Уваров узнал зал кавалергардов и уверенно показал, куда идти дальше. Мимо караульной с солдатами Преображенского полка прошли без переполоху — поручик Марин завел всех солдат в комнату и что-то им втолковывал про волю монарха и дисциплину. До императорских покоев с Зубовым добралось двадцать человек. Первая дверь была на запоре.

— Откройте, горим! — постучался в дверь Аргамаков, на которого была возложена обязанность докладывать императору о внезапных происшествиях.

Лакеи в гусарской форме приоткрыли дверь, но, увидев толпу офицеров с обнаженным оружием, хотели тотчас захлопнуть ее. Не успели — оба упали под ударами сабель.

Вторая дверь тоже была на запоре. Здесь пришлось потрудиться — не кричать же императору, чтобы он открыл ее. Наконец дверь поддалась. Ворвались со свечами и саблями в руках. Постель императора сиротливо жалась к стене огромного кабинета, и на ней никого не было.

Платон завыл в панике:

— Нас предали — его здесь нет! Это Пален нарочно подстроил. Я это сразу понял, когда он сказал идти порознь.

Офицеры оторопело глазели по сторонам, не зная, что им делать с обнаженным оружием.

Флегматичный Беннигсен подошел к императорской кровати, приподнял одеяло и потрогал простыни.

— Теплые, он здесь.

Беннигсен медленно повел глазами по комнате: теплая кровать, над нею шпага и трость Павла, далее заколоченная дверь на лестницу, ведущую в покои императрицы, камин, ширма...

Спокойным шагом Беннигсен подошел к камину, отодвинул ширму. За ней стоял бледный босой император в ночной рубахе и колпаке.

— Ваш деспотизм настолько тяжел для нации, что мы требуем отречения от престола, — выдавил из себя Беннигсен.

Позади толпой стояли офицеры, судорожно сжимая сабли. В коридоре послышался шум. Платон Зубов в испуге завертел головой, отступив на шаг:

— Сюда идут. Нас предали.

— Стойте, — Беннигсен крепко сжал его руку. — путь назад — гибель для нас. Надо действовать.

— Пустите меня, — забормотал Павел, немного совладав с собой, заметив, что не только он трусит. — Вы не смеете! Что я вам сделал?

— Вы — тиран, — зашипел на него князь Яшвиль, которого переполняла пьяная злоба. — Помните, как ударили меня на параде?

— Как вы смеете! — Павел оттолкнул надвигавшихся на него князя Яшвиля и графа Николая Зубова.

— Ах, ты кричать! — Николай Зубов схватил стоявшую на камине табакерку и ударил ею императора в висок.

В голову Павла вошла резкая боль и темнота. Он медленно стал оседать на пол, закрыв рану руками.

И тут толпа офицеров озверела, все принялись шпагами и ногами добивать упавшего государя, боясь одного: как бы он не ожил и не наказал их за содеянное. Лишь Беннигсен отошел в сторонку — он выполнил свой *долг*.

Скарятин снял со стены шарф и, накинув его на шею монарха, с кем-то из офицеров долго душил и без того бездыханное тело. Но и Скарятина в конце концов оттолкнули, чтобы еще раз кольнуть и ударить тирана.

Наконец один из офицеров решил сообщить радостную весть тем, кто был за пределами императорского кабинета. Он выбежал из дверей и столкнулся с колонной Палена, не спеша поднимавшейся по лестнице.

— Павел умер! Да здравствует император Александр!

Пален послал своего адъютанта проверить известие. Адъютант обернулся быстро.

— Он жив? — с беспокойством спросил Пален.

— Нет.

— Ты не ошибся?

— Мертвее не бывает.

Глаза Палена повеселели, и он сообщил своей колонне:

— Я поднимусь к Александру Павловичу. А вы приберите в кабинете и доложите императрице, что Павел скончался от апоплексического удара. Но к телу ее не подпускайте, чтобы ни говорила. Это приказ императора!

5

Солдат, выведенных из казарм и подведенных к стенам Михайловского замка, решили привести к присяге этой же ночью.

— Павел был тиран. Радуйтесь, что он скончался от апоплексического удара, — объявили офицеры.

— Для нас он был отец, — отвечали угрюмые солдаты.

— Кричите «Ура!» императору Александру.

Солдаты молчали.

Полковой священник с крестом и Евангелием на аналое рассеянно ходил перед строем.

— Почему не присягаете? — прибежал посыльный от Палена.

Священник крестом повел по строю солдат.

— Почему не присягаете новому императору? — обратился к солдатам посыльный.

— А мы старого мертвым не видели! — выкрикнули из задних рядов.

— Я видел и говорю вам: Павел мертв... — И, набрав полные легкие воздуха, посыльный закричал: — Да здравствует император Александр!!!

— Шел бы домой, ваше благородие, проспался. А то, неровен час, споткнешься. Вишь, рожа-то от вина, как свекла, красная.

— Мужичье! Бунтовщики!

Оскорбленный посыльный бросился назад, доложить Палену о *солдатском мятеже*. Но по дороге столкнулся с только что назначенным новым комендантом Михайловского замка Беннигсеном и доложил:

— Они хотят видеть его.

— Кого?

— Мертвого, ваша светлость.

— Но это невозможно, его сейчас гримируют и приводят в порядок.

— Иначе, ваша светлость, они начнут *свое*.

— Что *свое?* — рассердился Беннигсен недомолвкам.

— Они говорят: вы сделали *свое*, теперь мы *свое* сделаем. Меня оскорбили.

Беннигсен прихватил двух офицеров, знающих по-русски, — сам он с трудом понимал чужой язык — и отправился к солдатам.

Солдаты упорствовали.

«Пусть увидят, раз захотели», — Беннигсена охватило раздражение, что так четко выполненное дело осложняется мелочами.

Выбрали десять делегатов, которых провели в Михайловский замок, и показали им обезображенный труп императора. Во дворе замка солдат поманил к себе граф Пален, беседовавший с Александром I.

— Ребята, вот ваш новый император. Передайте всем, что видели его и он вас любит.

— Идите же, — ласково скомандовал Александр I солдатам и тут же обиженно обратился к Палену: — Где же карета?

— Вот она!

Царская карета Екатерины, которой управлял граф Николай Зубов, прогромыхала мимо чудом увернувшихся солдат и остановилась подле нового императора. Из распахнутой двери выпрыгнул князь Платон Зубов и легким кивком пригласил монарха залезать. Александр повиновался. Платон сел рядом, скомандовал: «В Зимний!» Лошади понесли.

— Наступил час, которого желала ваша бабушка, — начал разговор последний фаворит Екатерины. — Вы исполнили ее волю, и теперь нам нечего опасаться за отечество...

Ивана Анненкова выпустили из крепости на третий день после цареубийства. Комендант, расставаясь, напомнил, что Анненков должен тотчас явиться к генерал-губернатору Петербурга графу Палену. Прощаясь с караульными солдатами, Иван прослезился — ему брезжила свобода, они оставались в каземате.

Переправляясь на лодке в Петербург, Анненков не переставал думать о нелепом слухе, что император умер не от апоплексического удара, как официально объявлено, а зарезан сонный в постели, и главный виновник свершившейся трагедии — граф Пален.

«Разве возможно такое? Лжет молва. Иначе злодей ждал бы казни в тюрьме. Мне же назначено явиться к нему — значит, он на свободе и невиновен.»

Иван ступил на мостовую Петербурга и оторопел. Он думал увидеть город в трауре, а столица пребывала в веселье.

В город пришла ранняя весна, настежь были отворены многие окна, и оттуда неслись радостные возгласы и полупьяные песни. Офицеры толпами ходили по улице в еще недавно запрещенных круглых шляпах и славили свободу. Возле ворот своего дома стоял английский купец, окруженный корзинами с винными бутылками, и угощал всех проходящих, поздравляя их со вступлением на престол Александра.

— Радуйся, братец, тиран умер! — закричал Ивану, свесившись из окна, незнакомый поручик.

Анненков был глубоко оскорблен петербургским шутовством, и решил, что успеет еще зайти к Палену, его первый долг — пойти в Михайловский замок и поклониться телу усопшего императора.

Замок поразил мрачноватой грациозностью и сходством с могильным склепом. Принаряженные простолюдины шли по опущенному подъемному мосту в центр замка — в церковь архангела Михаила, где на роскошном ложе лежал мертвый Павел.

Дежурный офицер предупредил Ивана, как и крестьян, шедших впереди, что близко подходить к гробу нельзя, надо издали поклониться и идти прочь. Но зоркий глаз Ивана и отсюда приметил, что лицо императора замазано, на лоб натянута шляпа, а шея замотана шарфом. Дураку ясно, каков был *апоплексический* удар.

Иван в горести простоял в церкви около часа, вспоминая добрые дела императора, пока дежурный офицер не подошел к нему и не предупредил, что пора и *честь знать*, если все по стольку будут стоять, получится толкучка, а это непочтительно к покойнику.

Иван кивнул и спросил, как отыскать дом графа Палена. Офицер переменил тон на более ласковый и дал в провожатые солдата.

Дом Палена был набит генералами, чиновниками департаментов, иностранцами, так как граф был утвержден новым императором во всех своих прежних должностях и, вследствие робости Александра, оказался полным диктатором, взяв на себя роль покровителя молодого государя.

Иван просил доложить о себе, но ему сказали подождать, пообещав, что граф выйдет в залу, как только кончит совещаться с посланником графом Разумовским, отъезжающим сегодня в Вену.

Анненков уселся в дальнем темном углу. Но и здесь были люди, и они беседовали о том же, что слышал Иван от своих караульных солдат, только здесь в словах было больше безразличия к свершившейся трагедии.

Через час Пален вышел. Все поднялись и раскланялись. Граф не спеша обходил строй просителей и докладчиков, бросал каждому несколько слов и отпускал. С одним генералом разговорился, они вместе посмеялись и Пален покровительственно потрепал его по плечу.

Иван из своего закутка следил за глазами, голосом, движениями Палена, надеясь заметить глубокое волнение, душевный разлад, что подтвердило бы слухи о злодеянии. Но граф оставался спокоен, педантичен и деловит. Наконец, адъютант шепнул ему об Иване, Пален встретился с ним взглядом и широким шагом пошел навстречу.

— А вы тот самый Анненков, которому пришлось четыре года провести в казематах? — И, взяв Ивана под руку, граф увлек его к себе в кабинет.

— Как ваше здоровье? Хотите стакан лафита? Да вы присядьте.

Иван понимал — тюрьма научила его проницательности — графа интересует что-то иное, и вопросы он задает лишь для того, чтобы по-собачьи обнюхать человека.

Сесть и выпить Иван отказался. Но Палена это не смутило, он был в приподнятом духе и даже — заметил Иван — бравировал напускной смелостью и развязностью.

— Я знаю, вам многое пришлось вытерпеть, — начал изящную речь Пален, прохаживаясь по кабинету и потягивая лафит. — Но это почти ничего в сравнении с несчастьями, обрушившимися на тысячи других дворян. И я, и все мы устали служить тирану. А его безумие все возрастало, и жертвами его деспотизма вскорости должны были стать и жена, и дети. Любовь к отечеству и трону заставили меня и других храбрых офицеров заменить императора... Вы, надеюсь, согласны, что это было необходимо?..

— Я не знал, что граф Пален ц а р е у б и й ц а, — тихо промолвил Иван.

— Друг мой, — не изменил добродушного тона граф, — вы видели Павла лишь в течение первых месяцев царствования, и поэтому не можете судить, до какой степени он стал безумен. Опасность росла с каждым днем, речь шла о том, чтобы прекратить беззакония и дать российским подданным счастье. Вы по пути сюда видели, как народ ликует? Александр подарил им все запасы вина Петербурга. Да упусти мы случай, Павел стал бы кровожадней римского императора Нерона. Вы слышали о Нероне?

— Я служил российскому императору.

— Поймите, друг мой, я лишь один из тех, кто избавил Россию и, быть может, всю Европу от кровавой смуты. Меня лично Павел устраивал. Но народ устраивало только отсутствие Павла. Вы думаете, что я убийца-одиночка? Конечно, наш юный император боялся поднять руку на отца, был излишне щепетилен при составлении нашего плана, но Александр *хотел этого*. Можно ли было заставить Павла отречься и заточить его в Петропавловскую крепость? — Не дожидаясь ответа, Пален рассмеялся: — Мой друг, вы не знаете солдат. Да они на следующий же день перебили бы всех нас вместе с великими князьями и открыли двери павловой темницы... Разве вам не нравится Александр? Мы все не нарадуемся на него. Он начал царствовать кротко, по духу и сердцу своей великой бабки. Очнитесь, поручик, — народ ликует.

— Ваш пример, граф, будет иметь дурные последствия и когда-нибудь приведет Россию к гибели. — Иван был сбит с толку: как можно так легко и откровенно оправдывать свое злодеяние? Голос его нервно дрожал. — Вы забыли о долге, о присяге на верность и, в конце концов, о доброте, с которой к вам относился император.

— Доброта? — зло хихикнул Пален. — Да я каждый вечер ложился спать и крестился, чтобы не оказаться этой же ночью по дороге в Сибирь... Но хватит философствовать. Я вызвал вас за другим. Императрица-мать вдруг вспомнила, что вас любил ее покойный муж, и хочет видеть вас на службе при своем дворе. Всех удивляет, что Мария Федоровна в негодовании на меня. Она не желает понять, что я оказал ей большую услугу. — Пален поднял обе руки вверх, как бы призывая небо в свидетели. — Боже упаси, я не требую от нее наград, понимая некую щекотливость подобного дела. Но, по крайней мере, она могла бы прекратить восстанавливать против меня государя. Я вас очень уважаю, молодой человек, и дружески прошу: помирите меня с нею. Она верит в вас.

Пален, приняв вид просителя, со стыдливой улыбкой подошел к Ивану и дружески протянул руки. Оба дворянина оказались одного роста, оба красавцы, но граф отличался холодной строгой красотой, Иван — мальчишеской, простоватой миловидностью.

Анненков не шелохнулся, продолжая держать руки по швам.

— Боишься замараться?! — вдруг, сузив глаза, перешел на визг Пален.

— Я не знал, что граф Пален — ц а р е у б и й ц а. Но теперь знаю.

Иван наотмашь ударил кулаком графа по лицу.

Пален, никак не ожидавший такого поворота событий, отлетел назад и, опрокинув столик с недопитой бутылкой лафита, упал. Иван не шелохнувшись стоял на своем месте, ожидая вызова на дуэль.

Наконец граф поднялся, приложил платок к кончику рта, откуда тонкой струйкой лилась кровь, и закричал:

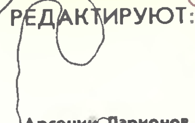
— Мальчишка! Дрянь! Вон из моего дома!

Иван не шелохнулся.

Тогда Пален резко повернулся и вышел из кабинета. Иван понял, что дуэли не будет, и, презрительно пожав плечами, покинул дом графа.

На следующее утро, решив более не служить, Анненков *на вольных* отправился в Москву.

●



ЖУРНАЛ РЕДАКТИРУЮТ:

Арсений Ларионов, главный редактор
Виктор Калугин, заместитель главного редактора
Артемий Игнатьев, главный художник
Владимир Бондаренко, обозреватель
Елена Егорунина, обозреватель
Юрий Чернелевский, обозреватель
Марина Подгорская, заведующая секретариатом

Художественно-технический редактор Е. М. Верба
Технический редактор Н. Н. Козлова
Корректор М. Х. Асалиева

Сдано в набор 23.11.90.
Подписано в печать 4.01.91.
Формат 80×108/16.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 13,52+1,03.
Тираж 180 000 экз.
Заказ 1774.
Цена 1 р. 50 коп.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024, г. Тверь, пр. Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Тверской полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.
Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи.

СЛОВО

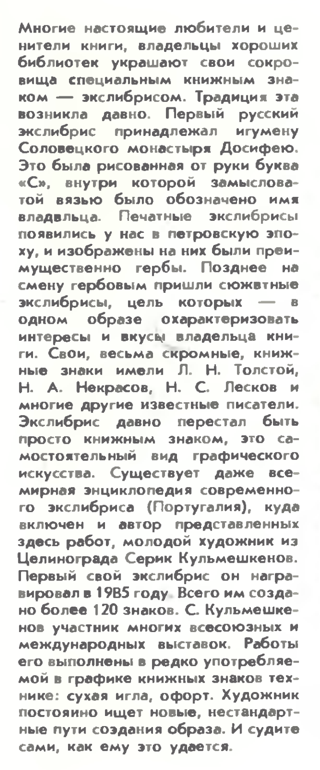
Литературно-художественный и общественно-политический журнал
Учредители — Госкомпечать СССР и трудовой коллектив редакции журнала
Издается с сентября 1936 года
№ 2. 1991
© Издательство «Книжная палата», журнал «Слово», 1991.

В НОМЕРЕ:

НАШИ АВТОРЫ — ПИСАТЕЛИ

Василий Афонин,
Дмитрий Балашов,
Василий Белов,
Виктор Боков,
Леонид Бородин,
Владимир Бушин,
Иван Васильев,
Бронтой Бедюров,
Михаил Воздвиженский,
Олег Волков,
Сергей Воронин,
Михаил Ворфоломеев,
Михаил Вострышев,
Юрий Галкин,
Татьяна Глушкова,
Глеб Горбовский,
Павел Горелов,
Глеб Горышин,
Владимир Гусев,
Николай Дорошенко,
Борис Екимов,
Анатолий Жуков,
Станислав Золотцев,
Юрий Кузнецов,
Станислав Куняев,
Валентин Курбатов,
Виктор Лихоносов,
Михаил Лобанов,
Вячеслав Марченко,
Олег Михайлов,
Евгений Носов,
Михаил Петров,
Юрий Прокушев,
Валентин Распутин,
Валерий Рогов,
Эрнст Сафонов,
Всеволод Сахаров,
Сергей Семанов,
Эдуард Скобелев,
Валентин Сорокин,
Борис Споров,
Николай Старшинов,
Федор Сухов,
Анатолий Ткаченко,
Иван Уханов,
Леонид Фролов,
Евгений Чернов,
Мишши Юхма.

ЭКСЛИБРИСЫ СЕРИКА КУЛЬМЕШКЕНОВА



Многие настоящие любители и ценители книги, владельцы хороших библиотек украшают свои сокровища специальным книжным знаком — экслибрисом. Традиция эта возникла давно. Первый русский экслибрис принадлежал игумену Соловецкого монастыря Досифею. Это была рисованная от руки буква «С», внутри которой замысловатой вязью было обозначено имя владельца. Печатные экслибрисы появились у нас в петровскую эпоху, и изображены на них были преимущественно гербы. Позднее на смену гербовым пришли сюжетные экслибрисы, цель которых — в одном образе охарактеризовать интересы и вкусы владельца книги. Свои, весьма скромные, книжные знаки имели Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, Н. С. Лесков и многие другие известные писатели. Экслибрис давно перестал быть просто книжным знаком, это самостоятельный вид графического искусства. Существует даже всемирная энциклопедия современного экслибриса (Португалия), куда включен и автор представленных здесь работ, молодой художник из Целинограда Серик Кульмешкенов. Первый свой экслибрис он награвировал в 1985 году. Всего им создано более 120 знаков. С. Кульмешкенов участник многих всесоюзных и международных выставок. Работы его выполнены в редко употребляемой в графике книжных знаков технике: сухая игла, офорт. Художник постоянно ищет новые, нестандартные пути создания образа. И судите сами, как ему это удается.

Д. ВЛАДИМИРОВА